

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ж у р н а л

**К Н И Г А
Ч Е Т В Е Р Т А Я
А П Р Е Л Ь**

М О С К В А
1 · 9 · 2 · 8

Москва. Главлит № А 8862.

25.000 экз.

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер., 5

СОДЕРЖАНИЕ

| | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| 1. МИХ. ПРИШВИН.—Юный Фауст, роман | 5 |
| 2. Э. БАГРИЦКИЙ.—Смерть, стихотворение | 34 |
| 3. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Сын, рассказ | 36 |
| 4. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.—Вьюга, стихотворение | 54 |
| 5. ДМ. ПЕТРОВСКИЙ.—Ночь, стихотворение | 55 |
| 6. Л. ЗАВАДОВСКИЙ.—Игрок, рассказ | 56 |
| 7. Е. ПОЛОНСКАЯ.—Стихотворение | 72 |
| 8. ВЛ. ЛИДИН.—Младость, рассказ | 73 |
| 9. НИК. ЗАРУДИН.—Два стихотворения | 92 |
| 10. П. ДРУЖИНИН.—Сивко, стихотворение. | 94 |
| 11. Н. ОГНЕВ.—Дневник Кости Рябцева, продолжение | 95 |
| 12. ПАНТ. РОМАНОВ.—Новая скрижаль, роман, продолжение | 118 |
| 13. АН. ПЕСТЮХИН.—Мурманская весна, стихотворение. | 144 |
| 14. АНДРЕЙ ХУТОРЯНИН.—Инвалид, стихотворение. | 145 |
| ----- | |
| 15. ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ.—Литературная бурса М. Горького. | 146 |
| 16. В. РУДНЕВ.—Горький-революционер, окончание | 165 |
| 17. ГР. ГРИНЬКО.—Работа над пятилеткой, как общественная задача. | 187 |

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

| | |
|--|-----|
| 18. ЕВГЕНИЙ ЛАНН.—Современная русская литература в освещении англо-американских критиков | 209 |
| 19. Ф. РОГИНСКАЯ.—Художественная жизнь Москвы | 217 |
| 20. П. МАРКОВ.—Очерки театральной жизни | 222 |
| 21. Н. ВОЛКОВ.—«Унтиловск» в МХАТ'е. | 231 |
| 22. Вл. БРАУДЕ.—СССР и Япония | 233 |
| 23. П. АЛГАСОВ и С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Брянские «разбойники». | 239 |

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

| | <i>Стр</i> |
|---|------------|
| Г. ЯКУБОВСКИЙ. — С. Н. Сергеев-Ценский «Жестокость» | 250 |
| М. О. — Тарасов-Родионов «Февраль» | 251 |
| А. ШАФИР. — Мих. Слонимский «Средний проспект» | 252 |
| И. КУБИКОВ. — А. В. Сухово-Кобылин «Трилогия» | 253 |
| Б. АНИБАЛ. — Конст. Большаков «Путь прокаженных» | 254 |
| С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Д. Крутиков «Черная половина» | 254 |
| Г. МУНБЛИТ. — Давид Хаит «Кровь» | 255 |

В майской (пятой) книге журнала „Новый Мир“ начнется печатанием новый роман МАКСИМА ГОРЬКОГО

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

(2-я часть трилогии „40 ЛЕТ“)

Юный Фауст¹⁾

Роман

МИХАИЛ ПРИШВИН

Имматрикуляция

Не хочу беспристрастия. И настоящий летописец Нестор, описывая свои войны, пожары, небесные явления, не удерживался от личных чувств и домыслов, давал всему и нелепое и драгоценное для нас теперь толкование. Так и мне хочется самому, каков я теперь, участвовать в объяснении поступков Алпатова, следующих так же независимо от авторской воли, как явление комет, войн и великих пожаров от воли их описателя Нестора.

Друг мой, мне часто думается при чтении жизнеописаний великих людей, что внутреннее существо их поддерживается детской доверчивостью, с которой они раз навсегда отделились своему делу. Да и в личных отношениях, наблюдая повседневную жизнь разных деловых организаций, постоянно видишь, что более крупный человек и более доверяет другому. Конечно, он более часто и ошибается, чем маленький и недоверчивый опытный человек; но в общем доверчивость эта при других достоинствах является как бы радиусом круга: чем больше доверчивости, тем больше и круг, тем больше и несчастье при

¹⁾ Звенья «Кашеевой цепи» разбросаны по книжкам журналов «Красная Новь» и «Новый Мир» на протяжении пяти лет. В прошлом году Государственное Издательство выпустило первый том «Цепи», посвященный детству, отрочеству и юности Алпатова.

Второй том «Кашеевой цепи» содержит «Любовь» Алпатова. Первое звено из этой части—«Весна Света»—и второе—«Зеленая Дверь»—были напечатаны в «Новом Мире» в начале прошлого года и в конце. В настоящее время закончен весь этот том и последовательно, начиная с этого звена—«Юный Фауст», будет печататься в «Новом Мире».

Хотя роман «Кашеева цепь» пишется так, что каждое звено его может считаться самостоятельным, все-таки не лишним считаю напомнить общее его содержание.

В первом томе формируется личность с детских лет от эпохи убийства Александра II и до вступления юноши в цикл марксистских идей. Второй том—«Любовь»—начинается изображением тюрьмы, в которой сидит Алпатов за свое «государственное преступление». К нему является невеста и предвещает ему скорое освобождение. Она зовет его по освобождении ехать учиться за границу и там ее разыскать. В последнем напечатанном звене «Зеленая дверь» Алпатов ищет напрасно свою невесту по Европе.

М. П.

неудаче. В этом дети и юноши сходятся с людьми гениальными. Рассказывая все это, я, конечно, имею в виду Алпатова, который отдался влиянию Ефима с такой страстностью, что предложил ему вырезать из рамы Сикстинскую мадонну. Ефим, конечно, отговорил друга от такого и н д и в и д у а л ь н о г о э к с ц е с с а, достойного скорее какого-нибудь анархиста из артистического круга, чем простого серьезного работника социал-демократической партии. Взамен этого он предложил Алпатову ехать учиться в Лейпциг и постепенно организовать там русскую колонию в такой же марксистский кружок, как они устраивали вместе на родине. Ефим обещался потом, когда черновая работа будет закончена, приехать из Берлина и назначить серьезную работу от Центрального Исполнительного Комитета партии. Алпатов обрадовался и этому, обещался работать, как и на родине, упустив из виду, что сам он стал теперь уже другим, что, упав с высоты личных событий, едва ли он теперь уже удовлетворится прежней наивной работой рядового марксиста в кружках.

Но и то хорошо: есть хоть с чего можно начать строить себе новую жизнь, а там само дело покажет. После всей этой погони за ускользающей невестой Алпатов хочет большой работой изгнать из головы всякую блажь; теперь каждая минута жизни им будет учтена, как трудовая минута. И на первых порах ему повезло. Оказалось, первый семестр прогуливают в Германии почти все студенты и только во втором начинают работать: выходило, что он не отстал. Теперь, вступая в университет по-настоящему, без сопутствующего образа невесты под зеленой вуалью, Алпатов впервые только глаза раскрывает, как студент, и ему из редеющего тумана пережитого показываются очертания великого храма германской науки. Сердце его трепещет опять перед возможностью сделаться творцом в какой-угодно области наук. Правду кто-то сказал о Германии, что философия там похожа на вымя со множеством сосцов, питающих науки, — и теоретические и прикладные. В России даже в образованном обществе как-то не всегда удобно сказать: з а н и м а ю с ь ф и л о с о ф и е й, — потому что наша философия непрактичная, и философ представляется как бы заипнотизированным петухом. В Германии даже агрономию читают на философском. Стоит только в Германии купить себе черную шляпу с широкими полями, как во всех лавочках будут почтительно называть д о к т о р о м, и это не будет означать, как у нас, непременно врача, а доктора философии. Социальные науки, уж, конечно, на философском, и потому Алпатову факультет предreshен. Ректор вызывает его из толпы студентов:

— Господин Алпатов из Ельца!

Среди студентов некоторые были с разноцветными ленточками на груди, с золотом шитыми шапочками в руках, с рубцами на лицах от дуэльных ударов; в немецкой речи ректора постоянно проскакивали латинские слова; тут современность явно соприкасалась по тра-

диции со средними веками, и вдруг в такой обстановке такие слова: из Ельца!

Молодой человек, совершенно такой же приличный, как и европейские студенты, идет по длинному ковру к ректору. Но ему из-за этого Ельца представляется, что он не такой, как другие, что на него все смотрят с особенным вниманием и думают: «Вот они какие в Ельце».

У ректора в руке был пергамент; подавая свободную руку, он спрашивает:

— Философия?

Алпатову очень неловко сказать, но виду он не показывает и бойко отвечает:

— Да, господин ректор, философия.

Потом ректор просто, чтобы не молчать, спросил:

— Из Ельца?

Но Алпатову представилось, будто ректор спросил: «Неужели же вы из Ельца?», и что глаза ректора насмешливо уменьшились, и что сейчас последует вопрос: «Как же это вы добрались сюда из Ельца?». Ректор, однако, был совершенно бесстрастен и, пожав руку молодому студенту, передал ему пергаментный лист, на котором огромными буквами по-латыни было напечатано:

Vir juvenis ornatissimus studiosus russus.

А после торжественного латинского было по-немецки приписано: Из Ельца, Орловской губернии.

Алпатов, однако, был не один русский, их было очень много. Аксенов, барственный блондин с голубыми глазами, очень красивый, с большим достоинством подошел к ректору и сказал, что он из Симбирска. С Аксеновым была студентка такой большой красоты, что в ней совсем исчезала типичность народа и только по словам и из Гомеля можно было начать угадывать ее еврейское происхождение. Алпатов еще обратил внимание на очень высокого брюнета с черными жгучими глазами, с цилиндром в руке, похожего на французского гипнозителя, — это оказался Амбаров из Петербурга. Прямо же после Амбарова странный человек в синей косоворотке под серым пиджаком без жилета, размахивая руками, двинулся большими шагами к ректору, как-будто с каким-то дерзким намерением, и заявил: Чижов из Екатеринобурга. С огненно-красными волосами и веснушками, частыми, как на воробьином яйце, прошла Роза Катценэлленбоген из Пинска. И еще было много разных русских, и все до одного на вопрос ректора, что они хотят изучать, отвечали: философию.

Априори

Восторг полного обновления охватил Алпатова. Думается, так бывает исключительно только у русских, что эта способность к обновлению у русского интеллигента происходит от пожаров деревенской

России, после которых и до сих пор непонятным образом даже у совсем нищих, у кого гроша нет за душой, возникают постройки гораздо лучшие, чем до пожара. Всегда казалось Алпатову на крайний случай, что если только решиться все бросить, то потом вылезешь на свет, как змея из старой чешуи. Конечно, в этой обычной для русского способности к обновлению нет материального предмета личной жертвы и потому все легче выходит, чем в евангельском совете богато-му раздать свое богатство бедным. Алпатов раздавать было нечего, и его все бросить относилось к собственной своей мечте. Правда, волшебная невеста нашей юности дороже всякого богатства, но все-таки раздать это, как в притче о вещественном богатстве, невозможно: что-то надо создать и потом уже раздавать. Бросить куда легче, чем раздать, но и бросить оказалось не так легко. Беда была в том, что раньше Алпатов брался за рабочее движение, как за личное дело, теперь это стало, как долг, и он возвращался к тому же, как филантроп. Как личное дело, теперь манила его каждая аудитория знаменитого профессора.

Вскоре после имматрикуляции вся колония русских собралась выслушать доклад несомненного революционера Аксенова на тему «От Маркса к Канту». Алпатов восторженно: вот случай ему отстоять материализм, как он когда-то сумел так удачно защищать марксистскую идею у народников. Однако теперь все было совершенно иначе и самый доклад был не как тогда на тему «Что делать», а скорее на «Как думать о деле». И оратор был настоящий, блестящий, при том окруженный красивыми девушками, как мироносицами. Председателем был Чижов в косоворотке, с блуждающими глазами, похожий на прежних наших народников. Чижов постоянно вскакивал с места, бросался в зал, находил там кого-то, шушукался, записывал, возвращался на место, все что-то соображая, что-то высматривая. Когда, наконец, он так подбежал к соседке Алпатова, Розе Катценэлленбоген, то все и объяснилось сразу: Чижов устраивал студенческую кассу взаимопомощи, дело маленькое. Да так и все представилось Алпатову в собрании, что каждый из этих русских за границей был погружен во что-то свое личное, а не так, как это было когда-то... Казалось, что лучшее было давно в подпольных кружках. В докладе Аксенова «От марксизма к идеализму» была блестяще использована вся новейшая модная философия. Алпатов понял, что все его дальнейшее положение в колонии определится сразу, если он выступит против Аксенова более страстно и революционно победно. Но как выступить, если он не знал ни Рилля, ни Зиммеля и ни малейшего понятия не имел о гносеологии, вокруг которой и вертелся доклад. Но внезапно ему вспомнилась прежняя мысль о практическом коррективе всякой философии, он нащупал в себе реальное, как земля, чувство правды жизненной, для чего нужны простые слова, а не модная философия. Так он и начал говорить, что для философии идеализма нет практического корректива и если миновать

материализм, то это значит миновать диктующую необходимость жизни, и дальше будет, конечно, все легко и безответственно, сначала от Маркса к Канту, потом от Канта к Христу, от Христа к церкви...

Последние слова Алпатова были:

— А церковное христианство нам твердит все время: грех и грех. И если я твержу себе постоянно: грех и грех, то я, действительно, становлюсь грешником. Материализм, правда, учит нас считаться тоже с чем-то, твердит об экономической необходимости и разделении людей на классы, но практический корректив построенного на этом социализма дает нам в руки средство обойти необходимость и сделаться акушерами при рождении нового общества.

Председатель Чижов, вслушиваясь и вдумываясь в слова Алпатова, страстные и, очевидно, не придуманные им заранее, долго не смеет остановить его, не догадываясь, что стоит только перебить Алпатова, и он смешается. Наконец, он все понял и перебил:

— Я вас прошу говорить в границах темы.

— Тема, — отвечает резко Алпатов, — «От Маркса к Христу», и я развиваю ее от Христа непременно к попу.

— Да, — ответил Чижов, — вы говорите с точки зрения практического корректива, а докладчик ставит проблему чисто гносеологическую. Вы можете продолжать, если согласитесь свою идею изложить в аспекте гносеологии, то-есть науки о границах познания.

Алпатов ответил:

— Это познать невозможно, все равно как сотворить человека в колбе; для чего же нам разговаривать о гомункуле?

В это время какой-то очень симпатичный блондин с добрыми глазами и задушевым голосом взял слово без очереди, стал извиняться перед всеми, в роде как бы всенародно каяться:

— Извините, извините, вот я *всех перебил, а хочется присоединиться: вполне согласен.

— Иван Акимыч, — перебил Чижов извинения, — ты нам портишь дисциплину, так нельзя, надо слова просить: мы в стране парламентаризма, а не на деревенской сходке.

— Зато я и прошу извинения, — продолжал Иван Акимыч, — я только кратко хочу сказать, что поддерживаю предыдущего оратора: как же это можно жить с одним а п р и о р и, нужно дело, а не а п р и о р и. Совершенное безумие так жить, хочется, например, рюмочку водки выпить, а в голове а п р и о р и.

Все весело засмеялись, поняв, наконец, что Иван Акимыч говорит сильно выпивши.

Алпатов поспешно сел.

— И вот еще, — продолжал Иван Акимыч, — ко всему этому явилась еще какая-то гносеология, и я так понимаю, что вся эта наука вышла из ненавистного мне до глубины души а п р и о р и. Так ли я понимаю? Я же вполне присоединяюсь к предыдущему оратору и призываю всех к жизни. Вот все, что я хотел сказать. Извините.

И сел.

После того слово взял какой-то агроном Коль, заика, и тоже присоединился к Алпатову. Смысл его долгой и трудной речи был в том, что России теперь нужна не гносеология, а посев клевера, кредитные товарищества, кооперация и конституция.

— Вот и все,—сказал в заключение Коль, и опустил на стул.

Тогда взял слово сам докладчик Аксенов, и с улыбкой, обернувшись к Алпатову, сказал:

— Ваше пожелание практического корректива вполне осуществилось: ваш предшественник предлагает на капусте вырастить конституцию.

Этот витц с фамилией Коль-Капуста был так удачен, что все мироносицы стали аплодировать.

Алпатов был совершенно побежден. Чижев предложил перейти к повестке дня: на очереди вопрос об организации кассы взаимопомощи. После того многие стали покидать собрание. Алпатов тоже вышел на улицу подавленный и ущемленный.

Маленькая весна

Бульвар, по которому шел Алпатов, между каштановыми деревьями, к себе на Штернвартенштрассе, был несильно освещен фонарями. Немецкая густая толпа гуляющих ровно гудела, как майские жуки на березах в день массового вылета. Бесконечно далека была в эти минуты Алпатову и эта немецкая толпа, и эти русские за границей. Зато в первый раз еще показалась ему за границей хорошая родина Россия. Только нет, он не сказал бы р о д и н а, это слово никак не отвечало встающему в нем чувству. Сказать «родина» можно только в детском журнале «Задушевное Слово», сказать родина—значит помириться, и вместе с тем опуститься. Настоящая родина очень трудная, и без того, что казалось ему теперь д о л г о м, она невозможна, родина с нищетой и тюрьмой—какая это родина. Он это новое, впервые встающее у него за границей, назвал бы просто п е й з а ж: большие поля ржи, перелески, большак с муравой и, пожалуй, люди, необыкновенно доверчивые и душевные. Потом из всего этого определилась близкая душа, с которой во всем можно советоваться, все ей открывать. Так незаметно для себя Алпатов встретился опять со своей тюремной невестой. Но тут случилось, как иногда бывает с людьми, когда они забываются совершенно в себе: так, гадающей невесте показывается в зеркале гроб, старухе разбойник представится, а юношам, как если бы в р а г застал врасплох и остается только нагнуть голову, чтобы он поразил и кончил все. И Алпатову было, когда в самый момент, когда он встретил в себе недопустимую раньше мысль о прекрасной родине вне революции и к этому сочувственно и радостно присоединилась, казалось, совсем уже забытая невеста, вдруг близко от него кто-то сказал, назвал его имя...

Алпатов в ужасе оглянулся. Высокий, в блестящем черном цилиндре, с горящими глазами стоял перед ним Амбаров и робко, почти застенчиво, как сильный мужчина начинает иногда с интересующей его слабой девушкой, говорил:

— Я осмеливаюсь заговорить, потому что слышал вас на собрании, понимаю вас и хочу предупредить: не надо с ними так искренно, здесь русские все холощенные...

— Имеем ли право, — ответил Алпатов, — мы с вами заключать о всех?

Амбаров подумал и, не спеша, сказал:

— Вот увидите, через месяц вы будете, как и я, держаться в стороне от русских, вероятно, займетесь чем-нибудь своим и совершенно отдельно.

— Мне бы это было тяжело и непонятно, — ответил Алпатов, — я в тюрьме сидел целый год в одиночке и то не было мне, как вы говорите: мы там перестукивались.

— Русскому за границей, — ответил Амбаров, — более одиноко, чем в русской тюрьме, к этому надо привыкнуть.

Неприятно было Алпатову, что его новый знакомый во время разговора, высматривая себе что-то в толпе, часто оглядывался и, когда Алпатов тоже оглянулся вслед за ним, то встретился глазами с женщиной, которая отвечала Амбарову и тоже оглядывалась. Теперь Алпатов догадывался, что благородный тон, в котором Амбаров вел беседу, был обычный светский тон высшего класса общества, ненавистный Алпатову с детства своим обманом. Он с досадой и почти со злобой спросил:

— Вы, вероятно, кого-нибудь знакомого ищете?

Амбаров мгновенно понял тон Алпатова и засмеялся, как-то совсем ни к чему, холодным, неестественным смехом, как смеются сектанты, или безумные. Потом он сказал с прежней робкой вежливостью:

— Я ищу свою жену.

— Вот как, — растерялся Алпатов, — я почему-то думал, что вы неженатый.

— Нет, я женат, — ответил Амбаров, — вот вы, я думаю, нет.

На это Алпатов, как это часто бывает с юношами, взамен нечаянной дурной мысли о незнакомом и, оказывается, хорошо, ж е н а т о м человеке, выпалил со всей откровенностью:

— Я не только не женат, но... я вообще: я не знаю женщину.

— Я так и думал, — сказал Амбаров ласково и сочувственно, — я этот ваш ответ услышал в первых ваших словах о практическом коррективе, то-есть, как я понимаю, о жизни самой по себе, я это очень понимаю: это весна в марте.

В это время вышла из толпы молоденькая немочка, совсем Маргарита из «Фауста».

— Эльза, милая, — воскликнул Амбаров и заговорил с ней по-немецки со всей тонкостью произношения, как-будто это был его природный язык.

— Позволь представить, — говорил он, — тебе моего нового друга из недр России.

В словах из недр России, по-немецки aus dem Schoss des Russlands, слышалась самая легкая ирония, и Алпатов себе это заметил.

— Моя жена, — представил Амбаров свою Гретхен Алпатову и спросил ее очень заботливо и нежно:

— Здоров ли наш Отто?

Влюбленная женщина смотрела на мужа светящимися глазами и, счастливая, отвечала, что все идет отлично.

— Иди же, погуляй, — ответил Амбаров, — а я пока пройдусь с моим новым другом.

Отойдя немного, Алпатов спросил:

— Вы искали жену, может быть, я вам помешал?

— О, дорогой мой, — ответил Амбаров, — не знаю, почему мне так хорошо с вами и все меня в вас веселит. Так и быть я вам скажу: я искал не эту жену.

— Неужели у вас есть другая? — ужаснулся Алпатов.

Амбаров опять засмеялся тем смехом ни к чему, или как бы в отмщение кому-то другому, находящемуся, очень может быть, и в себе самом.

— Другая! — повторил он вслед за Алпатовым, — да у меня их в одном Лейпциге три, а до этого я жил в Риме, в Париже, в Цюрихе. По тону вашего вопроса я слышу, что вы это считаете безнравственным?

— Не знаю, — ответил смущенно Алпатов, — мне кажется, я это считаю ни нравственным, ни безнравственным... почему вы так страшно смеетесь, как-будто над самим собой? И вы только сейчас говорили о весе, что вам у человека весна нравится.

— Вы чудесно слушаете, — ответил Амбаров, — мне нравится весна и я пользуюсь: каждый год у меня бывает своя маленькая весна...

— Вот она идет, — указал он в толпе на вторую жену.

Он простился с Алпатовым и просил навестить его в технической лаборатории, где он работает ежедневно.

Старушка Vita

В Германии и теперь продолжается, как в старину, что в первое время студент не очень прикреплен к специальности и бегаёт из аудитории в аудиторию по любопытству ко всему на свете, пока мало-помалу не определится к чему-нибудь его исключительная способность. У Алпатова это любопытство к знанию еще усилено его обещанием работать для революции, которая теперь ему представляется долгом: он знает, что рано или поздно Ефим явится и придется ему отвечать,

так вот, пока не началась еще такая работа и вместе с тем не определится специальность, он спешит послушать и Вундта, и Освальда, и Бюхера, и Лампрехта, и всех молодых светил философии. Скоро Алпатов с удивлением вспоминает то время, когда в их подпольном кружке метафизика была почти бранным словом. Вундт читает философию, но его слушают больше врачи, так непохожа его философия на беспочвенную метафизику. И химик Освальд, точный исследователь, посвящает два часа в неделю, чтобы поделиться со студентами всех факультетов своей философией природы. И, может быть, сам Бюхер додумался до ритмической связи работы и музыки только потому, что в юности занимался философией. В самое короткое время Алпатов переменяет свой русский взгляд марксистского провинциального кружка на философию, в кармане у него постоянно маленькие философские книжки, и «Prolegomena» Канта и «Этика» Спинозы. Он читает и во время обеда, и в постели на сон грядущий, и, — что делает внутренняя потребность! — вся эта трудная поэзия понятий дается ему не труднее, чем беллетристика. Часто он идет в одну аудиторию и попадает в другую, потому что через плохо закрытую дверь долетели до него какие-то интересные слова. Так случилось однажды: у гениального химика Алпатов услышал нечто поразившее его, и вдруг определил себе, как специальность, химию. Довольно сухо читал этот химик свой курс и совсем как-то неожиданно для всех заволновался и даже покраснел. Это Алпатов успел уж заметить у всех. Какой-нибудь знаменитый профессор долго читает и нельзя бывает понять, чем же он знаменит. Студенты покорно записывают лекции от слова до слова, чтобы выучить потом это к зачету и сдать экзамен совершенно без помощи книг. Но, бывает, ученый подходит к изложению того знания, которым он сам обогатил науку и тут становится неузнаваемым, волнуется, краснеет, преображается даже в своем внешнем облике: совсем другой человек! Студенты, увлеченные, перестают записывать в свои тетрадки и время от времени топают ногами в знак восхищения. Так было и с химиком, когда он вдруг перестал диктовать и даже попросил не записывать: это не знание, это его маленькая догадка в помощь знанию. Речь была о синтезе белка, над которым теперь работал химик: работа эта еще не закончена, но можно предвидеть, что химический белок скоро будет создан и будет совершенно такой же, каким создает его природа в живых существах. И все-таки этот химический белок не живет, как в природе, чего-то ему не хватает, что это такое? Вот тут профессор, этот человек, пепельно-серый от постоянного вдыхания вредных газов, ожил, покраснел, намекнул:

— Не возвратиться ли, — сказал он, — к прошлому, не поможет ли нам немного старушка Vita?

Конечно, если бы профессор эту старую гипотезу о воодушевленной субстанции, называемой жизнью, излагал бы равнодушно, как чужую мысль, то Алпатов бы и не попал под ее влияние, но профессор, хотя и очень осторожный, был виталист и Vita в его творчестве

была, как Муза в поэзии и, может быть, как для Алпатова была его ускользающая Ина в поисках призвания и личного счастья.

Удивительно было Алпатову, что ученый, сообщая студентам свою догадку о Vita, покраснел совершенно так же, как он сам в детстве краснел, когда свои тайны, сны или догадки рассказывал старшим. Бессознательно Алпатов себя самого узнал, когда профессор, этот с виду железный человек, вдруг обнажился в своей робкой, застенчивой, колеблющейся сущности. В то же самое время явилось Алпатову почему-то ясное распределение всего хаоса из прочитанных книг: Кант, и Спиноза, и Декарт становились на свои места. Вдруг оказалось, что все эти великие мыслители высказывали свои догадки, тоже краснея. Все это было, однако, неотчетливо и если бы записать, то получился бы вздор, и если сказать другому, то другой ничего не поймет. Но казалось, если бы подойти к этому ученому и ему сказать, то ему оно сказало бы, и стало бы все ясным, и через это можно бы определить себе в науке свой жизненный путь. Вслед за этим Алпатову, как и раньше бывало с ним не один раз, явилась неизбежность поступка: раз если так, то он должен идти к профессору, он должен преодолеть все свое смущение, всю неприятность риска, и об'ясниться во что бы то ни стало. Вот почему, как только кончается лекция, он бежит по коридору за профессором, чтобы догнать его и в се сказать.

...Вы представите себе, мой друг, лучше, чем я умею об этом сказать, весь риск такого поступка. Как можно рассчитывать, что профессор, занятой человек, закаливший свой ум огромной дисциплиной труда, станет возиться с бродячим мальчиком из бескрайной русской равнины? Или, может быть, каждый рожденный для настоящего творчества человек проходит в свою пору юности то же непременно искание философского камня и так может по себе узнать родное, понятное и в дикаре? Часто я думаю об этом, беседуя с нашими мужиками, в распоряжении которых имеется так мало понятий и слов, — из каких источников берется возможность продолжительного общения неграмотного и проводящего жизнь свою на две трети с книгами? Я прихожу к заключению, что в последнем, современном, культурном человеке скрывается тоже, как творческий фактор, и весь дикарь прошлого, и весь романтик знания и чувства. Вот почему, зная в себе хорошо и дикаря, и алхимика, и романтика, я никогда не вздыхаю о прошлом и не зову с собой никого идти в дикари, в мужики, в алхимики и рыцари: все прошлое, все равно и так с нами непременно живет.

И этот замечательный ученый, о котором я только рассказываю, если только Алпатов сумеет хоть как-нибудь связать свои мысли и расположить к себе, очень возможно, поймет юного русского искателя философского камня. Профессор бежал так быстро по коридору, что Алпатов не успел догнать его, и так он скрылся в своем кабинете, как раз в тот момент, когда Алпатов только-только собирался остановить его бег. Через несколько минут большого волнения Алпатов решается постучать и слышит в ответ из кабинета: в о й д и т е.

Был беспощадно прост и ужасен первый вопрос ученого:

— Что вы желаете?

Алпатов не сробел и ответил:

— Я, господин профессор, догадываюсь, почему Виту невозможно открыть и она от нас ускользает: потому что мы сами ею живем, мы движемся с ней вместе и потому ее движения не замечаем, как, двигаясь вместе с землей, не замечаем ее движения, и вот почему, наверно, не удастся синтез живого белка.

Профессор широко открыл глаза. Было бы и всякому учителю, сколько ни привыкай, поразительно: сейчас только были слова в простой логической связи и вот они уже воплощены в жизни этого взволнованного юноши, живут в его крови, повышают температуру его тела, вызывают в лице его краску—и все вместе рождает мысль.

— Вы иностранец? — ласково спросил профессор.

— Я русский, — ответил Алпатов.

— Химик?

— Хочу быть химиком. Но только вы не примите меня просто за мечтателя: я могу работать и достигать своего. Я бы только хотел работать, имея в виду эту Виту, как небо: я вижу в этом подвиг ученого, достигать недостижимое и не забывать о земле. Я, господин профессор, материалист, вы меня понимаете?

Не подавая виду, совершенно как равному, профессор сказал:

— Вполне понимаю, друг мой, только все это очень опасно.

И почему-то рассказал про одного старого еврея, который, прочитав Канта, сейчас же, как только узнал у него, что нет мира без нас, что мир есть только наше представление, не захотел жить в таком неверном мире и повесился над раскрытой книгой о чистом разуме.

— Так может и с вами случиться, — сказал профессор, — когда ваша Вита окажется не прекрасной девушкой, а женщиной трех K: Kirche, Kinder, Küche.

— Этого я не боюсь, — ответил Алпатов, — я испытал уже с женщиной гораздо худшее и, вероятно, только потому, что сам сделал какую-то ошибку, хочу это заменить наукой, в которой есть практический корректив ко всякой мечте: работа с мензуркой и весами.

Профессору это очень понравилось, он, улыбаясь, пожал крепко руку Алпатову и записал его в первую химическую лабораторию.

Появление Мефистофеля

Кто много работал по химии в лабораториях, тому в полях и лесах и на воде часто, бывает, пахнет какой-нибудь кислотой или газом, совсем неприятным для всех, и очаровательным для химика: запах больше всех наших чувств связан с нашими переживаниями, а что может быть лучше времени естественной молодой нашей веры в прекрасную женщину, мать всего сущего, и в силу философского камня? Пусть каждый современный учебник по химии начинается

насмешкой над средневековыми алхимиками, искателями философского камня, юноша, вступая в лабораторию, на первых шагах хоть немного бывает тайным алхимиком, и современные научные методы, сравнительно с теми далекими временами искателей начала начал, дают только новую силу, только новый задор. Мы только что пережили трагедию Северного Полюса, еще несколько лет тому назад ученые говорили нам, что все-таки еще возможна жизнь на полюсе, что встретится там какой-то новый материк и какая-нибудь жизнь, даже люди. И вот оказалось, там нет ничего, одна математическая точка. И все-таки мы с новой энергией строим теперь ракету для полета в межпланетные пространства, с трепетом в сердце предвкушаем полет на Марс и Луну, хотя там, по всей вероятности, найдется то же самое, что и на Северном Полюсе. Есть такая же безмерная, реальная сила и в наших детских маленьких тайнах и особенно в нашей первой юношеской любви.

Милая моя маленькая женщина моей юности, самый драгоценный мой друг, я возвращаюсь к нашему роману, открывая в нем силу всего моего счастья, всей радости жизни, школу моего единства и верности. Я горжусь силой, которая позволяет мне сейчас сдерживать слезы восторга, я лую уверенно, я знаю: есть в пустоте воздух, в тоске радость, в мечте воля к преображению жизни и в первой любви эта живая мать моих живых детей и лучших минут творческого общения с друзьями...

Преобразив свою Ину в какую-то Виту, Алпатов вступает алхимиком в лабораторию: там и тут бесцветное пламя множества газовых горелок окрашивается красным цветом, зеленым, фиолетовым, стеклянные реторты и колбы, укрепленные в железных штативах на разных высотах, кипят над пламенем, из них по каучуковым трубкам невидимые уходят добрые и страшные газы, заключаясь в газометрах на службу человеку. Там кто-то в синем фартуке выпаривает в сушильном шкафу платиновый тигель с осадком до постоянного веса, наблюдает термометр, и вот сегодня он рад: он достиг постоянного веса. Ему после долгой работы остается только снять колпак с химических точных весов, взвесить, вычислить с точностью до четвертого знака. Вот подходит к нему профессор, вынимает свою записную книжку, слушает. Студент, волнуясь, сдает найденную цифру анализа.

— Четыре!—называет студент.

Профессор кивает головой: верно.

— После запятой: пять, три, семь.

Голос студента дрожит от волнения, если последний даже знак неверен, ему еще придется неделю работать над тем же...

Дальше технические лаборатории, дальше святое святых, лаборатория самого профессора, где будущие ученые вместе с учителем делают общую работу — синтез белка. Вот там вплотную подходят к загадке жизни, заключая следы ее в меру и счет. Когда-то хотели заключить в реторту самую жизнь, здесь знают, что догнать жизнь невозможно, и все-таки идут за ней след в след, вплотную, измеряя

следы и строя свое по образу и подобию ее. Алпатову кажется, что в этом деле научном требуется больше и ума, и воли, чем раньше, и даже больше остается свободы, — ведь и солнце, и месяц, и звезды через это не меняются: в ночной тишине, глядя на них, человек может и не думать о счете и мере, совершенно свободно догадываться...

Так вступал Алпатов в лабораторию с тем же самым благоговейным чувством, как если бы родился в средние века, и астролог вручал ему гороскоп. Все казалось ему здесь нужным и важным, и люди в фартуках такими привлекательными, и особенно соседка его, Роза Катценэлленбоген: ни у кого на свете нет таких огненно-красных волос. В весовой лаборатории он встретил теперь трезвого и доброго Ивана Акимыча Априори, из технической сам пришел и очень обрадовался ему красивый и странный Амбаров.

Дело рук профессора-видно в лаборатории на каждом предмете, по его тетрадкам студенты делают анализы, но на первых порах новичка всегда учат студенты. Есть, конечно, в этом большое удовольствие для старшего поделиться своим опытом с растерянным и очарованным новичком, но Амбаров делает это с особенным вниманием и даже нежностью, как-будто Алпатов был исключительно интересующая его девушка. Он показал Алпатову и Розе, как узнавать металлы по их способности окрашивать бесцветное пламя и маленькие прозрачные стеклышки буры, включенные в колечко из платиновой проволоки; как разбираться обонянием в различных оттенках запахов, исходящих от тел при нагревании; учил, с какой осторожностью надо пользоваться вкусом, осаждая основания солей и отнимая у них кислоты другим основанием. Особенно обращал он внимание на запах тел, как на средство их различения; говорил, что нос не то, что язык, нос около глаза, и так близок к мозгу, что всякое чувственное восприятие по запаху надолго остается памятным человеку. И случилось, как раз во время рассказа об этом, в лаборатории запахло горьким миндалем. Только Амбаров один из всех это заметил и стал ощупью двигаться, разбираясь по усилению запаха в направлении. Наконец, он подходит к одному из сушильных шкафов и достает тигель с препаратом, издающим запах горького миндаля. Кто-то неосторожно поставил препарат с цианистым кали и чуть не отравил всю лабораторию ядовитым газом. Хозяин тигля, бурш с дуэльными шрамами на обеих щеках, выходит бледный, но Амбаров его успокаивает: в небольшой дозе цианистый кали не приносит никакого вреда человеку. Вот это можно и показать. Все студенты сходятся к Амбарову: русский хочет показать что-то необыкновенное. Из банки с белыми палочками Амбаров берет себе пинцетом частичку цианистого кали, кладет на язык, запивает водой... Через несколько секунд все тело его вздрагивает, он хватается руками за стол, быстро оправляется, и бледный, как бумага, хохочет, предлагая желающим тоже попробовать... Но тут было чего-то чересчур, все, потупив глаза,

расходятся на свои места, и Роза, став вдруг чрезвычайно серьезной, осаждают в пробирке гидрат алюминия, усердно потирая ее, как учил Амбаров, о свою упругую коленку.

Третья жена

Очень возможно, что вся беда вышла у Алпатова из-за этой удивительной книги, о которой он ничего не слыхал, а случайно купил в одном магазине. В этой книге каким-то чудесным путем философия соединялась с поэзией, и то самое, что у Канта и других ползло, здесь летело, как метеор, на одно неповторимое мгновение ярко освещая мировое пространство. Узнав эту книгу, Алпатов не мог больше слушать философские лекции, и каждая такая лекция, с записыванием ее в тетрадки, представилась заседанием людей, из которых каждый в отдельности был просто дураком, а в заседании множества все стало овильсь умными. Нет, настоящее знание летит, как метеор, и человек истинного знания сгорает и падает, как метеор; и пусть: старый бог умер. Так говорил Заратустра.

Алпатов, собрав в себя все лучи этой книги, устремился работой в одну только точку, забросил все лекции, и делал только анализы в химической лаборатории. Там же, в промежутки, когда что-нибудь согревалось или долго выпаривалось до постоянного веса, он читал по теории, далеко забегая вперед. Движение его в лаборатории при такой сосредоточенной энергии приобрело небывалую скорость. Через месяц он оставляет Розу в качественной лаборатории, титрует в объемном анализе, потом сидит на весах. Профессор давно его заметил и никогда не проходит мимо, не сказав ему несколько одобрительных слов. Но едва ли так можно учиться химии: крепости и баррикады можно брать разом, очень возможно иногда бурным натиском отбить себе прекраснейшую рабыню. Но химия дается мерным трудом. Читая теорию ионов, Алпатов встречается с высшей математикой, оказывается, она необходима и в химии, а он к ней так неспособен. Но как же он может быть неспособен, он может все! Он берется за высший математический анализ и, пока в этом не достигнет больших знаний, отложит работу по химии. День и ночь сидит он теперь над интегралами, но все, кажется ему, ползет, как черепаха. Но самое главное, что ему показалось при этом занятии, будто у людей два ума, один ум—этот по математике, где все только мера и счет, другой ум — в мгновенном схватывании без всякого счета и меры. Вспомнилось Алпатову, как ему маленькому мать хотела помочь в арифметике и хуже его решала задачи, а так в жизни все понимала и была, все говорили, необыкновенно умна. И вот еще оказалось, что гениальный автор Заратустры был до крайности, до идиотизма, неспособен к математике. Но самое главное, о чем он догадался, что химия берется таким же умом, как математика. Он еще не отказывается, он возвращается в лабораторию, а там, пока он возился с математикой, Роза

догнала его, и сидит обыкновенная на тех же его весах, которых он достиг с таким трудом, а Вита бежит в бесконечной дали... С удивлением он обращается к Розе — узнать у нее, каким образом она движется вперед с таким верным успехом, ничуть не изменяясь от работы даже в лице. Она не таится и все объясняет спокойно. Ее отец в Пинске торгует старыми фраками. Ее будущее в пинской аптеке, она изучает химию для фармацевтики и со временем достигнет провизора. Оказалось, что Вита у Розы была внутри, и ей не нужно ее догонять...

Алпатов, очень смущенный, выходит из лаборатории и ему кажется, что все было, как сон, и теперь все прошло: сон забыт. Дома, ни о чем этом больше не думая, свободным движением руки он подвигает к себе книгу: «По ту сторону добра и зла», и там, читая до вечера, узнает свою Виту, это, оказывается, мир в себе, то, что невозможно достигнуть знанием и что если бы это и удалось как-нибудь узнать, то оказалось бы, может быть, очень смешным и ничтожным... Так говорил Заратустра.

Вечером при свете фонарей он идет куда-то неопределенно по бульвару, как бы открывая всего себя для обстрела бесчисленных случаев большого города. Появляется Амбаров под руку с новой женой, и Алпатову кажется—это самый нужный ему теперь человек: у Амбарова, наверно, все было в жизни. Они спускаются в один из подземных келлеров Лейпцига, садятся трое у белого мраморного столика. Ни на минуту не останавливаясь, сходит вниз по ступенькам уличная толпа, делает оборот в огромном подвале, выходит в другую дверь, бесконечно меняясь под музыку. Амбаров не обращает никакого внимания на свою третью жену. Она сидит, все наблюдая с большим интересом, постоянно поглядывает на корпорантов в цветных шапочках, непрерывно покачивает своей маленькой ножкой. Вдруг Алпатов очень смутился и покраснел: он заметил, что Амбаров поймал его взгляд, следящий за покачиванием ноги его третьей жены. Мало того, Амбаров смеется, подмигивает ему...

Поскорее, чтобы скрыть свое смущение, Алпатов схватился за разговор об умных вещах, он спросил Амбарова, не читал ли он замечательную книгу «По ту сторону добра и зла»?

Амбаров еще сильнее засмеялся. Нет, он ничего не читает, кроме книг по химии, но тема «По ту сторону добра и зла» ему хорошо знакома по жизни бюрократии в Петербурге: по ту сторону находится власть и к ней постепенно передвигаются люди маленькие, получая за свое терпение ордена различных святых, от Станислава до Владимира. Люди большие берут власть, не обращая внимания на святых.

Однако все это Амбаров говорил, как бы шутя, и слегка поглаживал кистью мрамор столика.

— Для меня,—сказал он,—большая загадка, почему из этого...— Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцами мрамор.

мор.—Из этого простого и чисто физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое.

Алпатов овладел собой и сказал:

— Как же простое, если от этого рождаются дети, мы не можем посредством химии сделать даже белок живым, а тут дети. У вас-то они рождаются?

— Не от всех, но, если родятся, я посылаю содержание: матери бывают очень довольны.

Подали коньяк. Алпатов это выпил на пиво, и ему очень захотелось во всем договорить до конца: потом всегда можно будет удрать от этого человека. Вот бы хорошо ему все рассказать о невесте, как он ее искал. Быстро для храбрости выпил он еще коньяку, но и тогда оказалось, что об этом вслух сказать почему-то нельзя. Впрочем, он расскажет все о Вите в химии, как-будто Вита была его невестой.

Очень хорошо пришлось воспоминание о Марье Моревне: он был такой маленький, что не только не задавался вопросом, отчего рождаются дети, но даже не понимал, каких женщин и за что называют красивыми. Явилась Марья Моревна и вдруг он понял, что она красивая. А после того, как он стал все понимать, он чувствует в каждой женщине Марью Моревну и, если этого нет в ней, значит, как-будто и невозможно с ней сойтись. Точно так же он не может сейчас выбрать себе специальность без того, чтобы она не являлась делом всей его жизни. Так вот он занялся химией исключительно потому, что профессор увлек его своей догадкой о близости химической реакции к реакции жизни...

Алпатов спросил под конец:

— Как можно сходить с женщиной и не думать, что в ней находится неоскорбляемая Марья Моревна, научите меня тоже, как можно работать без сладости ожидания последнего ответа. Вы-то как работаете по химии, неужели совершенно без Виты?

Амбаров сидел совсем другим человеком, бледный, как тогда в лаборатории после цианистого кали, верхняя губа постоянно вздрагивала в левом углу.

— Я, вероятно, — сказал он, — больной, есть такая страшная болезнь: я всю сладость вперед мгновенно выпиваю про себя.

Алпатов был поражен действием своих слов и ему стало очень жалко этого большого и красивого человека. С нежностью, с большим участием он спросил:

— Но все-таки вы живете, сходите с женщинами, работаете много по химии. Как это вы можете совершенно бесстрастно переходить туда... по ту сторону добра и зла?

— По инерции, — ответил Амбаров, — но в химии у меня сладость не выпита, я всю вашу Виту разгадал, и все-таки интерес у меня не пропадает — это реальность. Я вам открою: это власть и ее можно добыть только посредством химии. Я работаю над взрывча-

тыми веществами. Вы понимаете ли, что к власти надо пробиться без ордена, надо, чтобы не давали ее, а взять надо.

Лицо Амбарова исказилось, он наклонился к самому уху Алпатова и прошептал:

— В химии можно добыть такое вещество, начинить одну бомбочку и сказать: «Не подходите близко». Победим мы, химики, и среди химиков — я.

Не мысль, а бледное лицо с кривым вздрагивающим ртом и какое-то ужасное напряжение в глазах, и холод, — да, стало в жаре холодно, — вот что страшно испугало Алпатова: он узнал сумасшедшего.

Амбаров по лицу Алпатова догадался, что сказал лишнее. Он принял обычный свой вид франта второго разбора, засмеялся, делая вид: он пошутил.

В это время один грузный бурш из Конкордии так внимательно, так нагло следил за качанием ноги третьей жены Амбарова, что Алпатов с ненавистью стал смотреть на бурша, и тот это заметил. Амбаров шепнул Алпатову, наливая коньяк:

— Вы ему язык покажите.

Алпатов показал. Бурш вспыхнул. Алпатов еще показал. Бурш поднялся, подошел к Алпатову, подал свою карточку. Алпатов подал свою.

Дуэль на шлегерах

В дуэльном уставе всех корпораций есть достаточный повод к дуэли: *вы з ы в а ю щ е п о с м о т р е т ь* одному на другого—*provocierend ansehen*. И оно правда, если от человека спуститься к боям у птиц и более крупных животных: у них тоже почти всегда бой начинается с глазу, один петух посмотрел вызывающе на другого и клюнул на земле, и другой посмотрел вызывающе и тоже клюнул, еще раз, еще — и бросаются.

Бурш из Конкордии на экстренном заседании буршенгерихта, конечно, утаил, что он сильно заинтересовался качанием ноги дамы, сидевшей с Алпатовым, и что за это Алпатов ему два раза показал язык. Было совершенно достаточно сообщения, что Алпатов бросил вызывающий взгляд, и буршенгерихт разрешил дуэль с иностранцем. Секундант корпоранта, чрезвычайно вежливый молодой человек, явился к Алпатову и сообщил ему постановление буршенгерихта.

— Я не умею фехтовать, — ответил Алпатов, — а на пистолетах драться из-за такого пустяка смешно: я не буду.

— Нет, — ответил секундант, — мы деремся всегда на шлегерах, это не очень опасно, это вопрос чести, но не жизни. Буршенгерихт, предлагая вам дуэль, делает вам честь, как иностранцу, не со всяким *в и л ь д е р о м* буршенгерихт разрешает драться корпоранту. И вам будет дано шесть недель на изучение фехтования на шлегерах.

Алпатов очень вежливо с улыбкой поблагодарил за честь, хотел было предложить извинение, но ему пришло в голову, что немцы не

его одного, а всех русских будут считать трусами: это как-будто неловко...

Он согласился и сейчас же отправился приглашать в секунданты Амбарова.

— Я буду вместе с вами учиться фехтованию, — ответил Амбаров, — а сейчас я расскажу вам другую смешную историю.

Он рассказал, но история совсем не показалась Алпатову смешной. В какой-то сложнейшей формуле органического вещества, над которым Амбаров работал три года в Париже и Цюрихе, при вычислениях произошла ошибка, какое-то альфа-основание перепуталось с бетой, и вместо взрывчатого вещества получилась чрезвычайно прочная краска. Теперь за хорошие деньги Амбаров продает свое изобретение германскому правительству: краска защитного цвета для германской армии.

Алпатов подумал:

«Выдумка это, для того, чтобы замаскировать вчерашнее признание».

Амбаров как-будто догадался, о чем будет думать Алпатов, и сказал:

— Так у меня обернулось, как у Мефистофеля: хотел сделать зло и сотворил добро для германской армии и для своего кармана. Но и у вас не лучше, мой милый: какая эволюция, давно ли вы проповедывали практический корректив в русской колонии, и теперь уже деретесь на дуэли с немецкими буршами. Если все будет у вас так быстро катиться под гору, то, возможно, к новому году мы будем с вами в родстве.

Последних слов о родстве Алпатов не дослышал, потому что был очень смущен.

— Я не знаю что делать, — сказал он растерянно, — если бы можно было как-нибудь избежать глупой истории... разве плюнуть?

— Можно и плюнуть, — ответил спокойно Амбаров, — но только зачем? Вся эта дуэль просто игра, не все же вам сидеть с книгами, постарайтесь немцу хорошенько накласть.

До этого Алпатову никогда не приходилось видеть Амбарова без ломанья: теперь он говорил, как старший, рассудительно и доброжелательно. И глаза его, спустившись к маленькому житейскому случаю, стали умными и расчетливыми.

Алпатов подумал:

«Я в нем ошибся, очень возможно, он играет зачем-то роль сумасшедшего, я серьезно принимаю, а он ломается».

— Покажите мне свою краску, — сказал он вслух.

Амбаров не только показал краску, но даже и бумагу с предложением германского правительства купить ее.

Алпатов окончательно решил:

«Представляется».

После того ему стало очень весело. Осталась позади эта страшная русская жизнь, где всю молодость отдают и д е е, где с презрением относятся к своему телу и даже не украшают его красивой одеждой. Алпатов немедленно отправляется в магазин с рыцарскими доспехами в витринах, покупает себе шлегер, проволочную маску, кожаный фартук и со всеми этими покупками идет по адресу, указанному секундантом противника. Учитель фехтования целых два часа под ряд сажает ему синяки тупым шлегером на правое плечо. И все это кажется отличным. На другой день он сносно защищается, на третий ухитрился влечь в маску противника свой шлегер с такой силой, что оторванная проволока насквозь пробила щеку учителя. Потом каждый день Алпатов выходит на улицу после фехтования, весело чувствуя, что все его тело по-своему как-то поет радостный гимн своему существованию и этому отвечает вкусный воздух.

Незаметно приходит назначенный день дуэли, и Алпатов идет туда уверенный, нисколько не думая, что поплатиться придется ему.

Кто видел когда-нибудь правильно подготовленный бой английских боевых петухов, когда на каждого блестящего черным пером небольшого, но чуть не стального по крепости, бойца поставлены значительные деньги, и на это смешное петушиное смотрят серьезно страшно взволнованные люди, тому не будет новостью дуэль немецких студентов. В этих дуэлях все проходит, кажется, еще серьезней, чем в дуэлях со смертельным исходом на пистолетах, и это очень понятно: перед смертью люди могут шутить, но если не смерть, а обряд, то какой же смысл в шутке? Единственная опасность остаться без руки, если острый, как бритва, шлегер перебьет плечевое сухожилие Axilaris, но и то едва ли это возможно: опытный Беспартийный с высоты бочки зорко следит за первой кровью и—как только крикнет свое halt!—секунданты скрестят свои шлегера между противниками, доктор бросится, схватит своими пинцетами разрезанные концы Axilaris и как-то по-своему устроит все к благополучию.

Как вынимают знатоки дела боевые шлегера из футляра и примеряются ими, как смачивают блестящие клинки карболкой и еще раз примеряются и шикарно пересекают острием клинка в воздухе волос: каждое движение родилось в недрах природы, в петушиных, турухтаньих, оленьих боях — вот когда! и потом сколько совершенствовалось, утончалось в Риме, освежалось варварами, переходило к рыцарям в средние века, блестело при луне у балкона испанки и в нашем военном строю при свете науки...

...Милый друг, я слышу военную музыку и пение:

Высоко в небе ясном
Вьется алый стяг...

Все в моем доме бросаются к окнам. Вот впереди под звуки марша Буденного важно, сосредоточенно - серьезно идет красный командир и за ним в шлемах революционная армия, все молодцы один к одному,

отлично здоровы, одеты и сыты. Никогда я не был военным, но, все равно, древнее чувство военного просыпается в моей природе и тело покрывается гусиной кожей от радостного волнения. И что делается с милыми гражданами: какое прекрасное масло выдают им в кооперативе, но все ворчат и сравнивают с каким-то непревзойденным маслом довоенного времени, а когда проходят военные у нас под окном с музыкой, все веселяют и никто не вспоминает скуку и мусть недавней окопной жизни...

Доктор отлично озаботился проветрить большую залу для поединка, воздух свеж и чист. Секунданты с опущенными шлегером подходят к Беспартийному и заявляют ему: «все готово». Тогда Беспартийный становится на бочку и высоко поднимает свой шлегер. Противники сходятся с открытыми лицами, плечами и грудью...

Все начинается с такой же осторожностью и затаенным волнением, как у петухов, вооруженных самой природой боевыми шпорами, тоже долго примериваются тот и другой, ожидая на себя нападения, думая: пусть он первый ударит, а я готов отразить удар и потом ударю по-своему. Алпатов первый не выдержал томительного дрожания шлегером и удар его стали о сталь рассыпался искрами. Корпорант с мясистой грудью, как у борцов, согнувшись, быстро отступает, парируя, Алпатов насккивает, стараясь сразу его утомить. Но почти уже у самой стены корпорант внезапно обрушивается на Алпатова и тот, принимая на ручку шлегера удар за ударом, быстро отступает назад к стене и, так собравшись с силами, тоже нападает, и корпорант больше не хочет отступать. Теперь все должно скоро кончиться. Беспартийный не дышит, впиваясь глазами, секунданты приготовились при первом слове Беспартийного мгновенно скрепить шлегера.

Было одно мгновенье, когда блестящие глаза Амбарова, сверкнув, встретились с глазами Алпатова и этого было довольно, чтобы шлегер корпоранта кончиком своим немного задел. Алпатов знал, что во рту у него где-то был кончик шлегера и значит дуэли конец. В это время и противник, вероятно, заметил свой удачный удар, растерялся, когда не последовало «halt!» от Беспартийного, и не успел парировать горизонтальный удар. Тогда закричал Беспартийный и секунданты скрестили свои шлегера.

Алпатов выплюнул изо рта кровь вместе с зубом, у противника на груди широко развалились мускулы, заливая все кровью. Доктор спешит промывать и сшивать, секундант корпоранта с негодованием бросается к Беспартийному: первая кровь была у Алпатова, почему же он не остановил дуэли? Но оказалось, что первую кровь у Алпатова скрыли усы. Беспартийный прав: он кровь заметить не мог, потому что прямо же вслед за этим ударом сверху Алпатов ударил по горизонтали. Потом корпорант, не обращая на боль и кровь никакого внимания, просит пива и, улыбаясь, приветствует противника. Алпатов чокается с ним весело: прозит и мойн.

Вот этого в петушином бою не бывает: улыбку над всем происшествием и привет противнику прибавили люди.

А между тем фуксы, эти молодые члены корпорации, еще в черных декелях, фуксы первых семестров, крассфуксы, и старшие, брандфуксы, вдвигают столы, составляют один большой, во всю залу. Другие тащат свежую бочку, пробивают ее острием, ввинчивают кран, расставляют по всему столу зейдели. Собираются мало-по-малу старшие корпоранты, полноправные члены конвента, в шитых золотом цветных декелях и лентами на груди, корпоранты первых ступеней—молодые дома, корпоранты вторых ступеней—старые дома, третьих—почетные головы, и вечные студенты, сидящие и лысые, много лысых, разные филистры, давно уже окончившие университет и сидящие на хороших государственных местах, но все-таки в цветных декелях, совершенно истыканных шлегерами на коммершах своей юности, и какой-то совсем старый филистр в чине действительного тайного советника.

Председатель ударяет по столу шлегером. Все поют старинную студенческую песню:

Ob Fels und Eiche splittern
Wir werden nicht erzittern.

И пьют, и говорят приветствия филистрам отдельно, начиная с тайного советника, потом опять поют, и пьют, и говорят о неизменных традициях корпорации Concordia, благодарят за поддержку почетных филистров, всех от высшего к маленькому, нисходя пирамидально. Начинается ландесфатер. Все берут в руки по шлегеру, становятся парами друг против друга, прокалывают остриями шлегеров свои цветные декеля и поют:

Декель я кодю тобою,
Клятвою клянусь святою
Быть достойным и верным
Своей Альме Матер.

И когда ландесфатер окончился и фуксы внесли третью бочку и стали разносить филистрам, гостям и членам конвента первые ароматные зейдели тяжелого темного баварского пива, сменившие светлое саксонское, случилось маленькое происшествие, которое всегда неизменно случается и всех развлекает всегда: провинился маленький неопытный фукс. Вина юноши не была так велика и, пожалуй, ее совсем и не было, а только действительному тайному советнику вспомнилась его юность, когда он был тоже наказан, и ему захотелось пошутить с мальчиком. Юноша пронес мимо самых губ Алпатова зейдель с пенистым пивом и поставил перед тайным советником. Старому филистру было неловко перед иностранцем и, чтобы загладить неловкость, он решил наказать крассфукса в анценкуришем. Все бросают в кружку несчастного фукса окурки, пепел, спички, об'едки, всякую не-

возможную клопиную дрянь. Фукс на виду всех становится на колени, подносит эту кружку к своему рту. Только сразу выпить и отделаться, как все мы выпиваем касторку, фукс не может, он должен медленно тянуть ванценкуриш столько времени, сколько будет тянуться общее пение, а оно умышленно тянется долго на слове: тяни.

Der Fuchs, der hat
Verschiess gemacht
Zum Iierum, Iarum, leere,
D'rum bist sheushlich ausgelacht
Zum Iierum, Iarum, leere,
Ziehe Fuchsschnauts, ziehe-a-i-a,
In Dreck bist du an die Knie-a-i-a,
Ziehe, Fuchsschnauts ziehe-a-i-a...

Последнее слово — тяни — на звуке «и» тянется беспредельно.

...Друг мой, обратите внимание, как часто в нашей стране браются дураками, и с детства я слышу даже от образованных русских людей о немцах, что они дураки, хотя в то же самое время все мы учились по переведенным немецким книгам очень давно, и теперь продолжаем, и в будущем невозможно предвидеть конца их влиянию. Никогда не называют у нас дураками французов, англичан, итальянцев, китайцев, японцев. Из всех народов у нас зовут дураком только самого умного, самого добросовестного, мужественного и близкого нам учителя — немца. Я так разбираюсь в этом противоречии, что дураками у нас считают главным образом людей, у которых традиция преобладает над личными качествами, что позволяет даже действительно умному человеку провести неглупую жизнь. У нас наоборот, не имея возможности жить чужим умом с помощью традиции, наш дурак так исхитряется, что становится умным. А еще мы приладились юродствовать в положениях, плохо подчиняющихся действию разума, тогда как немцы устраивают и это разумно, я думаю о множестве немецких браков при содействии брачных газет, браков часто многолетних и совершенно счастливых. Точно так же невыносимо нам приспособление рыцарских традиций к современному бюрократическому строю в студенческих корпорациях, где тайный советник дисциплинирует маленького фукса в верных чувствах своему кайзеру и потом приготавливает ему местечко по службе...

Алпагов был оглушен глупостью всего происходящего. Не имея возможности даже посмеяться с Амбаровым, он стал быстро пить зейдель за зейделем золотое саксонское пиво, светлое берлинское, темное баварское:

— Тяни, тяни, — пели студенты во главе с тайным советником.

И Алпагов тянул. Другой маленький фукс, сменивший наказанного, зорко следил за ним, чтобы не попасться, как первому, и быстро ставил ему все новые и новые кружки.

Последнее слышал Алпагов, как поперхнулся тайный советник и по-старчески раскашлялся...

Он очнулся поутру на чьей-то широкой двуспальной постели с золотыми шишками под чистым пологом в кружевах. Рядом с ним спала молодая женщина. Изумленно всмотрелся Алпатов в спящую и с трудом понял злую шутку Амбарова: с ним рядом лежала та самая его третья жена, из-за которой происходила дуэль.

Новый год

Старый друг, был у меня клочек земли, где я провел свое детство, я был страстно связан с этой родной землей и не хотел с ней расстаться. Близилась революция, умные люди, соображая, советовали мне поскорее продать чернозем. Конечно, я говорю о них у м н ы е в особом смысле, потому что действительно умными считаю не тех, кто умеет соображать, а кто в состоянии обдумать все свои переживания и через это понять жизнь других людей. Я не продавал земли, потому что, казалось мне, мои неспелые мысли только здесь могут созреть и обратиться в плоды, необходимые всем. Но я не мог этого объяснить окружающим меня людям, взволнованным борьбой за землю. Я их сам когда-то поощрял в этом движении и потому, скрепя сердце, отдал свой удел без борьбы. После того, чтобы не утратить воспоминания о земле моего детства, я выдумал себе, когда не снится, прогулки по саду, вызывая в себе отчетливые представления каждого дерева, каждого куста, сонных белых ночных бабочек, облепляющих днем основания стволов старых лип, неизменно бывающих с ними красных с черным крапом жучков, пурпуровых пауков величиной с булавочную головку... Все это я, лежа на подушке с закрытыми глазами, представляю себе как-то даже более ярко, чем было в действительности, и потом, как продолжение чувства природы, являются люди... Знаю, конечно, что все эти видения питаются болью, но ясность мысли при этом, углубленное понимание современности обогащают меня, вероятно, больше, чем если бы я теперь обладал любимым уделом. Скажите, друг, мудрее ли меня тот, кто, избегая боли, зная наперед, что всякая страсть вызывает потом страдания, вовсе не стал бы, как я, устраиваться на клочке земли своего детства? Я называю теперь эти мои новые чувства счастьем своим, я понимаю их, как награду за мою боль, но, скажите, неужели мудрее меня тот, кто не отдавался бы, как я, бессмысленно с доверием к жизни и заморил бы в себе заранее источник всякой боли и радости? Я не стал бы вас теперь об этом спрашивать, если бы меня не сопутствовал некто через всю жизнь, встречавший каждое мое свободное движение словами: грех, грехи, грех! Простите, друг, за это небольшое отступление, вызванное бессонницей. Так в этот раз вышло совсем неожиданно: я закрыл глаза перед сном, отправился в обычную мою мысленную прогулку по аллее, где в действительности теперь стоит ряд новых деревенских изб, сел отдохнуть на несуществующую лавочку, вспомнил вас, начал беседу и... не могу больше заснуть. Вдруг вскакиваю с по-

стели, говорю вслух: «Не надо спать!» Зажигаю лампу, и начинаю свою летопись. Так я называю свои писания, потому что мне кажется—я лет триста прожил, как ворон, и есть мне о чем рассказать.

В свете моих собственных переживаний мне теперь представляется неважным вопрос, было ли что-нибудь у Алпатова с женщиной в эту ночь. Униженный и раздавленный омерзительной шуткой человека, которому неосторожно доверился, Алпатов, чтобы не разбудить спящую женщину, встает, одевается и выкрадывается на улицу. Время уже близится к полдню, всюду большое движение, все готовятся сегодня вечером встречать Новый год. Как видение из далекого, давно оставленного им, мира, Алпатов узнает идущую в толпе соседку его в лаборатории, Розу Катценэлленбоген. И он решительно направляется к ней, потому что уверен сейчас,—в этой рыжей еврейке, с предназначенной ей как бы в самом рождении должностью провизора в Пинской аптеке, заключается и конец его унижения. Роза немного удивлена: почему Алпатов, оказавший такие необыкновенные успехи в химии, вдруг все забросил и куда-то исчез, что с ним происходит? Алпатов ей лепечет что-то и самому себе мало понятное. Они заходят вместе в одну маленькую кнейпе позавтракать и тут Алпатов начинает объясняться более связно: химией он потому перестал заниматься, что физика обиделась, а когда занялся физикой, то — история человека, а все науки изучить невозможно.

— Если бы я была мужчиной, — воскликнула Роза, — я бы не тратила время даром, я бы за границей изучила, как осушать болота, и потом я бы наши Пинские болота превратила в плодородную страну. Нет, я не стала бы терять время на раздумье, что изучать: наше ученье здесь дорого стоит.

— Вы думаете мало нас, фармацевток? — продолжала Роза. — Что можно заработать в аптеке? А инженер и еще болотный, торфмейстер, я думаю, в России может всего достигнуть, и себе хорошо и людям самое нужное.

Алпатов, слушая Розу, в одно мгновенье представил себе, что с л а д о с т ь занятий науками, это — личное дело и потому нельзя ни на чем остановиться, что смотришь в себя, думаешь о себе: сам живешь, переменяешься, и там снаружи все переменяется. А вот если взять болота, как постоянную величину, как у Розы аптека, то, действительно, можно достигнуть бесстрастия и независимости. Но в то самое время, как он подумал о постоянстве болот, стала навертываться знакомая сладость на достижение независимости, та самая опасная сладость мечты, увлекающая его в беспредельность.

«А что, если закрепить свое решение сейчас, в этот миг навсегда и сделать предложение Розе?» — подумал Алпатов и посмотрел искоса, как она, доедая шницель, вычищала хлебом тарелку.

Выходил как бы ответ трудной математической задачи, ответ-факт: если только он сейчас сделает предложение Розе, то непременно и сделается потом болотным инженером и очень полезным человеком,

и ему будет хорошо и совершенно покойно в ту же минуту, как получит согласие.

«Вот тогда все будет кончено», — подумал он в последний раз, чтобы вслед за тем сказать: «Я соглашусь сделаться болотным инженером и осушать потом Пинские болота, если вы согласитесь быть моей женой».

— Кельнер! — крикнула Роза.

Встала, уплатила, подала руку Алпатову и вышла.

Так бывает, — на один волосок от тебя пройдет что-то огромное и не заденет: не судьба.

«Слава богу, не сорвалось у меня с языка, — подумал Алпатов, — Роза от меня никуда не уйдет».

Он загадывает, с места не сойти, пока не придумает какой-нибудь выход в постоянство сознания, кроме последнего несомненного средства жениться на Розе. Медленно, чтобы только показывать вид, будто он пьет и, значит, имеет право оставаться на месте, тянет он из кружки пиво и думает, потом еще спрашивает кружку... Мало-по-малу вместо думы ввинчивается боль и живет там внутри, как дума, все растет и растет, переходит в полное чувство физической боли, как зуб болит...

Вспыхивают электрические лампочки. Два кельнера усиленно гремят, сдвигая столы, наконец, с поклоном подходит хозяин и вежливо напоминает: сегодня здесь будет встреча Нового года, сейчас закрываются двери, но потом, вечером, он просит гостя пожаловать к нему лично, если только милость его будет, встречать с его семьей и обычными гостями Новый год. Потом, узнав, что Алпатов иностранец, хозяин кнейпе объясняет ему всеобщий обычай в Саксонии угощать под Новый год всех, кто только бы ни зашел. И, конечно, хозяину особенно приятно будет почтить иностранца, который на чужбине вспомнит свою милую родину.

Алпатову сразу же после слов хозяина с небывалой силой и радостью вспомнилось русское рождество, снега, узоры на окнах. Он очень благодарит хозяина и обещается. А хозяин считает своим долгом еще раз объяснить гостю, чтобы он не подумал, будто он его желает в интересах своего дела, нет: все угощение будет за счет хозяина, такой обычай во всей Саксонии.

В этом внезапном явлении русского зимнего рождественского ландшафта было Алпатову что-то совсем новое и он это нес в себе домой до самого момента, когда маленьким ключиком повернул замок своей квартиры. Обыкновенно он входил почти неслышно в свою комнату и хозяйка никогда не встречала его, чтобы не показать виду, будто он ее потревожил. Но теперь, как только он отворил дверь, хозяйка выходит ему навстречу, и у Алпатова является предчувствие какой-то беды. И когда хозяйка прошептала, что у него сидит давно гость, тоже русский, сердце упало у него: он знал, какой это гость, что это Ефим, наконец, приехал за отчетом в его революционных де-

лах, тот самый Ефим, который, казалось всегда, был ему на родине всех дороже. Самое ужасное, что Ефим Несговоров ничего совершенно не замечает по лицу Алпатова и совершенно так же идет к нему навстречу, как было раньше, и это, что было раньше, представляется Алпатову необычайно прекрасным и как-то родственно связанным с тем, что шевельнулось у него в душе, когда хозяин пивной приглашал его встречать Новый год, что-то русское с праздниками, хотя Ефим праздников не признавал, с морозными узорами на окнах, хотя Ефим узоров никаких не видел и занимался только революцией... Все это промелькнуло мгновенно в одном об'ятии, хотя никаких об'ятий не было и друзья только подали руки и Ефим улыбнулся только глазами.

Алпатов неестественно ласковым голосом спрашивает:

— Ты меня долго ждал?

Ефим сразу чувствует неестественный тон и спрашивает довольно сурово:

— Где ты был?

Алпатов отвечает:

— Так... был в кабаке.

И все кончено, Ефим уже хмурится, уже догадывается. Спрашивает:

— Ты сделал что-нибудь?

— Ничего, — ответил Алпатов, точь в точь, как в первом классе гимназии, когда показывал матери журнал и там были одни единицы и хотелось объяснить, что не он виноват, а несправедливые учителя.

— Значит, ты опять в худо-жест-ве? — сурово спрашивает Ефим.

— Значит, в художестве, — отвечает Алпатов.

— И не хочешь работать?

Алпатов на зло, как бывало учителям:

— Нет, не хочу!

Ефим поднимает голову и смотрит внимательно:

— Что это у тебя губа рассечена, ты упал?

— Я дрался на дуэли за женщину, — ответил Алпатов.

Ефим поднимается с кресла и, не прощаясь, идет к двери, и на ходу говорит:

— Какой ты шалун!

Знакомая дверь, там, в коридоре, захлопывается, запираясь автоматически.

Все кончено.

Случилось гораздо большее, чем Алпатов представлял себе, когда в горячах отвечал Несговорову, но он это не сразу понял и уснул в кресле, как-будто ничего не случилось. А когда он просыпается, то ему теперь повторяется совершенно так же, как было, когда его исключили из гимназии. Быстро он одевается, выходит на улицу, идет по круговому бульвару и ничего не видит, впереди только темные стволы каштановых деревьев: все внутри. Выходило немного странным и нелогичным, ведь вместе с этим Ефимом они с детства отрицали

все, что называется р о д н ы м, праздни́ки с попами с иконами, русские неудобные телеги, сохи, бани, овраги, все, даже над русским морозом смеялись всегда, вспоминая: «Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». А теперь все это явилось прекрасным, почему-то неразрывно связанным с Ефимом, и вместе с ним теперь утраченным. Алпатов и теперь не знает в своем словаре р о д и н ы, но ландшафт является ему картиной, которую, кажется, если бы можно в темноте, он точно бы нарисовал, и при этом все располагается в этом ландшафте под музыку.

Далеко где-то молотилка, будто пчела гудит. А в лесу настоящая пчела летит за последним взятком, будто молотилка вдали гудит. Вот как тихо: земля под ногами, как пустая, б у н ч и т. Миновал перелесок, спустился в низину, вспомнилось ее необыкновенное старинное название: е н д о в а. Тут, в ендове, люди в овчинных тулупах перележали холодную осеннюю ночь возле своих лошадей. Люди эти просты, как полевые звери, и разговор их самый простой и веселый про одного зайца, которому корова наступила на лапу, все очень смеются, вспоминая, как вился под коровьей ногой русак, а она так ничего и не знала о нем, и все жевала и жевала. А за ендовой уж начинается чужой лес, и тут ему встречается обрамленный осенними цветами деревьев светлый водоем, как затерянное начало всего прекрасного на свете. Тут с разноцветных деревьев—кленов, дубов, ясеней и осин—юноша выбирает самые красивые листы, будто готовит кому-то цвет совершенной красоты. — «Друг мой, — шепчет голос, посвящающий в тайну, — не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, действуй тут силой, почерпнутой из источника, и дожидайся в отважном терпении, когда голос мой позовет тебя принять свет прямой». В полях сгущается мрак и в душе в ответ большая тревога, что не найти потом больше никогда эту тропинку к светлому источнику. Но тьма не наступила: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны поднялась большая луна, свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках. Вот тишина! как пустая, б у н ч и т под ногою земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли, невозможная красота является в ярких сумерках и великий художник, управляя волшебной переменной цветов, говорит:

— «Юноша, земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется под ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит непременно весна с любовью и весна—это наше, это главное, из-за чего живут на земле. Цвет — это наше, это — явное, это — день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия!» Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли свой крест».

Другой одинокий человек шел по круговому бульвару с другой стороны и против фонаря стал у дерева, как-будто не решаясь идти дальше. Больше никого и не было на бульваре, все люди, встречая Новый год, зарылись в своих каменных муравейниках. Но вот раздаются шаги, и такой же одинокий человек подходит к тому же самому дереву и фонарю. Алпатов очнулся и, увидев другого, узнал то самое место, где сегодня звали его встречать Новый год. Тогда ему показалось, будто это приглашение к встрече праздника каким-то образом связано с его новым чувством особенной своей музыкальной родины и что он непременно должен быть в этом уличном кабачке. А другой тоже идет туда после раздумья, спускается вниз по каменной лесенке, при свете фонаря видна его скромная одежда рабочего человека, борода большая, как у русского. Алпатов спускается вслед за ним...

Не узнать пивную, в которой сегодня же был, все устроено, как-будто это внутренняя комната какой-то семьи. Барышня, вероятно, хозяйская дочь, встречает его приветливо, как знакомого, просит раздеться, гости приветствуют его приход, другая барышня играет на пианино, а третья вот уже подходит к нему с подносом, просит взять его стакан с горячим вином. Он узнает за столом рядом с ним только что встреченного им на бульваре пожилого в бороде рабочего и прямо обращается к нему, как-будто они с ним давно знакомы и кажется ему, как на родине, вот сейчас совершенно, как там, при встрече с незнакомым человеком, начнется душевный разговор о самом близком. Алпатов спрашивает его так же, как и на родине все спрашивают, откуда он, чем занимается. Но с виноватой улыбкой наклоняется к нему старый человек и просит погромче сказать: он глуховат. А когда понимает вопрос, вот как он просветлел, вот как приятно ему рассказать о себе. Он глуховат, потому что весь день сидит в котле и пробивает дыры, в этом его дело, всегда грохот.

— У вас громкое дело, — посмеялся Алпатов.

— Что же делать? — смеется старик, — я ничего другого не умею, но есть работы, куда хуже моих, мне теперь хорошо.

— Как же хорошо, — удивляется Алпатов, — если вы теперь глохнете от этой работы?

— Это не беда, — отвечает рабочий, — а была раньше у меня жена и три дочери: вот было трудно. Жена умерла, дочерей всех я выдал замуж, теперь стало легко, очень легко и хорошо. Я теперь даже книги читаю и думаю. А вы тоже имеете возможность читать и думать?

— Я всегда думаю, я с колыбели думаю, — ответил Алпатов.

Рабочий очень обрадовался:

— О, какой вы счастливый человек! Но чем же вы таким занимаетесь, что у вас есть возможность постоянно читать и думать?

Алпатов ответил не ложно, он в эту минуту как бы подписывая вексель с обязательством непременно расплатиться за свои слова:

— Я торфмейстер, — сказал он, — я осушаю болота в России.

— Очень хорошо, — обрадовался старик, — в России, наверно, много болот.

Алпатову есть о чем рассказать. В России есть целые большие края, почти как Саксония, под болотами и очень возможно их обратить в золотые луга, есть огромные залежи торфа, спящие богатства, которые от избытка своей силы летом вечно дымятся и помрачают свет солнца...

Старик сказал:

— Да, вы счастливый, вам есть над чем подумать. Но и я скажу прямо: теперь и мне ничего, теперь и у меня тоже есть время о многом подумать...

А стрелка часов мало-по-малу подходит к двенадцати. Все три дочери спешат поскорей обнести гостей новыми стаканами глювейна. Вот начинается бой часов, все поздравляют друг друга и пьют и опять наливают стаканы, начинают говорить речи. Алпатов тоже встает, извиняется за свой нечистый язык: он иностранец, он русский... Долго не понимают гости, о какой это говорит иностранец волшебной зеленой стране, где люди преобразили всю землю великим стройным трудом и так застенчиво скромны в своих желаниях: люди эти за великое счастье считают, если им остается время немного почитать и подумать, принять безродного странника на своих редких праздниках. В этой волшебной стране странник идет даже по обыкновенным дорогам и в жаркий день над ним склоняются деревья, обремененные сочными плодами...

— Да это у нас! — вдруг догадываясь, перебил речь иностранца старый котельщик.

— У нас! — обрадовались все.

И бросились поздравлять и обнимать иностранца.

(Продолжение следует)

Смерть

(Отрывок из драм. сцен «Трактор»)

Э. БАГРИЦКИЙ

Не мистика, а точное познание
Грядущего, такое ж, как когда-то
Германцы видели в косматом небе,
Нависшем над языческой рощей,
Нам ближе, ощутимей и прекрасней,
Чем метафизика и чад свечей...
Нам с этой выдумкой земная радость
Покажется еще благословенней,
И запах мира мы вдохнуть сумеем
Еще сильнее, и биенье крови
Еще восторженнее ощутить.

Ты умираешь... Пылкая подушка
К щеке прижата, пальцы торопливо
Снуют по одеялу... А с высот
Спустилась лестница — и ты по ней
Взбегаешь, к тучам, к планетарной дрожи.
Конец дороге! Лестница в провал
Обрушилась. И перед нами враз
Раздергиваются облака, треща,
Как занавес из коленкора... Свет
От фонаря, прикрученного к двери,
Горячей пылью сыпанул в глаза.
И неуклюжей вывески квадрат
Певец разглядывает с любопытством.
Там раздраконены малярной кистью:
Оранжевая сельдь на синем блюде,
Малиновая колбаса в сияньи
Яичных чашек, вставших в полукруг.
А в лакированной лазури вырос
Воздушным шаром в белой оболочке
Грудастый чайник с розой на боку.
Над ними буквы бросились вразлет:
«Заезжий двор: Спокойствие Сердец».
А поглядишь в откинутую дверь,
Губу закусишь, чтоб слюна вожжою
Не потекла, чтоб не сосал язык.

Известкою и синькою по стенам
Прошла побелка, осыпая снегом
Пивные бочки, где бушует хмель,
Зажатый досками до судорог. Трещат
Ободья от напора. Только пальцем
Дотронешься до кляпа — и взлетят
На воздух бочки, разлетаясь желчью,
Пернатой пеной, клочьями досок.
А посредине комнаты поставлен
Стол, будто слон. И ножки у стола
Слоновьи, каменные. На столе ж
Кусками мрамора застыло сало;
Копченых рыб просаленная медь;
Тугих колбас кровавые дубины,
Котлы, где жирною смолой икра;
Скуластых яблок ржавь — и головастый
Голландский сыр, как сифилитик, в язвах
И в оспинах, откуда нежный гной
Стекает на расписанное блюдо.
А за столом, довольные, сидят
На стульях гости. Чайники вокруг,
Как голуби ленивые, порхают...
И чай, журча, бежит по чашкам. Вот.
Когда ты снова явственно почувствуешь
Свое незыблемое тяготенье
К земле, к воде, к произрастанью злаков, —
И кровь твоя, соленая, густая,
Окрашенная силой и здоровьем,
Стократ сильнее в жилах побежит.

СЫН

Рассказ

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

I

Глубокой зимою, под самое рождество, негадано-неждано приехал на деревню сын безземельного мужика Аброськи, Борис. Много лет Борис пропадал безвестно, письма от него приходили только первые годы, раза два-три наезжал он домой в деревню и присылал деньжонок, а после канул, как ключ на глубокое дно. Уж в войну прошел по деревне слух, что работает Борис в степи с хохлами, живет сыто, что ведутся у него деньжонки. Жена его, оставленная им в деревне с детьми и свёкром, послала с уезжавшим на шахты знакомым человечком слёзное письмо мужу, и ответ получился нескоро: в конверте была затрепанная пятерка и листок с поклонами. В листке Борис сообщал, что находится в добром здравии и желает того всему своему семейству, что, бог даст, по весне, к севу, соберется проведать дорогую супругу и любезных деток. Получивши письмо и деньги, Борисова жена Дуня, к двадцати восьми своим годам уже глядевшая старой старухой, прибробрилась, повеселела, стала будто моложе.

А в скорости стало худо в деревне и голодно, и опять на долгие годы не было о Борисе никаких слухов. И самые лютые годы, голод, разбой и болезни, довелось Дуне переживать одной, в односилку выхаживать детей и хозяйство...

Тот год, когда негадано прикатил Борис, деревня уже выплыла из беды. Лошадей он нанял на станции, где было попржнему людно и грязно, сидели и спали на мокром полу мужики. От станции его вез на бойких, весело побрякивавших бубенцами лошадакх, рыжий, туго подпоясанный по крытому полушубку, бойкий на язык мещанин Рукасуй. Всю дорогу они разговаривали о Москве, а рыжий мещанин с лупившимся от морозу и ветру маленьким, курнофеечкой, носиком не пропускал человека, чтобы не перекинуться соленым словечком и почти в каждой деревне заезжал к знакомым, где им жарили сало и угондали пахнувшею овином самогонкой.

К концу дороги оба были хмельны, выделанно веселы, играли песни. День был зимний, ясный и тихий, под вечер крепко морозило и глазам было больно смотреть на снега. Дорогу Борис признавал плохо; так изменилась вся местность, столько торчало из снегов пней, столько рассыпалось во всех сторонах новых выселков и хуторов! Он сидел, развалиясь в гремевшем возке, дышал колючим воздухом, жмурясь, равнодушно смотрел на снега, на пухлые крыши хуторов-выселков, на гнавшихся за возком, зло оскаливших зубы, хуторских кобелей. В лесу было бело и тихо, как нарисованные, стояли завалецные снегом ёлки и сосны, а с кружевных белых ворот, висевших через дорогу, сыпался на дугу, на спины лошадей, на шапки и за воротники легкий, крутившийся на воздухе, алмазно блестевший иней.

Под Нижними Нивками, на большой дороге, им повстречался обоз. Мещанин неохотно, топя лошадей, свернул в снег и остановился. Косматые лошаденки, кланяясь обыневелыми головами и дыша паром, медленно тащили визжавшие по дороге, нырявшие на ухабах туго увязанные возы. Возчики в армяках и тулупах, с белыми обмерзшими бородами, шли позади возов. Высокий редкобородый мужик в овчинной шапке остановился на дороге, вглядываясь в лицо Бориса, и вдруг заулыбался, оскаливая из армяка зубы:

— К праздничкам?

— Ты, сват Егор? — спросил, тоже улыбаясь и узнавая мужика, поднимаясь в возке, Борис.

— Он самый! — еще шире скаля зубы, весело крикнул мужик. — Самый он и есть! — повторил он, чему-то очень радуясь и разглядывая во все глаза Бориса и везшего его мещанина.

Со сватом Егором и любопытствовавшими, разглядывавшими Бориса возчиками постояли и покурили на дороге, пока проходил обоз. Потом, когда проползла, запаленно дыша, последняя приставшая мокрая лошаденка, попрощавшись, Егор побежал догонять своих, раздувая полы армяка и докуривая на бегу, и даже по его длинной сутулой спине было заметно, как заинтересовала его эта неожиданная встреча.

В село в'ехали под вечер. Большое красное солнце садилось над овинами за край синевевшего леса. Высокая колокольня стояла холодно и мертво, всем и всему чужая. Пусто сквозил над рекою вырубленный липовый парк и в нем, на месте крепостного помещичьего дома, белели крыши новых деревенских построек. На реке, куда спустились по раскатанному ребятами косогору, на желтой проруби баба дополаскивала холсты. Она посмотрела на переезжавших реку, постояла, высморкалась красными закаляневшими пальцами и, нагнувшись, размахивая подолом, стала звонко бить вальком по холсту. И, раскатившись под кузницей, крича, мещанин погнал улицей, мимо черных, с белыми крышами, хат и высоких колодцев, под которыми стояли и смотрели на них, подняв мохнатые головы и отводя зады, выпущенные на водопой жеребята.

II

Избенка, где жил-бедовал отец Бориса, — на краю деревни, на выгоне. Они прокатили всю улицу, гремя бубенцами, дразня вязавшихся за ними собак (мещанину веселое было дело хлестать собак ременным кнутом по глазам, отчего они визжали, захлебываясь злобно), удивляя глазевших на них мужиков и баб, и остановились у занесенной великим сугробом, глядевшей окнами в поле, избенки.

Всякому глазу отлична была из всей деревни эта избенка. Была она без сеней (вместо сеней прислонены к крыше длинные слегги, прикрытые летошним, давно обсыпавшимся хвойничком), с черной, склизкой, проросшей по щелям дверью прямо на улицу, на вольный свет. Тут же, на снегу у двери, прикрытая дощечкой с серым круглым камнем, стояла кадушка с мерзлой капустой; худая рябая кошка, подобравши хвост, царапалась и пищала у двери; а как бы в завершение, на длинном шесту над крышей висела головой вниз высохшая, растрепанная ветром дохлая ворона. И всё это: глядевшая в поле избенка с надутым на потолке островерхим сугробом, кадушка с полопавшимися обручами, рябая кошка и ворона, вывешенная в виде какого-то зловещего черного флага, было такое, что всякий маломальски приметливый человек, проезжая мимо, не мог удержаться, чтобы не сказать этак: «ну и живет, прости господи, человечек!»

Из возка Борис вылез неспешно, помялся на снегу, отпихнул ногою пицавшую кошку и потянул за проволочную скобу набрякшую дверь. Духом и вонью хлынуло из избы.

Аброська сидел у заросшего ледяными узорами окна и плел лапоть. Появлению сына он не изумился, не выказал особенной радости. Разглядевши и узнав его, он неторопливо поднялся, бросил колодку под стол. И Борису показался он всё таким же. Так же сквозила, чуть серее, его бороденка, так же хрипло он откашлянулся, так же потянулась темная рука чесать под рубахой. Двое ребят, мальчик и девочка, смотрели на гостя большими испуганными глазами. Мальчик был в обшмыганной застегнутой криво шубейке, с улицы с румяными от мороза щеками и блестящими черными глазками; девочка сидела за прялкой, со спустившимся с заплетенных в косичку волос платком, едва доставая до полу своею тонкою босою ножкой.

Мещанин, ввалившийся с Борисом в избу, закрывши за собою дверь, кряхтя с морозу и обирая сосульки с усов, сказал стоявшему посреди хаты и глядевшему на них Аброське:

— Принимай, товарищ, гостей! Сынка вам доставил.

Аброська поглядел на веселого мещанина и точно впервые понял, что приезд сына должен обозначать для него большую перемену жизни, вдруг необычно оживился, надел шапку и побежал помогать мещанину отпрягать и ставить на двор лошадей...

А через час сидели все за столом, разговаривали и опять пили. Дуня (о приезде мужа ей сообщили на деревне ребята: — «Тетка Дуня,

тетка Дуня, Борис-то твой прикатил, па-арой, бяги скорей!»—и, услышав это, она чуть не грохнулась о землю, так захолонуло вдруг в сердце), — Дуня хлопотала около загнетки, раздувала огонь, щепляла лучину, ссыпала на шипевшую сковородку мелко накрошенное сало и всё поглядывала украдкой на сидевшего за столом Бориса. Приездом мужа она была потрясена и взволнована, чуяла перемену своей горькой судьбы, и всё старалась угадать по лицу: с чем-то приехал? А угадать было трудно: встретился он с нею очень уж как-то равнодушно, целуясь, обдал перегаром, слова не сказал путного. «Будто чугунный, — думала она, быстро ломая на колене трещавшую лучину и мельком поглядывая на Бориса: — и на детей не взглянул толком!» Впрямь был Борис будто чугунный: иссиня черен, груб и как-то каменно-неподвижен. За столом в углу он сидел прямой и тяжелый, подпирая спиной стену, ел большими кусками, пил из стакана помногу, не передыхая. Лицо у него было синеватое, словно весь день таскал уголь и забыл помыться, глаза сидели глубоко и тревожно, черносиние волосы жестким клоком прикрывали лоб. А было в нем и знакомое, очень давнишнее и родное, от тех времен, когда на этом же месте и за этим столом (стены и стол были тогда новей и белее) сидел он в свежей вышитой ею рубашке (как всё это памятно было самой Дуне!), темноглазый, и застенчиво улыбался, и обочь сидела она, опустивши платок на свое заплаканное лицо, а веселый, осипший с водки и холоду, сват Кирей держал перед ними стакан и, хрипуче прокашливаясь, говорил, что, мол, вино горько, надо бы подсластить... Борис теперь сидел молча, пил и ел, смотрел тяжело и хмельно, почти не моргая. — «Прочухается, — думала, поправляя огонь, слыша бившееся свое сердце, Дуня. — Это с дороги он такой сумный»...

В хате собрались незваные гости. Заходили они будто невзначай, здоровались через стол с Борисом, разглядывали его любопытно, потоптавшись, садились на лавку, не раздеваясь и не скидывая шапок. От угощения из церемонии они отказывались, потом принимали стакан, шутили и поздравляли с приездом угощавшего их, сидевшего в углу, Бориса, а, выпив, садились поодаль. За столом бойчее всех говорил мещанин. Он сидел в расстегнутом полушубке, с шарфом на шее, раздвинув под столом ноги, пил и краснел. Чувствовал он себя как дома, пил и закусывал, шарил бегучими глазками и врал. Держа в руке вилку с насаженным салом, прожевывая, он рассказывал слушавшим его мужикам о разбойниках и московских жуликах, срезавших на ходу подметки, о том, как месяц назад, под каким-то городом остановили хлопцы в кустах возвращавшегося с базара мужика и за то, что оказалось у того мужика в кисете всего восемь гривен, отрубили ему голову и повесили на кусту над дорогой. Врал он и смеялся с удовольствием и так, что и впрямь будто жалел очень, что не довелось самому быть там, посмеяться над висевшею на кусту мужичьею головою. Борисов отец Аброська, сидевший на краю стола и хмельавший быстро, хрипло дышавший своею костлявою грудью, пусто смотрел на меща-

нина набрякшими слезою, выцветшими глазами и вставлял словечко:

— Это давай сюды! Это возможное дело! Теперя, брат, народец — во!

Борис был грузнее, чернее и волосатее (был он в покойную мать, как сказывали на деревне бабы), а было в сыне и отце что-то общее: одинаково тяжело и пусто смотрели исподлобья их глаза, одинаково деревянно и грубо они смеялись, и были похожи их большие узластые, с толстыми суставами и неповоротливыми пальцами, руки. И только однажды по-настоящему оживился отец, когда Борис, хвастаясь, вынул из кармана бумажник и, щелкнув им по краю стола, стал показывать деньги, — серые, грязные, истершиеся по рукам бумажки. Денег на глаз мещанина было сотни три или четыре и держал их Борис в своих толстых пальцах веером над мокрым столом. Мужики смотрели на деньги, завидуя, отводя глаза; подмигивал хитро мещанин и испуганно, опершись на чапельник, глядела на мужа и на деньги, робела и молчала Дуня.

III

А удивительный и самый бестолошный на деревне человек был Аброська.

На деревне считался он безземельным. В кои еще веки пристал он из другой дальней деревни в зятя к глухой и черной девке Раките, курившей трубку и ругавшейся на сходках по-мужицки. Век прожили они в ссорах и драках и померла Ракита от побоев (раз крепче привычного поколотил её Аброська), оставив одного мужу сына. И, может, потому, что был Аброська чужой на деревне и пришлый, смотрели на него мужики с усмешкою, презирая за бедность и лень. Над ним частенько посмеивались, а, случалось, бивали, а он всё это сносил, как должное, как дождичек теплый. И мужиков он ругал в глаза страшно, выворачивая словечки, от которых зудели самые привычные уши. Должно быть, для того, чтобы уж совсем отвернуться от мужиков и деревни, поставил свою избенку Аброська нарочно на отлете, не по-людски: окошками в чистое поле, задом — на деревенскую улицу.

Избенку ему помог поставить — отпустил из лесу макушек — помещик Иван Никитыч Строев, холостяк и чудака, живший в именьеце невылазно, ходивший по мужикам с пенковой трубочкой и дававший им меткие клички, весь свой век что-то строивший и возводивший и так и не достроивший до конца. Аброська в прежние времена кормился около Ивана Никитича, всякую весну дарившего ему на племя теленка (теленка этот погибал неизменно), отрезавшего клочек песчаной запольной земли и лужка на болоте. Зимами ходил Аброська у Строева за скотника, задавал скоту корм, ночами прохаживал с фонарем проверять починавших коров и на руках приносил в теплую скотную мокрых, шатавшихся на высоких ножках, глядевших на огонь большими влажными глазами и жалобно мычавших, только что теллив-

шихся телят. Трезвый Аброська был тих, молчалив и очень угрюм, а поговаривали о нем, что был не чист на руку и не раз видели его люди, как пропивал строевские хомуты и седёлки... Случалось, загуливал он на долгие сроки и в такие разы ходил смутный и страшный, с соломой в путаных волосах, забредал пьяный в волость, стоявшую при дороге, настырно лез за решетку и в глаза последними словами бранил писаря и старшину, и всякий раз старшина Коныч, белый бородатый мужик, до смерти боявшийся начальства и скандалов, запирали его в клоповню, где Аброська до утра бушевал и гремел кулаками в стены и дверь. Захаживал он браниться и к уряднику, жившему на горе за рекой, большому кривоносому человеку, и всякий раз в три шеи спускал его урядник с крыльца и всё село видело-слышало, как, бывало, стоя посреди дороги в разорванной до пупа рубахе, обливаясь слезами и кровью, плакал он, жаловался и призывал покойницу жену, вопя так, что поднимали на деревне собаки брѣх.

— Ка-атюх!.. Ка-атюх!.. Ка-атюх!.. — вопил он, заливаясь слезами, страшно колотя себя кулаками в голую грудь, падая в грязь на колени.

Били его жестоко и тяжко. По суткам лежал он без памяти, избитый и недвижимый, в запекшейся черной крови, облепленный мухами, где-нибудь у дороги в канаве, и шарахались от него лошади. Отлежавшись, вставал он черный, страшный, шел, шатаясь и харкая кровью, и еще настырнее и злее ругал мужиков и начальство. Били его деловито и подолгу с желанием добить до конца, а добить никак не могли: каждый раз, уже бездыханный и черный, отлеживался он в канаве и упрямо лез на рожон...

Войну и революцию принял Аброська, как принимала вся деревня: ничему не удивляясь, так, точно случилось такое, о чем давно ведали и молчали, что бывало и раньше, чему рано или поздно непременно должно было быть. Вместе с другими помалкивал он и жмурился на раз'езжавшее в первые дни и уговаривавшее мужиков новое молодое начальство, курил свою трубочку и сморкался. Вместе с другими, когда пришло время, ходил грабить и жечь Кужалиху, петербургскую барыню, каждое лето наезжавшую гостить в деревню, в имение, и катавшуюся с гостями в высоких колясках с желтыми спицами, кидавшую ребятам на воротцах мятные пряники. Из кужалихиного дома вынес он под полою выломанный из печи отдушник, медные ручки от оконных рам и длинную занавеску. Бежал он и в город, прослышав, что тамошние мужики и солдаты громят и распивают казенный очистной склад, но успел к дымившимся головешкам. Нарочно ходил он в дальнее село Погудку, где многие собравшиеся деревни своим судом судили разбойников, зарезавших в том селе попа, и, воротившись, с веселым удовольствием, попыхивая трубочкой, рассказывал сидевшему с ним на берегу реки, опустившемуся и постаревшему за одно лето, со страхом слушавшему его Ивану Никитичу (Ивана Никитича до поры до времени не трогали мужики, почитая своим, давним) страшные подробности мужичьего мирского суда: как,

заставивши вырыть большую яму, связавши и положивши на дно, землю живых закидали тех разбойников судившие их бабы и мужики.

— Стали мы думать-гадать, какой их предавать казни, — с удовольствием, точно о чем-то смешном и веселом, рассказывал Аброська молчаливо слушавшему его Строеву. — Мужичок один говорит: ежели, говорит, расстреляем, это им одно удовольствие, следует их другой казни предать, надо их, говорит, живьем в землю, чтобы почувствовали. Так, значит, и постановили. Положили их, голубчиков, рядком в ту могилку. А народу, может, тыща, всякому охота, подходили и горстями закидывали. Бабы пуще старались. — Горстями, скоро ли? — продолжал он, раскуривая трубочку и смотря над рекою цвёлыми своими глазками. — Матросик с ними был молодой, убивался...

— Что же? — подавленно, передергиваясь плечами, и делаясь точно меньше, спрашивал Аброську Иван Никитич. — Неужто живьем?

— Во! — весело отвечал Аброська, не замечая ужаса собеседника и смотря над рекою. — Чистое дело...

Самые лютые годы, разбой и голод (Иван Никитич, кормивший до революции Аброську, помер тою же осенью, не перенесши разразившейся, никак не гаданой им, беды: пошел в мужицкую баню, крепко попарился и, посидевши на снегу, простудился насмерть), — лютые годы пережил Аброська, как и все. В год, когда ходили по деревням тиф и испанка, сидел он со всею семьею с ног до головы вымазавшись дегтем, чтобы не брала болезнь. В голод, со снохою и внуками, ел похожие на навоз лепешки из корья и льняного семени и терпел покорно.

И все эти годы и месяцы ни слуху ни духу не было о Борисе. Только раз, уж в войну с Польшей, зашел к ним со стороны, попросился переночевать прохожий человек. Был он в солдатском, назвался дезертиром. Рассказывал он, будто видел Бориса в каком-то городе, подле моря, вместиах ели-спали. И неведомо было, верить или не верить тому человеку.

IV

Негаданный приезд сына выбил Аброську из его налаженной и привычной жизни. Праздники он ходил шальной, пьяный, тряс бородачку и тупо моргал красными глазами. Борис был с ним почтителен напоказ, перед гостями, сажал за стол на первое место, подносил первому и почтительно величал папашей, забывал о нем скоро, и Аброська сидел один, всем чужой и забытый, глядел на гостей тупо. Иногда вдруг вспомнив молодые свои замашки, вылезал Аброська на деревню, на улицу и, надсадно кривя рот, хрипучим старческим голосом начинал старинную песню о какой-то башне и всё срывался. Шатаясь, стуча кулаками в грудь, брёл он по скользкой накатанной улице, плакал и кричал, как кричал много лет назад, когда стояла при дороге волость, и выкидывал его с крыльца урядник:

— Ка-атюх!.. Ка-атюх!.. Ка-атюх!..

И, как в прежние времена, лаяли на него деревенские собаки, бегали за ним, смеялись, толкали друг дружку малые ребяташки. Девки и парни, неводом ходившие по улице, останавливали его и дразнили:

— Гляди, гляди, посклизнешься!

— Теперя он богатый! Кованый.

— Абрось, крикни!

Выворачивая крутые словечки, непристойно ругая отворачивавшихся девок, Аброська останавливался перед кучкою дразнившей его молодежи, страшно скрипел зубами и, поднявши над головою шапку, обеими руками швырял её о землю и долго топтал лаптями. И нельзя было понять, радуется он или горюет.

О том, что будто приехал Борис не зря и большие привез деньжонки, говорила вся деревня. О Борисе толковали на сходках в Акимовой избе, где всю зиму собирались по вечерам сидеть мужики, и слух о Борисовом приезде и легких Борисовых деньгах закружился далеко по соседним деревням. В деревне к нему приглядывались, старались отгадать, с чем приехал, за глаза относились недружелюбно. На сходках, в прокуренной Акимовой избе, хлестко и зло смеялся над ним гулявший на его денежки и спаивавший его, вострый на слово Окунек.

А в глаза Борису попрежнему льстили и в гостях у него, на легкую выпивку, бывала почти вся деревня. И все праздники Борис продолжал гулять, хвастал деньгами и угощал гостей. И все праздники бродил по деревне, хрипел песню о башне, бил себя в грудь, вопил и топтал, на смех молодежи, лохматую свою шапку Аброська, праздновавший приезд сына....

Когда-то, еще малым мальчишкою, Борис ходил на село играть с подрядчиковым сыном Петей Завьяловым. Зимами заставляли его там разуваться, оставлять в людской лапти и они вдвоем бегали в чистой, застеленной половиками и заставленной цветами в кадках горнице, играли в войну и запрягали стулья. Петя был тонкий, болезненный и долгорукий. За забаву мать Пети, рыхлая и слезливая женщина, часто провожавшая мужа, давала Борису баранок. Однажды он больно и жестоко прибил Петю и с тех пор перестал показываться Завьяловым на глаза.

Детство Бориса было дикое. Маленький, когда жива была мать, бегал он по деревне без порток, в рваной рубахе, с вымазанным соплями и землей личиком, с похожим на барабан, тугим от картошки, поднимавшимся под рубахою животом. Один и с ребятами лазил он по чужим огородам и на деревья, вытаскивал из гнезд голых пищавших птенцов, целыми днями полоскался на броду в речке, ловя под камнями гольцов и раков, тонул много раз и дрался с ребятами. Маленькие тонкие ноги его обрастали за лето корою и грязью, волосы на макушке выгорали от солнца, тело делалось сухим и шершавым, а пахло от него, как от птицы. Частенько, изловив его на грядах, выме-

щая свою обиду, жестоко била мать, а он визжал так, что было слышно за рекой в соседней деревне. Однажды, с деревенскими ребятами-несмыслями оставшись один в межень, устроил он на деревне пожар, разведя под крышей огонь, и тот раз от его руки выгорела половина деревни.

Раз установили его на дворе кужалихины гости, офицер и белая барыня, проезжавшая в чудной телеге без дуги и на двух высоких колесах, спросили дорогу и дали двугривенный, а он, спрятав за щеку деньги, стоял на дороге и, как волчонок, смотрел вслед удалявшемуся, пылившему колесами и покачивавшемуся на дорожных выбоинах экипажу...

В школу, к учителю Петру Ананьевичу, ходил он две зимы, а на третью бросил, чтобы не бить лаптей. Да и ученье с первого разу не пошло ему в прок; не влюбил его за молчаливость и тяжелодумство учитель; а ребята, бойкие и вихрастые, пахнувшие хлебом и коноплей, жившие шумною жизнью, дразнили его, смеялись над ним, кликали за неповоротливость сомом. А, бывало, Борис догонял какого-нибудь из обидчиков и, засевши верхом, отомщал ему зло.

Рос Борис, как волчонок, на своей воле. Летом, с длинным, волочившимся по земле, кнутом, бегал он по жнивью за деревенскими долгорылыми свиньями, свистал в два пальца и кричал до хрипоты в горле. Зимами помогал отцу ходить за строевским скотом. И с раннего детства был он молчалив, угрюм, дик, как волчонок, и черён — в мать.

Женил его Аброська по приезду сестры своей Марьи. То было особенное лето в Аброськиной черной жизни. Сестра привезла из Москвы деньжонок и платья (поговаривали тогда на деревне, что нечистые были те деньжонки и платья), стала заводить хозяйство. Женил его Аброська — брали невесту из голодного двора, Дуню — еще безусым, свадьбу отпировали честно (посажёной была сама Борисова тетка—Марья, сидевшая в городском платье и шелковых лентах), а, оженившись, потоптавшись еще годок на деревне, поехал Борис в заработки: захватили его с собою земляки-хлопцы, поставили в Москву в шестерки в трактир. Первое время, вместе с сослуживцами-землячками, наезжал он летом в деревню в картузе и калошах, привозил Дуне подарков, а потом сгиб, пропал. Где и как мотало его, на каких был местах и службах, чем занимался эти долгие годы, толком он и сам рассказать не мог. И поговаривали на деревне, что темные у Бориса деньжонки, что не раз нюхал Борис тюрьму, что и незачем бы ему ехать сюда на деревню. Говорить говорили, а толком не ведал никто, а, и ведай-знай на деревне, не о том было дело.

V

После приезда, пока держались деньжонки, шумел на деревне и пировал Борис, с раннего утра каждый день увивались подле него, охаживали его людишки. А пуще других льстил, охаживал и спаивал

Бориса хитрый сват Егор, с первых дней ходивший за ним неотрывною тенью. И еще тревожнее смотрела запальными своими глазами, ночей не спала Дуня, скоро успевшая отгадать, что мало-мало хорошего сулит ей приезд мужа.

Ночами дулись в карты, в очко. В избе было тесно и накурено, мутно горела над столом, над лохматыми головами мужиков, лампочка, стонал во сне и храпел на печи пьяный Аброська. Борис, с деревянной кривой улыбкой, не сходявшей с его утемневшего лица, хлопал разбухлыми картами по столу, ходил на всё и проигрывал. Около него похихикивал и покашливал, загребал с кона деньги, ухмылялся в редкую свою бороденку рыжеватый Егор. Сват Егор пил мало, играл в карты по маленькой, словечки вставлял лукавые. И, принимая карты, он долго рассматривал их из-под согнутой в лодочку черной ладони, дул, как бы желая сдуть лишнее очко, выкидывая на стол «очко», хохотал мелко и деньги загребал осторожно черными корявыми пальцами, подмигивая, приговаривал:

— Играть не устать, не ушло бы дело.

И все напролет ночи, слушая мужицкие картежные споры, не смыкала глаз Дуня. Был с нею Борис, как и в первый день, молчалив и тяжел: «чугунный». И никак не могла она выбрать минутки, вызвать на откровенный разговор, узнать от него точно, как и зачем приехал. Он ходил каменный, требовал, чтобы готовили для гостей закуску, в редкие минуты, когда оставались одни, был груб и хмельён, и она убивалась, думала горькие свои думы, с ненавистью смотрела, как вставал от стола, подходил к двери, к ведру, и пил воду, ухмылялся и выполаскивал кружку сват Егор.

«Змей подколодный!» — думала она, глядя на Егорову, державшую жестяную кружку, руку, на ходивший под окутывавшим шею теплым платком кадык, на белёдые его облипшие волосы, на голубые, насмешливо окидывавшие её глазки.

На праздничных гулянках Борис сторговал и купил у проезжего цыгана Лексы вороного жеребчика-пятилетка с упряжкой. Лекса — черно-седой, со смелыми, косившими, глядевшими мимо, лиловыми, как у лошадей, глазами, с жесткими кудрями седоватых смоляных волос, густо выбивавшихся из-под шапки, — божился и говорил громко, стучал смоляной короткопалой рукой по столу и расхваливал лошадь. Весь день они гоняли жеребчика по деревне, пробуя ход, и, сойдясь, наконец, в цене, ударивши по рукам, поставивши жеребчика в худой Аброськин сарай с забитыми снегом щелями и сугробами по углам, полную ночь праздновали магарычи.

На первых порах, купивши жеребчика, Борис загулял круче.

С утра закладывал он его в санки и уезжал по гостям. Иногда он брал с собою жену Дуню, сидевшую в возке одеревянело и, выставив в валенке ногу, почмокивая на доброго, прижимавшего уши, норившего играть жеребчика, гнал его по обвешенной ёлками бойкой укатанной дороге. На селе Борис заезжал к мельнику, толстому и спо-

койному человеку в высоких валенках, свысока совавшему Борису свою толстую с мягкими пальцами белую от муки руку и хозяйственно-оглядывавшему его жеребенка. На мельнице всегда было густо народу; кучились задками сани и лисички, жевали сено и понуро мерзли серые, вороные, чалые и гнедые косматые лошаденки; длиннолицая, обвязанная платком мельничиха в подоткнутой юбке и грязных сапогах носилась с ведром по двору и за ней гонялись большой голенастый петух с отмороженным запекшимся гребнем и пухлые куры, топтались, надувая зобы, неуклюжие утки; на порог мельницы, под навес, подсаживались и кружились, взлетали, громко трепеща крыльями, от гонявшегося за ними щенка голуби. Мужики в армяках и тулупах, в рукавицах, с усерввшими за зиму лицами, сидели на мельнице на мешках, где мельник вешал зерно, курили и разговаривали. И все с любопытством смотрели на Бориса, на его лошадь, на то, как здороваётся с Борисом мельник. Веселый подвыпивший мужик с белой от мучной пыли курчавою бородой, с белыми веками, нагибаясь и черпая из ящика сыпавшуюся из-под камня теплую муку, говорил весело, смеясь всем своим запорошенным пылью белым лицом:

— Хороша мучица: бабам блины печь.

— Блины дело хорошее, — замечал знакомый Борису парень в армяке, с перешибленной бровью и живыми глазами, сморкаясь и вытирая полою нос.

— А то как же?—говорил кучерявый обмученный мужик, сыпая муку в мешок, который помогала ему держать кривая нищенка-старуха, и взглядывая на Бориса.

В том, как говорил с ним и здоровался мельник, в разговоре и взглядах замельщиков Борис замечал особенное, обращенное на него и льстившее ему любопытство. Он еще долго стоял с толстым мельником и шутившими мужиками, потом отвязывал лошадь и, повалившись на виду всех в санки, ехал на село в гору.

Бывал Борис и у Пети Завьялова, того самого, с которым гуляли в далеком детстве. Жил Завьялов с семьею на краю села, в кривой хибарке, оставленной ему из всего богатства на прожитие. Жил Завьялов хуже худого, впроголодь, по селу бродил рваный и задерганный, кашляя так, что было страшно на него глядеть. Борис подолгу сидел у него за круглым разломанным столом и упрямо уговаривал пить. Перед ними на столе стоял привезенный Борисом пузатый кувшин с самогонкой. Жена Завьялова, бывшая учительница, высохшая до костей женщина, испуганно смотрела на Бориса черными своими провалившимися глазами, раздраженно кричала на хоронившихся за перегородкою испитых детей, на слепую мать Завьялова, сидевшую на сундуке и все закатывавшую свои слепые глаза. А Борис сидел тяжкий, чугунный, не видя и не слыша, глядел на кашлявшего, державшегося плечами Завьялова и деревянно говорил одни и те же слова:

— А ну, выпьем... Давай выпьем... А ну...

После праздничных гулянок повадился Борис катать на участке к развеселой вдове Проске. Свел его с Проской и дорогу проторил сват Егор. С Егором они там и пропадали. Проска, разбитная, быстроглазая, живавшая по городам бабенка, встречала их, как гостей званых, белой городской скатертью накрывала стол и всё чаще и чаще заночевывал и пропадал у той Проски Борис. И всё отчаяннее ругала на деревне Дуня ухмылявшегося в бороду, насмешливо подмигивавшего глазом, свата Егора, разбивавшего ее счастье.

VI

За время скитаний Бориса многое переменялось на деревне. По-новому вытянулась, разбилась, нескладно расстроилась из вольного недавнего леса деревенская улица. По-новому гуляла, шумела, стенкой прохаживалась, играла новые залихватские песни деревенская зеленая молодежь. По-старому, в великом посту, перед весною, ходили по деревням и ездили нищие, собирали корки и хлеб. И всякую зиму откупали мужики хату у длинного, рябого, некогда ходившего в золоторотцах и факельщиках, Акима Бабуренка. Всякий вечер собирались мужики у Акима и много за эти зимы услышали Акимовы черные стены мужичьих дум и дел.

Всякий вечер в Акимовой избе было полно, и желто горела над столом лампочка-пятилинейка, освещавшая мужичьи лица и головы. Мужики сидели в избе густо, каждый на своем привычном месте. Сам Аким, один из всех по-домашнему в серой рубахе, сидел у стола, кулаком подперев скулу, хмуро слушал мужичьи разговоры и время от времени хозяйски опрашивал моргавшую лампочку. За долгие зимы давным-давно были переговорены все разговоры и порассказаны рассказы, и каждого своего человека со всей его подноготной, как светлое стеклышко, видела деревня.

Негаданный приезд Бориса на долгое время всполошил деревню. О Борисе, о больших деньгах, которые он будто привез с собою, говорилось в Акимовой избе много. Гулявшие с Борисом мужики-пустобрёхи несудом ввали, будто есть у Бориса немалые тыщи, что, подожди, дай срок, он раздокажет свое. Кто поумнее, молчали, зорко приглядывались к Борису, слухам верили мало и недружелюбно поглядывали на проносившегося по деревне Борисова вороного жеребчика, на шумевшего на деревне Аброську. Голобородый, красный, едкий на слово Окунек говаривал о Борисовом хвастовстве так:

— Хорошо поет птичка, где-то сядет...

— Пожди, дай срок, увидим, — заметил на это, не торопясь, ухмыляясь в русую бороду, крепко расставляя слова, сидевший в тени у дверей хозяйственный и богатый мужик Иван Осипов, к слову которого прислушивалась вся деревня...

Однажды Борис явился в Акимову избу сам (захаживал он и раньше, по пьяному делу, пошуметь и выпить). Пришел он совсем

трезвый, на себя не похожий, в избу вошел тихо, и уж по одному его необычному виду поняли мужики, что пришел недаром на сходку Борис. Широкий, сидевший с краю мужик подвинулся и подобрал полу, давая место Борису. При входе Бориса молодежавый белобрысый, со смеявшимися глазами, сидевший под лампою на полу мужик рассказывал весело, как воровали в плену у немцев русские солдаты гусей:

— До нашего брата никакого у них воровства не было, понятия не имели. А наши их, известно, и приучили,—под самый конец и у них почем зря пошло,—говорил он, оглядывая слушателей и довольно смеясь.

— Был с нами в плену тверской, из мешанов, такой легкий да тонкий, в какую хошь щелку проточится, а насчет того, где плохо лежит,—первейший жох! Как, бывало, запрут нас в помещение на ночь, он сейчас сапоги долой, сам в окошко, да на крышу, да на чердак,—гуси у них на чердаке были,—глядь-поглядь,—волокет под пахой гусака. «Скуби, ребята!» Печка у нас в помещении была навроде камину, так мы в той печке, занавесивши окно, и жарили по ночам. Утром хозяин придет на работу будить: «Морген, морген, рус!», а у нас ни соринки...

— Ловко справлялись.

— Во! — весело отвечал рассказчик, жмурясь, смеясь и вглядываясь сквозь темноту в сидевшего у порога Бориса.—Это нашему брату давай...

Почти весь вечер Борис сидел молча и неподвижно, а все чувствовали его присутствие и ожидали, когда начнет говорить о своем. Заговорил он нескоро, вдруг, громоздко поднявшись и держа в руках шапку. Стоя, точно перед начальством, допрашивавшим его, нескладно подбирая слова и отводя глаза от глядевших на него в упор мужиков, объявил он, что думает остаться в деревне навсегда, что за тем и приехал, что надобна ему теперь для прокормления и постройки земля, что просит он деревню выделить ему по едокам участок и выпустить на особняк. Слушали Бориса так, что было слышно, как сипит в лампочке над столом фитиль. И нельзя было понять, что думают, слушая его, мужики.

— Ловко! — громко сказал из темного угла чей-то свежий голос, когда Борис замолчал, стоя среди мужиков, черный и большой, густыми волосами касаясь низкого потолка.

— Дело это обдумать надо, — строго сказал, выждав молчание, сидевший у печки, уступивший место Борису широкий мужик.

— Почему не дать? Дать можно! Выходи на Лодорево Лядо. Место отличное,—насмешливо сказал кто-то, и мужики засмеялись, смехом показывая, какое нестойкое место было это самое лядо.

— Он на коноплянник просится...

— Губа не дура,—заговорил вдруг, хрипя и размахивая длинными руками, сидевший у окна узкобородый черный мужик Нефед, всё

время зло поглядывавший на Бориса.—Батяка его век земли не пахал, не знай, как плуг в руках держут...

После узкобородого заговорили многие, точно то, о чем об'явил Борис, имело для всех какую-то особенную и опасную важность. Большинство мужиков были сверстники Бориса, вместе когда-то ловили на броду раков. Теперь Борис стоял покорно, вертя в руках шапку, один против всех, и молчал. Громче всего кричал скрипучим голосом и размахивал руками узкобородый черный Нефед, неведомо за что возненавидевший Бориса. Веселый, рассказывавший о гусах, сидевший под лампою на полу и всё время улыбавшийся моложавый мужик, один из всех доброжелательно относившийся к Борису, сказал черному кричавшему Нефеду:

— Жаден ты больно. С собой не заберешь всего. Гляди, закопают скоро...

Над Борисовой задачей проспорили до ночи и ни на чем не сошлись. Когда кончилась сходка и, вместе с другими надевая шапку и пригибаясь в дверях, вышел Борис,— на воле, в черно-черно-синем, лежавшем над деревнею, небе, густо, как зерно в закроме, насыпаны были звезды. Звезды были маленькие и большие. Черный шест колодезного журавля с висевшей бадьею чуть проступал в небе. (Если бы умел замечать Борис, он заметил бы, как было прекрасно в ту ночь небо.) Из избы вываливали мужики, останавливаясь, кряхтели и мочились на снег, закуривали, освещая спичками бороды, и, поскрипывая снегом, расходились. Даже в темноте недобрыми казались их шаги. На горке, над речкою. Бориса догнал отставший от мужиков сват Егор, и они пошли вместе.

VII

Как-будто всё оставалось попрежнему. Попрежнему еще целый месяц шумел и гулял, проматывая легкие свои денежки Борис. Попрежнему всякий день толпились на дармовщинку, пили, захаживали перед Борисом, дулись в очко Борисовы приятели-гости.

А что как-будто и переменилось.

Больше стал пропадать Борис на участках у развеселой вдовы Проски, встречавшей его, как любезного своего дружка, лукаво поглядывавшейся со сватом Егором. Горевала, сохла от тоски и горькой обиды Борисова жена Дуня. А всё недружелюбнее поглядывали на Бориса его деревенские враги, всё злее посмеивался над ним в Акимовой избе Окунек.

Раза два-три Борис приходил на сходку, опять говорил о земле, и всякий раз попрежнему кричали и волновались мужики, хрипел, плевался, размахивал черными руками узкобородый Нефед. И огрызался хмуро по-отцовски, смотрел исподлобья на мужиков черными недобрыми своими глазками Борис.

Чем больше спорил с мужиками о земле Борис, тем недружелюбнее глядела на него деревня. Однажды, проходя с ним по улице, посмеиваясь хитро, подмигивая глазом, сват Егор шепнул ему так:

— Гляди, Нефедовы ребятишки надьсь грозились...

— А? Чего? — спросил, не дослышав, Борис.

— Убьют! Вот чего, — смеясь, теребя бороденку, громко сказал Егор.

Раз, за выпивкой, на деревне, поспорил Борис с посмеявшимся над ним, гулявшим на его денежки, Окуньком. Стоя посреди хаты, скрипя зубами, захлебываясь, кричал он так же, как в кои-то веки кричал на мужиков его отец Аброська:

— Черти, дьяволы! Земли жалко! Подавитесь...

И чем больше воевал с мужиками Борис, виднее проступало в нем, неприметное прежде, сходство с отцом. Так же, как отец, скрипел он зубами и бил себя в грудь, так же было упрямо, темно и страшно его лицо. С отцом был он попрежнему выделанно приветлив, напаивал его до бесчувствия, сажал в красный угол, назло мужикам кричал громко:

— Пей, батя, царюй! У нас хватит. Пей, сколько твоя душа хочет!

— Во, во! — хрипло отзывался ему Аброська, хмельно моргая красными оплывшими веками.

На деревне Борис прожил больше месяца. За этот срок до тонкости разглядела и оценила Бориса деревня и перетекли неприметно к свату Егору и веселой вдове Проске Борисовы легкие денежки. На масляной, перед отъездом, гулял Борис на последние и громче прежнего кричал валившемуся с ног Аброське, расплескивая и стуча по столу:

— Я отца уважаю! Пей, батя, царюй!..

На масляной же, под прощенное воскресенье (на масляной воротились морозы), пьяный Аброська замерз.

VIII

Было так.

Ночью, под воскресенье, вышел Аброська пьяный на двор до ветру. На воле было морозно, светил над снегами месяц, как привиденье с погосту, в белом саване стояла за плетнем на огородах верба.

За дровами, где сел Аброська, подошли к нему, поскрипывая по насту. И, удивительное дело, — светил месяц и будто уж не своя делясь глазами, потрепал по плечу Аброську, сказал-приказал:

— Старичка попотчевать надо. Пойдем!

Повели Аброську, в чем был, огородами над рекою, по крепкому насту. И, удивительное дело, — святил месяц и будто уж не своя деревня, шли над рекою, сугробами, а там, где за коноплянниками стоял прежде Нефедов овин, ярко светился высокими окнами длинный, никогда невиданный Аброською, пятистенка-дом, стояла у крыльца

тройка, били копытами вороные нетерпеливые кони. «Уж не Борис ли гуляет?» — смутно подумал Аброська. Взвели его на крыльцо под руки, оббили в сенях веником ноги, и черный сам отворил дверь. А в избе было полно и светло, сидели округ стола люди. И все вдруг загомонили, обрадовались новому гостю, стали сажать в передний угол. И будто на богатой свадьбе пили и гуляли за столом неведомые Аброське богатые мужики, плясали и пели, обыгрывали гостей жаркие бабы,—бабы вертелись, как ведьмы, лбы у баб были потные, ходунном ходили под бабами скрипучие половицы. Черный сидел рядом с Аброськой, поблескивал зубами, и было Аброське, как никогда в жизни... И уж плохо он разбирал, как плясали и ухали над ним, величали князем, и лихо крутили платочками бабы, как шумели, поили-кормили его люди, как катал он с черным — быстрее быстрого ветра — по мерцавшим снегам на вороной огненной тройке, и хохотал над его ухом, страшно скаля зубы, черный. Потом сгнуло всё, стучал зубами, замерзая, тыкался в темноте Аброська в мерзлую стену... «Умираю, могила!»—подумал он покорно и в последний раз, собрав силы, попробовал крикнуть:

— Ка-атюх!.. Ка-а...

И голос его застыл...

Нашли Аброську по следам на утро в Нефедовом овине. Сидел он в углу за евней, уже окаляневший, под старою бороною. Так, окаляневшего, с замерзшими открытыми глазами, перенесли его мужики в избу. Как водится, обмыли Аброську бабы, горшок разбили на перекрестке, подушку под голова (а и опочивал ли когда Аброська на подушках!) набили березовым, с веников, листом. И выла над ним, по обычаю причитала сноха Дуня.

Под богами Аброська лежал маленький, чугуноно-синий, с большими, скрюченными, схрещёнными на грудях руками. В избу весь день ходили бабы, напускали морозу в дверь, топтались у порога, смотрели на мертвеца сузившимися глазами, шептались тихонько. Рассказывали девки, будто слышали ночью, как кричал в овине, замерзая, Аброська, звал Катюху...

Борис хоронил отца торжественно.

В церковь несли Аброську, как князя; впереди шел Борис, без шапки, держа в руках черный, закапанный многолетним воском, повязанный полотенцем с трепавшимися по ветру красными концами, крест. Дорога от церкви до погоста по-городски была усыпана зеленым, пахнувшим на морозе смолою, рубленным ельником. Гроб несли на выструганых, связанных холстом, белых палках; носильщики неловко ступали по выкатанной желобом, скользкой, блестящей на солнце дороге; высоко лежала в открытом гробу мертвая голова Аброськи с серевшей и сквозившей на ней бороденкой; останавливались и снимали перед Аброськой шапки друзья его и враги, удивлялись небывалой торжественности последнего Аброськиного пути... И, будто князю, звонили-перезванивали, плакали над селом колокола...

Закопали Аброську на старом деревенском кладбище под березами, ронявшими на гроб иней. Могилу рыл и закапывал Аброську веселый сват Егор. Весело, точно делалось самое приятное дело, разбивал он и сгребал лопатой в могилу промерзшую за ночь, комьями падавшую на белый гроб землю и, соскочивши в могилу, прибывал лаптями, будто плясал на свадьбе. Когда над Аброськой вырос чуждо желтевший в снегу холмик, Егор в последний раз обровнял его лопатой, отошел в сторону и поглядел любуясь, говоря будто: «Чисто сделано, не встанет!»...

Поминки отцу Борис справил княжеские: напоследок пиновала у Бориса почти вся деревня — враги и друзья. И в последний раз шумел на поминках Борис, бил кулаками в грудь, плакал и жаловался мужикам на горькую свою долю. И слушали его на тот раз мужики спокойно, не торопясь, пили.

А на другой день Борис продавал жеребчика мельнику. Опять толклись, разглядывая Бориса, на мельнице люди, важно переваливаясь, выступал в высоких валенках мельник, гонялись за тощей мельничихой по двору куры. Жеребчика мельник осматривал деловито, обходил кругом, глядел в зубы, хлопал белой рукой по вздрагивавшей его спине. И, получая от мельника деньги, опять был похож Борис на беспутного отца своего Аброську...

IX

Спустя неделю, похоронивши отца, Борис уехал. На станцию вез его сват Егор. Егор был еще веселее, румяное лицо его светилось, то и дело соскакивал он с возка и бежал сзади, покрикивал на лениво шагнувшего мерина, весело говорил хмуро слушавшему его Борису:

— Эх, выпить бы, погреться!..

На полпути, в Ерзовке, выпили.

А выпив, повеселел Борис. И, как тогда, с Рукасуем, играли они песни. День был яркий, слепило, отражаясь в снегах, февральское солнце, в деревнях по-весеннему чирикали воробьи, в полях чернелись из снегов пни. В поле было холоднее, дул предвесенний пахучий ветер, заворачивал у мерина хвост. И опять гнались за ними, зло скаля зубы, и останавливались у перезимовавших вешек, хуторские и деревенские кобели...

На станции, до поезда, сидели в чайной, опять пили, и Егор с удовольствием рассматривал висевшие на стенах плакаты с разрисованными, похожими на вареных раков, людьми, заговаривал с сидевшими за столом плотниками, ехавшими на заработки в город, с маленьким приветливым старичком в армяке, евшим из кошеля хлеб и на всякое слово ласково покачивавшим головою.

К поезду вышли хмельные. Как всегда, визжали и стукали на морозе станционные двери, топтались по платформе, рассаживались по вагонам сидевшие в чайной плотники. На глазах Егора Борис сме-

шался с ними, стал похожим на выскакивавших из вагонов чужих незнакомых людей, потонул в накрывшей его толпе. А Егор еще долго стоял на платформе, следя, как тает, уменьшается, скрывается за подъемом поезд. На станции он заглянул в комнату, где сидели на столе стрелочники и читали газету вслух, зашел в лавочку и купил баранок, потом опять побрел в чайную, чувствуя неодолимую потребность рассказать кому-нибудь о Борисе. И, найдя маленького, сидевшего на том же месте, приветливого старичка, приехавшего на станцию встречать сына, со всеми подробностями рассказал: как приехал на деревню, как встретились в первый день на дороге, как гулял-пировал и хоронил отца своего, как продал жеребчика и уехал из деревни ни с чем Аброськин беспутный сын Борис. Посмеиваясь, рассказал и о том, как убивалась, учернела после мужниного приезда Борисова жена Дуня.

Вьюга

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Вьюга, вьюга — чортова подруга,
Бьет и в грудь, и в ноги, и в лицо,
Нам не выбраться из ветряного круга,
Нам не встретиться ни с дедом, ни с отцом.

Сани кружатся туда-сюда вразвалку,
Ни огня, ни крика, ни пятна...
Хорошо бы сесть теперь на лавку
У горячего с картошкой чугуна.

Милый гнедко, мы с братишкой мало
Пожили на белом свете. Что ж?
И твое, ведь, сердце не устало
Вывозить с полей советских рожь.

Что бы ты сказал, питомец славы,
Гимн поющий вьюгам, ты, поэт,
Если на двоих один тулуп дырявый
И собачьим шапкам десять лет.

Вьюга, вьюга — чортова подруга,
Хорошо тебе гулять в полях,
Ну, а нам из ветряного круга
Не пробраться на знакомый шлях.

Ваня, братик, жаль тебя мне, милый,
Ты озяб, ты кочерыжкой стал,
О такой ли смерти с юной силой
Ты вчера лишь думал и мечтал?!

...Гнедко, стой... Никак стреляют где-то...
Стой же, стой... Ах, ветер, не морозь, —
Это ж наши, наши из Совета
Пулями расстреливают ночь...

Ну, пошел... Теперь доедем смело.
Эй, братишка, оттирай лицо, —
Скоро мы в избе заиндевелой
Встретимся и с дедом, и с отцом.



Ночь

Из книги «Тамань» (Земля на ходу)

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

Г. О. Галиной

Ночь, где навинчен каждый куст
На изобилье звезд,
Где я с земли куда-то мчусь,
Как бесконечный рост.

Ночь, где из горла льется кровь
Иль — сладостная речь,
И все равно: ты добр, суров,
Ножны ты или меч.

Ночь, где твой выдуманный друг
Смертельно поражен
И твердо думает недуг
Такой лечить ножем.

А между тем, креня крылом
Орла, ты тут летал
И меж беседой за столом
Соленый ломоть уплетал.

Не замечая. Сладко жить
И ведать шум и тишь,
Как снедь, и — ломоть положить
На то, на чем летишь.



Игрок

Рассказ

ЛЕОНИД ЗАВАДОВСКИЙ

Тусклое холодное солнце коснулось серых и мертвых хребтов. Со снегов на широкой реке и с нахлобученных крыш деревушки слиняли жидкие розовые краски: мгновенно помутнело и потускнело кругом. В последний раз скрипят ворота, от прорубей на угор, взбрыкивая и выгнув шеи, проскакали продрогшие кони. Тихие дымные столбы из труб, расширенные кверху, выстроились в ряд и подперли зеленоватое, как тонкая ледяшка, небо. Улица словно замерзла, опустела и притихла: приготовилась к ночи.

Михалка, выйдя из избы после двух стаканов крепкой самосидки, даже не вспомнил об рукавичках, они преспокойно торчали в карманах его тощенького ватного пиджака. Сделал несколько шагов, удивленно остановился и даже попятился назад: дорога, словно холст, качнулась и дернулась из-под ног.

— Ах, язви те, — сказал он весело. Укрепился на минуту на широко расставленных ногах, подпер руки в бока и окинул взглядом свое хозяйство: посыпанную серым снегом хмурую тайгу за рекой. Из мерзлых огромных кочек, под самым небом, выше других на голову, как линияяла камилавка, торчал Синий хребет. Он всегда синий, этот далекий хребет, поэтому и назван так. И зиму и лето битком набит глухарями, как лохматая собака блохами. Это Михалкин птичник: ни один хозяин не порезал у себя во дворе столько кур, сколько перетаскал он с него глухарей.

— Погодите, дайте занаститься снегу, — погрозился он в мутную даль и с гордостью оглянулся на серую крупную лайку, плетущуюся позади. И вдруг хриплым, похожим на лай, голосом закричал: — Норка, стерва, вперед! — Ему не понравился скучный вид собаки с недовольно прижатыми ушами и поджатым хвостом. — Назад, стерва!

Лайка бросается то вперед, то назад, и снова понуро плетется за выкрутасами хозяина. Втягивает носом кислый запах самосидки и становится еще тоскливее: он всегда внушает ей скверные предчувствия.

Михалка, действительно, держит путь на почтовый станок. Убеждает себя, что совсем не пьян, что идет не чесать язык с ямщиками и уж, во всяком случае, не играть в очко, а по очень важному делу, но в глубине души плохо верит в это.

— Есть такие делишки, — бормочет он, — не видал я вас, не слышал, чалдонье проклятое.

Рыжая треуха покачивается из стороны в сторону по пустой улице. Одно ухо опущено, ерзает по плечу, другое — поднято и торчит, как у корноухой рыжей собаки.

У длинной избы с широким крыльцом, на утопанном как ток снегу, стоит повозка. Дымящиеся кони, со слипшейся закурчавившейся шерстью, брякая глухими мерзлыми бубенцами, отряхают с себя иней и трутся мордами о плечо ямщика, очищая смерзшиеся ноздри.

— Кого привез, паря?

Ямщик в дохе, похожий на медведя, вставшего на задние лапы, сбросив мохнатки на снег, развязывает супонь на кореннике. Словно хватаясь за накаленный до-бела железный прут, всхлипывает губами и, не оглядываясь, рычит:

— А я чо, пашпорт у него смотрел, чо ли?

Скрежещут морозным скрежетом крючья, из двери пыхает теплым паром. Выходят ямщики: кто пустить выстоявшихся коней к сену, кто напоить, кто запрягать. Завидев корноухую хорьковую шапку, ощеряются и подмигивают:

— А, Михалка с Норкой явился!

От снисходительных приветствий Михалка презрительно кривит губы. Скрипя половицами на крыльце, невнятно бормочет:

— Везет двадцать верст человека, а не знает кого. Вот черти не нашего бога, язви вас, порда. — Каляными руками стаскивает с головы шапку и шлепает на пол в углу. — Норка, ложись тут, стерва!

Не удостоив взглядом двух-трех новичков, еще не видевших его ученой собаки, хлопает дверью. Собака, зябко сгорбив спину, кружится на одном месте, как делает это на повети на сене, и, наконец, укладывается носом к шапке. Туго свертывается, как ёж, покорно вздыхает и закрывает глаза: теперь дрожать до полночи, не скоро придет хозяин за шапкой.

В низкой прокопченной горнице, похожей на камеру в пересылке, жарко и горько от едкого сырого дыма. Печь, красная, как нарумяненная деваха, гудит и пышет, досыта накормленная листовичными чураками. Ее обступили только что приехавшие и те, кому очередь ехать; одни выгоняют мороз, другие запасаются теплом. Растопырив пальцы, хватают горячий воздух, будто ловят паутину. На длинных нарах свободные режутся в двадцать одно. Потные лица блестят, спутанные волосы, беспокойные острые глаза. Взмахивают руки, шлепают обглоданные, тяжелые и сальные, как блины, карты.

— Перебор, двадцать четыре.

— Недобор!

Звякает мелочь из карманов и в карманы.

— А, Михалка, игрок жизни, явился!

— Шучка, поди, опять соболью сапку караулит?

Без трюхи Михалка еще неказистее. Голова клином, щипаный рыжий волос сваян и как-будто посыпан медными опилками, большое оттопыренное ухо торчит, как ручка на чайнике, другого — нет совсем: сплошная гладкая щека до самых волос, с темной дырочкой. Отморозил давно, еще в тайге на приисках. Сунув руки прямо на красную печь, он хрипит:

— По паре лошадых голов имеете, а дураки. Так весь век просидите на облучке раскорякой, валенком коней погонять будете, замест кнута. Соболья! А видал ты, какой соболь бывает?

— Теперь ты всем показал, где бы его без тебя увидали.

Заметив, что Михалка рассердился не на шутку, сморщился, будто в нос ему засунули соломинку, и схватился за рукавички, кто-то с нар говорит:

— Не слухай ты их, дураков. Садись, вот местечко счастливое, дядя Митрий сейчас сидел, всю мелочь выкинул.

Ямщики сдерживаются, чтобы снова не прыснуть, и отворачивают лица.

Михалка никогда не садится играть сразу. Постоит у печки, присядет к столу, но уже не может ни говорить, ни думать ни о чем, если на нарах идет игра. Потом подойдет поближе и, не сводя глаз с кона на щелеватых досках, в кругу латаных коленок и грязных босых ног, насмешливо скривит рот. Вдруг голубые бусинки под белесыми бровями вспыхнут, он молча залезет в круг и торопливо протянет руку.

— Ну-ка, мне карту.

Набирает карты одной левой рукой, плотно прижимает к губам и, когда все затихнут и повернут на него глаза, отрывисто скажет:

— На Норкино счастье — двугривенный.

С двугривенных переходит на полтинники, с полтинников на рубли. С его появлением игра крупнеет, становится по-настоящему азартной. Проигрывает деньги, беличьи шкурки, не сданные госторговскому агенту, даже лисьи. Никогда не выигрывает. На его игру приходят смотреть из приезжей чистой половины. Он никогда не присядет, стоит на острых коленках, не чувствуя жестких досок, то бьет картами в розмах, то сует их, будто в огненную печь, торопливо отдергивая руку. Как заученную поговорку, неразборчиво бормочет: «Выиграл один раз у матушки сырой земли, а потом все проигрываю, да проигрываю».

— На Норкино — полтинник!

На сотню верст знают Михалкину исковерканную ревматизмом маленькую фигурку; он первый мастер по молотилкам, веялкам, первый «промысленник», первый игрок. За что бы ни взялся, сделает до удивления честно, до винтика, до стружечки аккуратно, чтобы не быть похожим на людей, особенно на чалдонов. И проигрывает он с гор-

достью, что не мелочник; что не возится полчаса в кармане, выбирая медяки. Эта же страсть к необыкновенному загнала его и в Сибирь из Рязанской губернии, и она же держит здесь до сего дня. Поехал ходоком искать просторную землю, в пути спознался с бывалыми людьми и на фарт проехал мимо земель на Витим за длинными рублями. Повезло, попал в артель земляков, заработал деньгами и «вынес» золотого песку. Об этом выигрыше он и говорит в своей поговорке. Уже ехал обратно, но «очко загубило». В Витиме спустил всё в двадцать одно. Снова вернулся, снова заработал, хоть и не так счастливо, но для рязанской деревни — большое богатство. Дал себе клятву не играть, проехал соблазнительные Бодайбо и Витим, ни разу не сел, но не даром зовут его игроком жизни: и без карт сумел он проиграть свою рязанскую жизнь. Однажды в осеннюю холодюку, когда по свинцовой реке шипят белые барашки, а люди — синие от ветра, бесприютные и злые, в скользкую мокрую лодку влез больной нищий старик, по открытому листу на место жительства. Он оказался старым приискателем, таким же фартовым, как и Михалка. Жевали вместе ярушник, вспоминали таежную жизнь, вздыхали по ней, проклинали ее. На третий день старик слег. Валялся на дне шитика, под ним качалась грязная вода, то заливала ноги, то голову. Кричал, ругался весь день и всю ночь, утром открыл глаза и поманил Михалку белым согнутым пальцем. Едва слышным шопотом рассказал свою сокровенную тайну. На одном из дальних приисков с товарищем, теперь умершим, «отвели» они гнездовое золото, нынче да завтра собирались спуститься взять, но прииск закрылся внезапно. С охраной сразу не могли поладить, а потом заболел товарищ, случились другие помехи, так и осталось оно в земле. Рассказал подробно, как найти пекарню, как от нее по отводной канаве отсчитать сорок сажен. Жадно глотал воздух чахоточными легкими и, озираясь, как бы не подслушали, шептал: «Думал — найду хорошего товарища, пойду, спущусь, возьму, ан выходит самого скоро спустят. Умру. — там кабаков нет, не нужно там золото. Ступай назад — помянешь дохлого старика хорошим словом за водкой, за очком. Богом не поминай, не трудись, нет его на этой реке». И Михалка вернулся. Нашел прииск, но не нашел пекарни. И не десять лет назад закрылся он, а двадцать пять. Видно, не в себе был старик и все спутал. И снова — шахта. Пока, как инвалида, не выбросила кампания вон, и не вывезла в одну из осенних разгрузок на переполненной лишними оборванцами грязной барже. Не хотел, да и не мог вернуться на родину, на прииска не пустили. Пошел по чалдонам, заработал завалиющую берданку, лыжи и серого щенка. Ружье починил, щенка выходил. И все та же страсть не быть обыкновенным, похожим на других, сделала из него — приискателя — первого охотника.

— На Норкино — рубль, — кричит он на нарах хриплым голосом и смутно, будто сквозь копоть, видит, как под ногами возле онемевших коленок плывут последние деньги, словно ручей без запруды. Видит

черствую корку хлеба, дырявые унтишки, чувствует судороги в скрученных высохших икрах, но остановиться не может.

Уже полночь, когда он выходит на крыльцо, потный и дрожащий. На улице ватная глухая тьма, — «копоть». Не видно бань на угоре, от дыхания вокруг головы шумит пар, горло и грудь пытаются вздохнуть и давятся, будто от стакана неразведенного спирта. Во мгле раздается треск лопнувшего бревна, где-то на реке грохочет расколовшийся лед.

— Норка, где ты, собачка, дай сюда шапку!

Собака радостно визжит, Михалка чувствует на лице теплый ласковый язык и ему жаль ее, голодную и холодную.

— Вперед, — кричит он, — назад. Грейся, собачка!

Живет Михалка на краю деревни, у тетки Лучихи, занимает уголок на лавке. За то, что хозяйка пускает Норку полакать щей в тепле, платит лишний полтинник.

Лучиха—вдова, дошлая баба. Полная, пухлая и белая, как пшеничная шаньга в сметане. Живет кое-чем с одной коровой. Каждое воскресенье у нее гости с гармошкой, с орехами и водкой. Он чувствует к ней необыкновенное почтение и даже любовь. Потому что сам черствый, как ломоть ячневого хлеба, а она пшеничная и мягкая, у нее изба с большой теплой печью, а у него — холодная улица и пустынная тайга. Его мучит настоящая ревность, когда застает у нее гостей, особенно гладкомордого бритого лавочника Степана. Долго не решается стучать, стоит под окном и завидует Норке, убежавшей на поветь на сено. Войдя, не знает, куда себя пристроить, присаживается на корточках возле железной печки и подбрасывает чураки.

Сегодня как раз у Лучихи — Степан. Несмотря на поздний час, еще не убрался домой. Сидит без пиджака, в жилетке на розовой сатинетовой рубашке, и лущит орехи. Ворох скорлупы перед ним на вязаной скатерти. На подносе с желтыми цветами — заглохший самовар и чайные чашки. Не повернув головы на стук двери, скользнув взглядом, лениво говорит:

— Чо слышал, чо видал, Михалка, на станке? — Довольный и убаготворенный всеми удовольствиями за долгий вечер, он медленно прожевывает набравшиеся во рту зерна, мокрыми губами водит по утирке и продолжает:

— Твою чернобурую, слышал я, напольские охотники исхитили?

Михалка вздрогнул, глаза его испуганно засуетились. Вспомнил, что не узнал у ямщиков никаких новостей из-за проклятых карт. Может быть, все уже знают, один он, дурак, ничего не знает. Вскочил с порога, по озябшей спине пробежала дрожь. Визгливым сиплым голосом заторопился:

— А кто ее видел, ты скажи. Нету ее никакой, чернобурой. Кто ее видел, ты мне укажи!

Лавочник весь лоснился от удовольствия.

— Напугал я тебя сѣтак. Да ты бы подумал, голова, разь она пойдет в чужие руки? Ходил ты за ней, ходил всю осень, а она пойдет ни-мо твоих рук!

Пока Степан одевал свою черную собачью доху, Михалка не сводил с него глаз, собирался что-то крикнуть, когда возьмется за дверь, но так и не осмелился. Проводив гостя, Лучиха, усталая и тоже довольная, убрала самовар со стола, полезла на печь и сбросила оттуда кошму и подушку.

— Он смеется про лисицу, а ты как в самом деле...

— А кто ее видел, — тихо повторил Михалка и замолчал. Не решился намекнуть бабе — ведь только ей одной рассказал он про свою находку, если и смеются над ним, то ведь только по ее вине, кроме ни одна живая душа не знала о лисице.

Мягкий рот Лучихи растопился по всему лицу.

— Да ты же и видал, а то кто же. Степан, грит, по насту, грит, надо на островах искать ее. — Она почесалась спиной о печной угол, сняла верхнюю зеленую юбку, отвернула лоскутное одеяло и тяжело улеглась на широкую деревянную кровать. Повздыхала, позевала, покрестила рот и, вспомнив, сказала:

— На загнетке в чугунке картоха осталась, да пустил бы собаку, пускай в тепле полакает из лохани.

Неожиданное внимание и сонный голос хозяйки успокоили Михалку. Он пожевал холодного картофеля, вышел в сенцы, кликнул Норку и, пользуясь тем, что с кровати уже раздавалось мерное сопение, долго не выгонял ее из избы. На полу возле железной печки было уютно и тепло. Гладил и почесывал ее разогретый худой бок, чувствуя ласковое прикосновение холодного носа то на руке, то на щеке, боялся шевельнуться, чтобы не потревожить и не спугнуть охватившего все тело усталого покоя после проигрыша и встречи с лавочником. В избытке благодарности собака, в свою очередь, старалась сделать для хозяина все, что могла: блаженно заложив губу, захватив зубами рукав рубахи, заботливо щелкала мелкими стежками — искала блох. Боясь заснуть и тем нажить беды, Михалка с трудом поднялся, протер глаза, открыл дверь и ласково подтолкнул собаку под зад:

— Ступай, ступай, нельзя в избе спать.

Сам осторожно разыскал в темноте свою куртку и свернулся на лавке.

Редкий драгоценный зверь — чернобурая лисица — появился в округе с первым снегом. Михалка белочил под самым Синим хребтом. Однажды, пошабашив раньше захода, обвешанный белками, усталый, он брел на ночевку к зимовью. Третий день, как лег хороший снег: тайга была светлая и просторная, как горница с только что вымытыми окнами и скоблеными полами. Осыпанные кедры, будто кудрявые веселые старики в белых катанках и в теплых шубах собрались покалякать на добром морозце. Неутомимая охотница — Норка, возбужденная

непрерывным лаем по пушистому зверьку и частыми выстрелами, шныряла впереди, втыкала острую морду в ароматный снег и от удовольствия громко фыркала. «Норка, собачка, назад», — ласково звал он, боясь, как бы она не убежала далеко: найдет белку, не отзовешь, пролетает до глубокой ночи. — Вдруг повалился под корень толстой сосны, словно под ним подрубили топором ноги и напряженно вытянул шею: меж деревьев мелькнула черная лисица. Снова появилась на глаза в просвете и поплыла, едва касаясь снега своей драгоценной черной шубкой,—как облачко по небу. Спокойно покруживала по редкому кустарнику, перебирая тоненькими ножками все ближе и ближе. И Михалка на миг уверовал в чудо: вот она набежит на выстрел. Дрожащими руками выпростал берданку. Лицо засветилось, глаза засияли: «Вот это будет двадцать одно». Вдруг лисица метнулась и, как пушистая стрела, исчезла с глаз. Норка, выскочившая из-за дерева, спугнула ее. С визгом бросилась по следу, гоня прочь драгоценного зверя. Готовый от отчаяния разодрать себе лицо ногтями, он завопил:

— Стерва, стерва, Норка, нож!

Кое-как вернул собаку, побил ее чуть не в первый раз так больно, и до ночи ходил по следу. Как кленовые листочки, delicate следы стелились и стелились под ногами, водили и водили по тайге. Норка рвалась на обрывке и получала пинки. На завтра снова ходил. Так всю неделю. Надеялся на фарт — взять ее скрадом. И ни разу даже издали не увидел мелькнувшего мимо носа счастья. Лишь узнал, что лисица не местовая, а набеглая из соседнего круга, что она — кобелек. Охотничьих следов на низине, по которой ходила лисица, не встречал. Белочникам там нечего было делать в эту пору. В голове, как тонкая сеть челноком, плелись всевозможные планы, надежды сменялись сомнением. Вдруг находил страх: не один ведь Михалка охотник в тайге, возьмет и набежит, проклятая, какому-нибудь дураку на ружье, или хватит отраву. Со страхом ходил на станок — вот-вот кто-нибудь из дальних ямщиков раззявит рот и скажет про лисицу. Норку в такие дни не пускал в избу.

— Стерва, стерва, язви те в хребтину. Надо было тебе выскочить, ищи ее теперь, может, она за сто верст играет.

Искать в самом деле было трудно. За рекой до Напольских островов расплылись топкие низины, и гнилые зыбуны долго были тальми и мягкими. Твердые же берега и острова, заросшие ельником, как осенним мехом, были непроходимы. А когда установилась зима — навалил глубокий снег, ни пешком, ни на лыжах нельзя было двинуться в тайгу. Оставалось одно — ждать наста.

Михалка умел держать язык за зубами, не рассказал бы и Лучихе, не смеялись бы теперь над ним, но ее сонное дыхание и возня на кровати в темноте мучили и жгли его, словно на костре. По утрам трещала голова, хуже, чем с похмелья. И вот однажды он не смог побороть свою слабость. Робко согнув спину, подкрался к кровати, присел на корточки и, придерживая обеими ладонями сердце, рассказал о сво-

ей находке. Лучиха не прогнала его прочь, приподнялась на локте и внимательно слушала. Осмелел, как пьяный, болтал языком, удивляясь, откуда берутся слова.

— Ноги свои отрублю, коль не дойдут до лисицы, руки отломаю, коль не нацелят, глаза повыколю, — шептал он. — Хочешь продай, хочешь — носи сама мех, пускай завидуют люди. Она и 'по-новому — сорок червонцев потянет.

Совсем близко расплывались в одно большое белое пятно груди и лицо, теплый сонный бабий запах расширял ноздри и кружил голову. Лучиха завозилась и застонала.

— Зачем говорил ты мне про нее, пропасти на нее нет. Теперь добудь ты ее мне; сна лишусь, пить-есть перестану. Уйдет она — прогоню я тебя из избы, глаза мои лопни, не нужен ты мне, ляг с тобой совсем. А то — горницу всю занимай, собака пусть в копыт когда ночует, под лавкой места хватит. И алимента мне не надо, на это я смиренная, а коль захочешь, слово скажешь — могу и родить по твоей воле. Сто красных не хочу, без надобности они мне, а эту черную добудь. Не то, что не носила — в глаза отродясь не видала.

Не прошло двух дней — о лисице смеялся Степан, через неделю — говорили о ней на сто верст вверх и вниз по реке. Как большая вода, разлился слух в длину и в ширь. Уже и по речкам соблазнительная добыча встревожила чалдонов, десятки охотников с нетерпением по утрам пробовали ногой снег, не затвердел ли для лыжи. Ямщики на станке смеялись:

— Чернобурая твоя, паря, у листвени на хребте все сидит, коней пугает, хоть не ездят с почтой.

А свой деревенский однажды сказал:

— Тетка Лучиха воротник себе ладит из черной лисицы, на святую к венцу.

Михалка твердил:

— А кто ее видел. Четыре красных бегают, и еще одна какая-то желтая, в роде собачонки, сам видел, а черной нету никакой. Кто ее видел, ты мне укажи! — И будто с сердцем кривил губы: — А хоть и воротник, больно тебе понадобилось знать про это?

Он не скрывал про свои отношения с хозяйкой, даже гордился тем, что про него ходят сплетни. При случае сам намекал на это, и всегда делал веселый кивок головой: а то зевать будем. Но никто не знал, кроме него самого, настоящей правды. Действительно, случился однажды грех, под пьяную руку Лучиха залезла на печь, распарилась там и вдруг раздобрела к рыжему безухому охотнику, но утром плевалась и бегала к соседке в баню. Спорить со Степаном было не под силу Михалке, он прекрасно сознавал это. Единственная надежда оставалась на лисицу. Как собака с дробинкой под шкурой, не знал покоя, весь выдох и почернел еще больше. Норке не мог простить ее преступления. Лишь в дни, когда снова возгоралась надежда, ласково окликал ее на повети и кидал кусок хлеба. Почуввав прощение, она, как вьюн, извива-

лась под ногами, вскакивала лапами на грудь и, щелкая языком, лизала в губы.

— Ну, будет, будет, язви те, ишь кака виноватая.

Лучиха, глядя в окно, с отвращением плевалась:

— Тьфу ты, падла, какой нечисть человек!



Дни ширились и золотели. Солнце веселело и все выше взлетало над хребтами. Снега заглубели и на просторе — на полянах и на реке — держали на лыжах. Чалдоны готовились к сохатиному промыслу. Каждый был не прочь спариться с Михалкой из-за его Норки. Но он мотал головой:

— Нет время, не пойду.

— Ну, шучку дай свою. Задаром долю получис.

— Не могу, дядя. А если какой случай, не дай бог, — пары коней за нее с тебя не возьму.

Дело кончалось ссорой. Нахлобучив шапку, охотник цыркал на пол и говорил:

— Чернобурку пойдес швою ишкать. Она, паря, без тебя насла охотника.

Михалка, рыжий, корноухий, дурной и рваный, моргал белесыми редкими ресницами и молчал. Нечего было сказать. Баба не конь, не обротаешь: опять у нее пошли гости по воскресеньям, а Степан — почитай каждый день. Ей, не расскажешь, что без наста охотник никто, как собака без ног. Ей только давай, больше она ничего знать не хочет, или — отлетай.

И вот, наконец, на первый тонкий и шершавый наст легла мягкая пороша. Михалка достал из амбара свои тунгусские лыжи из болотной мелкослойной ели и перевязал на них юкши. Вычистил берданку, подвинтил все винтики, зарядил медные патроны до верху большими зарядами и изладил на понягу новые лямки. Лучиха, видя серьезные сборы, сама, без просьбы, достала из сундука новый фитиль для унтишек, напекла шаньг и насушила сухарей. Суетилась по избе, заботилась, кабы не позабыл чего, принесла из сенец свой топор. Поджав руки под кофточкой на животе, подпирала широкой спиной притолку и следила за сборами ружейных припасов. На крупичатом лице ласково, как масло, плавали глаза.

— Степка гладкомордый ночи не заснет теперича, кабы не отбил меня у него. А наше женское дело такое — того и гляди. У нас мизинчик приголубь, приласкай, утешь — и вся душа твоя. Добудь, царевич, добудь ты ее, проклятую, измучилась я с ней, не стой тебе. Вот утирку я положу, может, понадобится в лесу.

И Михалке представилось: не может он не добыть лисицы, не может вернуться без черной шкурки, не может этого случиться. Будто в руках уже держал дорогой мех и уже купил бабу; как своей, строго сказал:

— Не добуду — выбрось из избы мое барахло и не пускай на порог, а добуду — слово свое помни. Я сурьезный человек на это. Собаку оставлю, погляди, если веревку жевать станет — вдарь хворостиной не дюже, — она все понимает. Хлеба брось утром и на ночь.

Лучиха всплеснула руками:

— Да разь я не понимаю. Да я что сама, то и ей. — Жалостливо подперла рукой щеку и покачала головой. — Пинжак легкий, унтишки доброго слова не стоят — как носочки тоненькие, окалешь ты в тайге. Когда ждать-то велишь?

— Не в коператив иду, пошто спрашиваешь.

— Ну, дай бог.

К Норке Михалка не зашел, не хотел тревожить. И без того, привязанная с ночи у амбара, она рвалась и твюкала жалобным голосом, от которого делалось неловко в груди. А чем дальше уходил он, тем громче и отчаяннее кричала она. Наконец, глухо завывла. Тревожный вой догонял через реку, чтобы не слышать — почти бежал. Поднявшись на берег, тяжело вздохнул, точно прощаясь с чем-то навсегда, махнул рукой.

За рекой сразу начиналась тайга. Свернул с дровяной дороги на целину, встал на лыжи, и мгновенно забылись все нехорошие мысли, навеянные воем собаки: как занузанный конь, весь выпрямился, подобрался и бойко побежал по пестрому от синих теней золотистому снегу. На сухом темном лице с толстым мясным носом заголубели глаза. «Эх, соловей кукушку уговаривал: полетим, кукушка, в темные леса», — замурлыкал он таежную песенку. Рыжая треуха мелькала под густые пихтовые лапы, ныряла в яркие солнечные прорывы. Полинялая камилавка Синего хребта сначала пряталась, потом вынырнула и поднялась выше. Уже различалась черная щетина на маковке, словно выщипанная злой бабой. Когда маковка раздвоилась, будто кто ударил по ней сверху острием ладони, — круто повернул. Начались тундры с изумрудными обомшелыми березами, с серой печальной тонковетной елью. С чистого высокого увала завиднелась деревня; над крайней избой вился тоненький дымок, — Лучиха затопила железную печь.

Ни одного лисьего следа не увидел Михалка до полдня. Тайга стояла мертвая, снежная тишина застыла под деревьями. Изредка про сверлит воздух прозрачный тонкий свист рябчика и, немного спустя, едва слышный ответный. На минуту остановился и сдвинул шапку с мокрого лба. Удивился — никакой лисицы, может быть, и нет, может быть, она приснилась ему в душной Лучихиной избе? Выплюнул цыгарку, встряхнул плечами и снова еще быстрее засновали широкие лыжи.

До вечера — опять ни одного следа. Хоть бы для задора! Неудача вдруг утомила. Лыжи показались огромными и тяжелыми, как лиственничные плахи. Солнце упало в чашу и накалило красным огнем спутанные ветви черных кустов. Вытянул из-за пояса топор, на ходу

высмотрел сухостойную ель и остановился на ночлег. Под пихтой вспыхнул желтый огонек. Потрескивали сучья, будто кто-то осторожно ломал их с промежутками: переломит и прислушается. Протянув огненные ладони к костру, терпеливо ждал, когда плюнет чайник из носка.

Рано утром в двухстах шагах от ночлега взял лисий след. Как будто нарочно, пока он дремал у огня, лисы подбросили ему дорогой шнурочек. Снова выпрямленный и бодрый побежал по тайге. Кленовые листочки маленьких лапок на утреннем снегу пестрили в глазах и сливались. Утирал нос рукавичкой, низко нагибался, словно мог разгадать среди одинаковых следов след чернобурой. Шел до паужина, хотел было остановиться, чтобы поесть, но перед глазами открылась поляна: пеньковские дальние покосы. Там и сям из снега чернелись остатки разломанных зародов после увезенного сена. След развился на пять ниточек, попутался вокруг снежных навоев на брошенных гнилых копнах и снова свился. Звери поискали мышей, поиграли и снова пустились за сученкой. Михалка побежал по окраине леса. Забежал, насколько позволило укрытие, и, тяжело дыша, припал к крайней сосне. Темными черточками, нанизанными на нитку, по поляне быстро двигалась лисья свадьба. За передней красной плыла, как баржонка за буксиром, носом в хвост чернобурая. Но, как ни хитрил он, стайка не далась до ночи. Она уходила торопливо, без оглядки и скрылась в разлившемся кустарнике. Эта торопливость предвещала перемену погоды. Снова солнце упало в черный кустарник. Отвернул в сторону к сухой корявой ели и, как примороженный, остановился и даже попятился, протирая глаза: не дойдя двух десятков шагов до лисьего следа, остановились и повернули назад в чахлый низкорослый тальник: два лыжных следа. Не один Михалка был в тайге на низине. Боялся развести огонь, чтобы не увидели охотники-чалдоны. Когда совсем стемнело — поднимался со снега и тревожно вглядывался в темноту: нет ли огня, не ночуют ли поблизости. В тайге недолго до греха: прогонят со следа, а если не отдашь добром, и убьют, не задумаются.

Лисы не обманули. На небо надую нехорошие облака, на низине в вершинах двух одиноких лиственниц всю ночь свистел и подвывал ветер. От облаков с полночи повеяло сыростью, повалил хлопьями влажный снег. Дрожал всем телом, размахивал руками, чтобы согреться, будто гнал прочь невидимые легионы страшных снежинок. Пронизывало до костей через ватный пиджак, заныли ноги, сводила судорога больные икры. Едва дожил до утра. Долго не мог согреться на бегу. Озирался по сторонам, торопливо делал круги, но следы исчезли, словно их сдуло ветром и унесло. С каждым движком лыжи в груди всхлипывало: скорее, скорее! Но, куда скорее, он не знал.

Кустарник кончился, снова открылись поляны. Выбежал из-за последнего куста и не поверил глазам: совсем близко, на два ружейных выстрела, кружилась свадьба. Отпустив зверей подальше, погнался прямо на них. Задние кобельки заегозили, замотались и поплыли

прочь. Передовая ускорила бег, черная упорно не отставала от нее. Наконец, отстала и она. Забралась на сугроб, подняла голову, внимательно вгляделась в наседающего охотника и неторопливо потрусилась к лесу. Красная, оставшись одна, подобрала хвост и загнулась в таловые серебряные кусты. Что было силы, Михалка понесся за ней. Прогнал с версту, за густым кустом сорвал с ног лыжи, повалился всей тяжестью в снег, пробив корку наста, просунул ружье навстречу отогнанным кобелькам и прилип, слился с кустом; не мигая черным кружочком, берданка поводила дулом и замерла в ожидании. Черный кобелек на следу появился первым. Очень встревоженный, часто оставивался, оглядывался, отходил в сторону, но снова возвращался на след и, сунув нос в снег, снова семенил ножками, — все ближе нес свою драгоценную шубку к кусту. Только возле Лучихиной кровати так билось сердце Михалки: казалось — вот-вот спугнет лисицу. Расстояние между маленькой мушкой на ружейном дуле и зверем уменьшалось. Вздулось серое облачко в кусте, черное взвилось со снега и упало. От грохота непривычного заряда зазвенело в ушах. Не помнил, как бежал без лыж по глубокому снегу. Откинув пышный хвост, лисица лежала в растяжку среди рубиновых брызг.

Вдали из леса выбежали две черные фигурки. Михалка упал на снег и, обхватив руками свою добычу, лежал не шевелясь. Фигурки постояли несколько минут, и, видимо, спутавшись в направлении выстрела, побежали по краю леса.

Разведлившееся темное и синее небо, осыпанное звездами, напоминало добытую дорогую шкурку. Так велика она была для Михалки, что странным казалось, как она могла поместиться в поняге за спиной. Ночь притихла и была тоже огромной. И сам себе Михалка казался единственным живым существом на земле. И усталости и боли в ногах и спине как не бывало: он был бодр и силен, как богатырь. Ловко лавировал по чаще, не замечал ударов колючих еловых веток по лицу, весело падал, поймав лыжей петлю, и мурлыкал под нос: «Мальчижечка девчонку уговаривал: поедем, девчонка, в Казань-город жить». Добежав до реки, остановился. Впереди, отдельно от других, весело подмигивал Лучихин огонек. «Казань, город славный, при реке стоит». Казалось, что и голос струится в тишине, как чистая падающая звезда. Выпятил грудь и, не глядя под ноги, стремглав скатился с крутого берега на лёд.

Он торопился. Как когда-то, очень давно, был молодым, как когда-то, в далекой рязанской деревне, его ждали дома жена, тепло и ужин. Оставшаяся за спиной тайга, теперь, когда осталось только подняться на угор и — деревня, показалась жуткой и страшной. В первый раз за всю его охотничью жизнь. Но когда постучался, и ему не сразу отперла Лучиха дверь и особенно, когда увидел на скатерти поднос с посудой и кучу ореховой скорлупы, вдруг сделался снова

маленьким, все тем же исковерканным рыжим, безухим Михалкой. Растерянно стоял у порога, не зная, что делать. Лучиха без слова потянулась к поняге за его спиной и, нащупав в ней мягкое, жадно стащила с плеч. Выхватила не успевшую смерзнуться шкурку и, смахнув со стола, положила к свету. Глаза ее жадно засуетились, губы стали тонкими, ноздри вздулись, как у собаки на следу. Задохнулась и шлепнулась мягким задом на лавку. Сдернула шкурку себе на колени и, как будто на нее напали и хотят отнять добычу, снова вскочила. Не отрывая глаз, не переставая гладить пухлой рукой мягкий черный мех, отнесла в чулан и заперла на замок.

— Талая, мокрая, лят с ней, замаралась вся.

Она не глядела на охотника, глаза пробегали мимо по стене.

— Ахти мнешеньки, да чо это я с ума сошла, ужина-то у меня нету!

Михалка, охваченный теплом и усталостью, едва удерживал сонные веки. Через узкие щелки, как в тумане, на чистом скобленном полу видел рассыпанную скорлупу. Пол вдруг превратился в снежную поляну; поднял с усилием голову и, словно пьяный, ухмыльнулся большими синими губами в лицо бабе.

— Поставь на печку, свари похлебать. Степану ставила угощение и нам поставь.

— Да когда же это будет-то. Ночь на дворе давно, люди другой сон видят, а он чисто ополоумел, с ужином привязался!

Дверь поплыла кверху, бревенчатая стена опустилась книзу. Михалка сполз с лавки на пол, совсем размяк и обессилел, никак не мог развязать фитили на унтишках. Лучиха скосила на него злые глаза и с сердцем швырнула на печь кошму и подушку. Грузно поднялась туда сама и, загородив весь темный четырехугольник широким задом, скинула один за другим белые валенки.

— Печь даве топлена, а теплая, — сказала она и уселась в ожидании, подперев головой потолок.

Но Михалка ровно и мерно сопел носом, спал на полу с неразмотанной портянкой в руке.

— Так-то и лучше, — усмехнулась баба и слезла с печки.

От шороха Михалка вдруг очнулся и вспомнил, что не спросил о Норке.

— Собаке-то, поди, не давала на ночь?

— А то нешт не давала. Вон до се недавный лежит на лавке. Сколь греха с ней, с проклятой, приняла. Ночь выла, день брехала, а потом черти ее взяли, переела веревку и усла!

Михалку подняло с пола. Трясущимися руками он кое-как обул на босу ногу унтишки и выбежал из избы. Под амбаром в темноте ощупал веревку: она была пуста. Бросился на угор и, стоя лицом к тайге, хрипло, испуганно закричал:

— Норк, Норк, нох, нох, собачка! — Будто она только сейчас ушла.

Побежал на ту сторону, звал там. Ему откликались собаки в деревне, крик был похож на охрипший ночной брех.

Лучиха просыпалась и ворочалась:

— Вот, язви те, связала меня с тобой нелегкая, ночь не даст покою.

Когда Михалка вернулся и бухнулся на лавку и без движения лежал, то тяжело дыша, то затаиваясь и прислушиваясь, не раздастся ли визг вернувшейся собаки, не встала и не зажгла лампочки.

Уже светало, когда снова проснулась она. Окна, словно заклеенные голубой бумагой, вырезались в черной стене. Михалка теребил ее за голое горячее плечо холодной, как ледяшка, рукой.

— Поди, видала, куда побежала собака?

Дернулась с досадой и натянула на себя одеяло.

— Дюже понадобилось мне, доглядывать еще стану за твоей собакой.

Михалка опять стоял у амбара и опять не верил глазам, что Норки нет уже два дня. Долго не сводил тупого немигающего взгляда с пустой повиснувшей веревки. В деревне поднимались: рычали ворота, раздавались окрики на строптивых коней. — Взял лыжи подмышку и устало поллелся по дороге через реку.

В том же месте, где третьего дня встал на лыжи, чтобы бежать за лисицей, был ясный отпечаток следов Норки, — недавняя метель не засыпала их под густыми соснами: передние лапы крупные, волчьи, задние — маленькие, лисьи. Видно было, как она кружилась по снегу, и, пробежав лыжным следом, не узнавая запаха хозяина, вернулась назад. Опять кружила, не решаясь расстаться со следом от унтишек. Наконец, решительно бросилась в тайгу. Там, где порошу сдуло с блестящего обливного наста, след совсем терялся, приходилось делать круги, чтобы снова попасть на него. В ручье под пихтами след выбежал на глубокую зимнюю чюдницу и больше не сворачивал в сторону. Чюдница виляла то по осиннику, мимо очепов на зайцев, то по березнику, мимо пастей и ловушек на птицу. Михалка вдруг остановился и вытер выступивший пот со лба: что чюдница бежит к отравленному помету — не было сомненья. Задыхаясь от крутого под'ема, торопливо вбежал на узкий хребет и без посоха, рискуя разбиться о деревья, скатился в падь. — Чюдница сделала петлю: в натопанном снегу, среди собачьих следов валялась привада: мерзлая ворона и перья желтой курицы.

Михалка стоял, прислонясь спиной к дереву. Зачем-то снял треуху. Она дрожала в рваной лосевой рукавичке. Фиолетовая безухая щека с темной дырочкой сделалась багровой с синими чугунными пятнами. Он пронзительно завизжал, словно от невероятной боли, и побежал по выходному следу собаки. Сначала след был неторопливый, спокойный, обычная побежка, потом галоп, дальше собака понеслась во весь опор, делая когтями длинные царапины. И Михалка, то убеждая себя в чуде, что отравы не было, шел торопливым шагом, потом

бежал, потом мчался, ничего не видя вытаращенными глазами. Путался в чаще, падал, вскакивал и опять, пробежав немного, валился на снег.

Серая лайка лежала в глубоко развороченной яме, с желтой пеной возле острой оскаленной морды.

Деревню мигом облетела новость о Михалкиной удаче. У Лучихи в избе с утра побывали соседи, притащились и стар и млад. Потом пошли с дальнего конца взглянуть на редкую шкурку, погладить рукой черный посыпанный серебряными искрами мех. Сидели по лавкам, на полу, курили трубки, вспоминали, когда и кто добыл такую же лисицу. Лучиха беспокоило совалась к окошку, готовая каждую минуту прекратить смотрины и убрать шкурку в сундук. Старики качали головами:

— Добыл сётак, всем заправским охотникам подтер нос.

Михалку, когда он возвратился из тайги, встречали любопытные и завистливые глаза, чалдоны окликали из сенец зайти рассказать о лисице, но он ничего не видел и не слышал. Оба уха его шапки мотались книзу. О чем-то напряженно думая, дошел до Лучихиной избы, прошел к амбару и долго стоял, пристально вглядываясь в натоптанный снег возле Норкиной веревки. Наклонился и смахнул рукавичкой легкие морозные снежинки. Присел на корточки: на снегу, как на ладони, был виден четкий рябой след новых резиновых галош, которые носит лавочник Степан на черных чесанках. — Повернулся и пошел прочь со двора.

Вечером, пьяный, заплетая ногами, он шел по улице и выкрикивал:

— Норка, вперед, стерва. — Не видя собаки, мотал головой и бормотал ругательства. В голове у него все вывернулось наизнанку, как карманы его распахнутой настезь рваной куртки. Он направлялся на станок. На крыльце стащил с головы треуху и шлепнул на пол:

— Норка, лежись.

В прокопченной низкой горнице ямщики встретили его веселым гоготом. Все уже знали о его щедром подарке Лучихе. Молча залез на нары в круг игроков, мутными глазами уставился на парня с колодой в руках и хрипло брехнул:

— Ну-ка — мне. Два рубля...

Парень поинтересовался, чем он отвечает в случае проигрыша. Ничего не ответил. Прижал полученную семерку к вздутым синим губам и протянул руку за другой картой. Стало тихо. Все столпились к нарам, предчувствуя интересное зрелище. Игроки переглянулись, и началась игра.

Он спустил все, что мог: кое-какой инструментишко, берданку, лыжи. Потом, под общий хохот, два парня играли с ним под лисиц, бегающих на полянах, под сохатых, жирующих в тальниках, под

медведей в берлогах. Наконец, всем надоело, надо было спать, но он не унимался. Мокрый от пота, хрипло кричал:

— Дай карту, дай — тебе говорят. В последний раз.

Этих последних разов было уже много. Его проводили силой.

На крыльце, подняв треуху, он пристально взгляделся в темный угол, где обычно лежала собака, ожидая его, махнул рукой и медленно спустился по ступенькам.

Ясное небо искрилось от множества звезд. С реки на взвоз во весь мах неслась почта. Морозный весенний воздух рассыпался от бубенцов и колокольцов. Посторонившись с дороги, стоял с треухой в руке и не знал, куда итти. После парного тепла его встряхивала трезвая дрожь.

ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОНСКАЯ

* * *

Стукнули в окна древка знамен,
Музыка в стены мои вошла,
Громко запела «со мной пойдем»
И меня на улицу увела.

Как не пойти, если звон и гул,
И тысяча тысяч веселых лиц,
Как будто бы лето вдохнул июль
В хмурую осень наших столиц!

Юность! Ты постучалась ко мне,
Вечная юность северных стран,
Громом и молнией в звонком огне
В ноябрьский сумеречный туман.

Пусть среди тех, кто идет с тобой,
Есть старики со следами забот,
Слушайте марш, и в груди любой
Старого сердца созвучный ход!

Над городом ночь, но в городе день,
Факелы, пенье, трубная медь,
И топоты толп, и людская сень,
Чтобы гулкому эхо песни петь.



Младость

Рассказ

В. Л. ЛИДИН

Блажен, кто с юных лет увидел пред
собою
Извивы темные двухолмной высоты.

Пушкин.

I

Человек, которому было поручено заехать за профессором Ярцевым, отвезти его на вокзал, посадить в скорый поезд, — в одиннадцатом часу, по-молодому запыхавшись, взбежал на пятый этаж большого и угрюмого дома на Петербургской стороне. Звонки, нажатый с достаточной силой, слабо возник и торжественно потерялся в ощущаемой пустыне огромных профессорских комнат.

— Я за профессором Ярцевым, — сказал пришедший минуту спустя в глухоту приоткрывшейся двери.

Его впустили. Просторно и насупленно в синеватой полутьме замороженных окон возникли комнаты петербургской квартиры. Именно петербургское было в нетревожимой их тишине, в оранжевом блеске паркета, в ненарушенном порядке вещей, устойчиво стоящих на своих, десятилетиями определенных, местах. И человек, еще свежо встревоженный лестницей, морозным путем на автомобиле через весь зимний вечерний Ленинград, тоже проникся этой профессорской тишиной. Он снял свою суконную шапочку, его молодое лицо было крепко общелкнуто морозом, и морозом возбуждающе пахло коричневое кожаное пальто до колен.

— Посидите, сейчас выйдут, — сказал пепельный слабый старичек в старомодном жилете с двойным рядом пуговиц и с выпученными от базедовой болезни и ветхости глазами. Он зажег скучный свет в огромной приемной. Военный сел на клеенчатый медицинский диван и оглядел комнату. Только стулья с клеенчатыми такими же траурно-

черными сидениями, книжные шкафы с большими медицинскими книгами в тускнеющем золоте заслуженных переплетов и большой медленный маятник высоких часов, неукоснительно отмеряющих сроки людей, приходящих сюда за исцелением. И от этого вида приемной, через которую прошли сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч больных,—пришедший обостренно ощутил желтизну высокого и вялого света и притушенность вечеряющей этой и пустынной квартиры. Он сидел в стороне и ждал, и тоже затих вдруг, точно впервые почувствовав, что устал за весь этот долгий и все еще для него незаконченный день. В угловых высоких часах летуче и тающе, словно медная упавшая капля, сорвался удар — шла четверть одиннадцатого часа. И сейчас же из комнат, из морозной пространственной их полутьмы, неспешно скрипя половицами, вышел высокий, еще почти не согнутый временем человек, в шелковой шапочке, своими прямыми седыми усами и узкой бородкой похожий на постаревшего Сервантеса.

— Что же, едем, — сказал он и необычайно мягко и по-стариковски внимательно задержал в своей руке руку военного. — Вы ведь племянник Дмитрия Ивановича? — спросил он, вдумчиво и привычно приглядываясь к новому человеку.

— Так точно, Сергей Гаврилович, — ответил военный, краснея, и стукнул от застенчивости каблуками.

— Отлично... ваше имя?

— Константин Алексеевич Игренов.

— Так едем, Константин Алексеевич? — и, как бы довольный его молодым смущением, Ярцев пропустил его перед собою в переднюю. Старичек с глазами навывкате принес погребец-чемоданчик, очень нескладный и стариковский, — все в этом доме было освящено десятилетиями. Ярцев спрятал шелковую шапочку в карман, надел меховую круглую шапку из пыжика — обыкновенную охотничью шапку, черные ботинки на застежках, какие носят лишь женщины, и только шуба была превосходной — на котике, с тяжелым бобром, дорогая шуба достатка и славы. Простор этой славы, европейского имени, гениальных прогнозов, медицинских трудов, тоже уже облаченных в заслуженное золото переплетов, — широко и торжественно лежал в жилище ученого. Минуту спустя они стали спускаться по лестнице. Ни одна женская тень не проводила профессора Ярцева. Только старичек нес позади чемодан-погребец, старательно подняв воротник пиджака. Военная большая машина с авиационным значком с ревом прогревала мотор. Два слепительных света вспыхнули из орбит ее фонарей, осветив на версту снега, вечернюю улицу, по-провинциальному затихающий здесь Ленинград.

— Ну, до свиданья, Василий, — сказал Ярцев, протягивая руку проводившему его с непокрытой одуванчиковой головой старичку. — Буду назад в четверг.

— Не остудитесь только, Сергей Гаврилович, — ответил старичек, и разом его сорвало назад. Машину легко понесло по пустынному

в этот час проспекту. Легкий нафталиновый иней дрожал и сеялся порохом в слепительном свете ее фонарей.

— Говорят, здоровье дядюшки неважно? — сказал Игренов, поворачиваясь к величественному стариковскому профилю под пыжиковой охотничьей шапкой.

— Поэтому я и еду, — отозвался Ярцев не сразу и грустно. — Что делать... годы, годы! Это вам хорошо — молодым. Вы где изволите служить? — спросил он вдруг, наклонившись.

— В авиации... я — летчик.

— Ну, вот, изволите ли видеть! — как бы найдя своим словам подтверждение, ответил Ярцев.

— Ведь вы, кажется, с дядюшкой вместе в университете учились? — спросил Игренов еще, уже с застанными от ветра и воспаленного бега машины глазами.

— Не только в университете... мы жизнь начинали с ним вместе, — и Ярцев поглядел на него, как бы ища в молодом лице собеседника дальних знакомых черт.

Стремительно пронесился пред ними ночной Ленинград, прямые просторы пустеющих улиц, заснеженный Каменноостровский проспект с глухими и как бы пустующими особняками, обиженно и угрюмо слепнувшими в этом порфироносном некогда и имперском ряду. Больше Игренов не спросил ничего всю дорогу. Знакомый полет машины, предостерегающий вой гудка на перекрестках, пересекающие путь медлительные трамваи с зелеными, красными, желтыми огнями, бредущие сквозь весь огромный призрачный город — к Охте, в Гавань, к Смоленскому кладбищу, на острова; Нева, уносимая в снежный туман в четках огней, в невесомой своей отрешенности все разорваннее и разорваннее уходящих к окраинам; глухота и сырая угрюмость заснеженных каналов с протоптанными по ним человеческими тропами; мгновенно возникший Невский с огнями, с толпой, с гастрономией за огромными окнами, с транспарантами кинематографов, растянутый от адмиралтейской иглы до медного чудища, стерегущего привокзальную площадь, и серый, деловой Октябрьский вокзал, — весь этот молчаливый далее путь залег в Игренове раздумьем о судьбе двух людей, начавших вместе эту удивительную и великолепную жизнь, проживших ее неповторимо и памятно для поколений, один — революционером, старым подпольщиком, первым вершителем революции, основателем партии; второй — профессором, академиком, ученым с мировым именем, непоколебленным авторитетом в науке, неотымным камнем ее прекрасной истории. С этим он ехал сейчас бок-о-бок в ночной военной машине, другой — умирал в Москве, в доме для ветеранов великого свершения замыслов еще семидесятых годов, его дядя, брат его матери — Дмитрий Иванович Иркутов. И между ними обоими, между этими двумя большими, великолепно прожитыми жизнями — был он, летчик Игренов, с еще неопределившейся непри-

мечательной жизнью, полной только самолюбивых надежд и несовершенных мечтаний... И, проносясь вместе с этим большим человеком ночными ленинградскими улицами, он страстно, почти с тоскою юноши, мечтал о том, чтобы сделать свою жизнь такой же полезной, нужной, сияющей озаренным трудом и человеческой утоленной победой.

На Октябрьском вокзале, за четверть часа до отхода скорого, Игренов нес за Ярцевым его погребец-чемодан. На вокзале была уже близость ночи, выжидающей последнего отходящего поезда. Торопливо шли люди с портфелями и чемоданчиками, устремляясь к простертому ряду вагонов, в путевой одноночный сон между Ленинградом — Москвой. На перроне сильнее запахло дорожным российским простором. Так внес Игренов погребец в натопленный жарко вагон и устроил его на сетке. Высокий и розовый, стыдясь слегка перед этим провожаемым им стариком своего здоровья и свежести, он встал в дверях купе. Ярцев сел на диван и снял свою пыжиковую шапку; мгновенье преодолел он одышку от вокзальной и по-обычному тревожной поспешности.

— Ну, спасибо за проводы, Константин Алексеевич, — сказал он, подавая внимательную и мягкую руку. Он опять задержал в ней руку Игренова. — Вот что хорошо... что вы — молодой, здоровый, красивый. Это очень хорошо, Константин Алексеевич. — И строгое, седоусое лицо Сервантеса измялось вдруг мягкой и той неповторимой улыбкой, какой улыбаются только люди иного — старшего и сумевшего так необыкновенно прожить свою жизнь — поколения.

— Дядюшке кланяйтесь, Сергей Гаврилович... скажите, чтобы поправлялся скорее, — сказал Игренов вдруг с необыкновенною и необъяснимой ничем, горячо в нем затепленной радостью.

— Поклонюсь и скажу, — ответил Ярцев. — И прощайте, голубчик, кажется, звонят...

Они быстро снова подали руку друг другу, и минуту спустя мимо Игренова, заглянувшего с перрона в окно, мягко и неслышимо стали сноситься вагоны, предшествуемые победительным ревом вникающего во тьму паровоза. Игренов постоял на перроне, поглядел вслед вагонам, вдвигавшимся в дорожную зиму, в путь на Москву, и, все еще полный тревожного и большого тепла, пошел не спеша к вокзалу. Он прошел сквозь вокзал, вышел к широким ступеням под'езда, и та же машина понесла его вскоре назад по широкому и еще блистающему огнями проспекту. Откинувшись на подушки, подставив лицо этому невскому ледящему ветру, он едва вдруг не засмеялся от счастья, — такой неисхоженной, полной будущих победительных дней и необыкновенно нужной показалась ему его жизнь. С этим ощущением молодости, которую он сумеет направить, и своей неистраченной жизни проносился он Невским, снеговыми перспективами улиц арктического и удивительного в этот час Ленинграда.

II

Минуты Ярцев сидел, упираясь руками в диван, глядя вперед уже по-стариковски обвялым и остановившимся взглядом; внизу, под полом, шла сложная бильярдная игра перестуков, сброшенных шаров, карамблей, — по стрелкам выходил поезд на главный путь. Всего десять минут продолжалось это старческое, непереборенное оцепенение. Вслед затем он стал снимать свои дамские ботики, разоблачился, достал из кармана и надел на стынущую голову, с жемчужным попичьему тончайшим ободком, шелковую ермолку. В ней он сразу почувствовал себя покойно и домовито. Он достал еще из кармана серебряную папиросницу, черненую ту и стариковскую табакерку, на которой доисторическим чудищем изображена морская корова и в которой десятилетьем лежали одни и те же папиросы, одной и той же толщины, одной и той же крепости, каждую неделю приносимые сотнями на дом старым табачником Петром Кузьмичем. Ярцев достал папиросу, вставил ее в прокуренный янтарный мундштук и наслаждительно закурил, сбрасывая с себя ощущение путевого неуютя и остатки оцепенелой усталости. Он выкурил не спеша папиросу, и узловатыми подагрическими пальцами полез в правый карман пиджака. В правом кармане лежали письма, нераспечатанная корреспонденция, которую получил он перед вечером и захватил с собой, чтобы прочесть в пути. Это был десяток конвертов — разных цветов и величины. Надев роговые очки, он, прежде чем распечатать письма, внимательно смотрел адресатов и почтовые штемпеля, чтобы прочесть в своем, особом порядке. На конвертах были штемпеля Берлина и Рима, Парижа, Дармштадта, Нью-Йорка, снова Парижа, опять Берлина и несколько однообразных российских — из Киева, Одессы, Москвы. Он распечатал первый конверт и погрузился в изучение мелко-насаженного и старомодно-готического немецкого почерка.

Выйдя на главный путь, стремительно уносился поезд к Тосне. В вагоне в коридоре стояли мужчины, — почти одни мужчины ехали из Ленинграда в Москву, — и густейше курили в этом посизевшем уже от табаку коридоре. Это были деловые, в большинстве невыразительные люди — в толстовках, в белых войлочных сапогах со сбитыми каблуками, в серых воротничках таких же серых рубах, угрюмых своим деловым однообразием и не выдаваемой цветом несвежестью. В Ленинграде, в Европейской гостинице, на день, на два, можно было вообразить себя в непохожем на Москву, иноплеменном каком-то приморском городе; просторно встречал по утрам Невский своею небывалою перспективой после московских теснин, — и в одиннадцатом часу вечерами, перед отходом на Москву скорого поезда, сбивались с ног коридорные в белых фартуках и в красных рубахах, носясь коридорами Европейской, вынося чемоданы и разнося счета отъезжающим. Все это вечерним отливом уносилось в Москву, и утренним туманным приливом приносило новых взамен — в таких же

толстовках, войлочных сапогах со сбитыми каблуками, с портфелями: люди эти — счетами, ревизиями, буднями — делали страну. Теперь все стояли в коридоре и курили. Письмо за письмом читал Ярцев в своем купе, откладывая одно за другим прочитанные. Писал американский ученый, прося его выслать последние труды; писали немцы; писал знаменитый Дамье из Парижа; писал молодой ученый из Киева; писал своему учителю уже обретший мировую славу Грачев, мировая известность по омолаживанию; все письма — о науке, для науки, ради науки. Труды, лекции, опыты, новые исследования, работы его института, международный переклик голосов людей, делающих науку. Давно уже было так, что ни одного письма частного, о себе, о нем — о Ярцеве, о старике, человеке; все — о профессоре Ярцеве, об его академической славе, об его достижениях, об его имени. И давно уже сам он привык плести эту сеть деловых ответов, эпистолярно-учтивых писем, запросов, обмена своей наукой и знаниями.

Он прочел эти десять-двенадцать писем и подержал в руке последнее письмо. Штемпель был — Москва, адресата не было, написано оно было уже нетвердой, немолодую рукой — почерком, однако, не утратившим стремительной своей выразительности. Он распечатал письмо, прочел его, перечел и задумался, не засунув обратно в конверт. Письмо было от Натальи Петровны Малютиной, — впрочем, попросту Мары — старое партийное имя. И на листе бумаги сверху был штамп общества старых каторжан и партийцев. Наталья Петровна Малютина разделила с Иркутовым жизнь, вместе с ним — этапами, пересыльными тюрьмами — прошла она от Челябинска до Верхоянска, вместе бежала сквозь тундру, вместе с ним оказалась в Париже, прошла эмиграцию, годы разочарований, неслыханных провокаций, неугасимых надежд; вместе с ним, уже надорванным судьбою и временем, вернулась в Россию. Так же, как и у него, — позади лежало у нее покушение на губернатора, первая заря революции, неискоренимая честность восьмидесятих годов, хождение в народ, легендарной «Народной Воли» и ста девяноста трех. Ярцев вновь перечел письмо этой женщины, во второй раз в его жизни писавшей ему. В первый раз, тридцать пять лет назад, молоденькая курсистка-бестужевка Наташа Малютина писала студенту Военно-Медицинской Академии Ярцеву. Она писала ему, что передумала многое, что не может разделить его чувства, но что он — человек — останется в ней навсегда. Это были девяностые годы, шумный студенческий Петербург, совместная галерка в Александринке, вызовы молодого Давыдова, разогнанные студенческие сходки в университете, и неизменная близость больших, удивительно синих и доверчивых глаз. Тогда была первая и единственная за всю его жизнь любовь, первое отчаяние и впервые с такой неразрешимой силой забушевавшее в нем отчуждение к студенту Иркутову, которого любила Наташа Малютина, и с которым разделила свою тревожную, пересеченную разлуками, тюрьмами, бездетностью — жизнь. Годы, наука, труд замели эти юные бури. Судьбы разлучали людей. Десятилетиями носило

Иркутова и Наташу Малютину всеми крестными путями русских революционеров, десятилетиями готовил смену двух поколений Ярцев—на лекциях, в лабораториях, на операциях, на приемах больных, на консилиумах, в научной работе. Теперь было это второе за всю его жизнь письмо от Натальи Петровны Малютиной. Наталья Петровна просила ускорить приезд, положение Иркутова все безнадежнее: миокардит, неврит, ослабление легких, давний турберкулезный процесс, начавшийся еще в пересыльных, в ссылке, в Якутской... Ярцев сунул, наконец, письмо обратно в конверт. Он положил его в карман отдельно от пачки писем.

— Что же, еду, Наталья Петровна... еду, — сказал он себе, и опять достал коробочку с черненой морской коровой и закурил папироску. Так он курил и думал и не стряхивал пепла. Сотрясаясь от тормозов на ходу, поезд подходил к Тосне. Ярцев откинул с окна занавеску, скакали световые аллебарды меж рельс, высоким, по-вокзальному лунным и негреющим, светом поила станция ночь и эти обставшие волчьими просторы. Похрустывая морозцем и снегом, побежали из вагонов люди в буфет. Станционная тишина напомнила, что уже далеко позади Ленинград, только недавно отплывший своим освещенным перроном со свежим улыбающимся под суконную шапочкой лицом Константина Игренева. И Ярцев вдруг подумал тепло: «Хороший малый... молодой, красивый... вот кого женщины будут любить!...» — После Тосны сразу уже пошла ночь, сон. Накурившись, ложились пассажиры, поднимались полки, стелились простыни. Спутник, молчаливый и с обликом слесаря, в валенках, — выдвигенец-рабочий, вероятно, — быстро и накрепко, до самой Москвы, улегся на верхней полке. Ярцев достал свой чемодан-погребец, отстегнул ремни, — сверху в погребеце лежал ужин, уложенный рукою Василия, как и все другое, впрочем.

— Ах, старик... даже грелку на всякий случай положил, — сказал Ярцев вслух и улыбнулся. Он достал из погребца бутылку красного вина, серебряный стаканчик, пакетец с печеньем. Подагрическими пальцами он долго вытаскивал пробку, налил, наконец, в стаканчик вина и отпил глоток. Так он сидел со стаканчиком, с печеньем в руках, по-старчески жуя промятостью щек и утомленно и грустно глядя на один лишь цветок на вытертом коврикe.

— Ну, что же, всему свое время, — сказал он еще вслух, заглушаемый песнью колес, — пусть делают жизнь молодые...

И он очень вздохнул и допил в стаканчике вино. Потом он снова убрал все в свой погребец, — и тоже, минуты спустя, слушая надсадистый трудовой храп человека на полке вверху и развеваемую в ночи летучую и волчью тоску паровоза, уснул.

III

В доме, где жил свои последние годы Иркуты, в остоженском этом, некогда княжеском, впоследствии — московской балерины и затем доме отдыха для старых каторжан и партийцев, — особняке,

в доме этом старики сходились в читальне. Неспешно, уединенная от московской толчеи, толпищ народа, очередей, скрежещущих воплей трамвая, — шла и оберегалась здесь жизнь первых строителей, далеких каменщиков — на крови и столетьях неправедных сил построенного, еще в лесах, еще не осушенного окончательно — здания. Годы ссылок и каторги, теснин Шлиссельбурга и Петропавловска, дорог Зерентуя, Амура, якутской тундры, минусинской глуши, Александровского центра, тюрем — Крестов, Бутырок, Таганской, пересыльных, челябинских, красноярских, иркутских, — годы тюрем и ссылок обитателей остроженского этого дома, не отличного от ряда других московских особняков, слагались в столетия. Столетиями сидели люди в тюрьмах, перевозили каторжные тачки, отзванивали кандалами Большую Владимирку и сибирские тракты. Покушения на императоров, взрывы, убийства губернаторов, хождения в народ, аграрные беспорядки — томаами исторических книг были люди в этом остроженском доме, живыми делателями истории, последними свидетелями и участниками. И постепенно, один за другим, год следом за годом, они уходили из жизни. Сердце, легкие, рак, — болезни, нажитые крестными годами, — косили полным и истовым рядом. Самое же главное — старость, неотвратимое довершение самой бурной, самой исключительной жизни. Здесь — на последние годы — писались мемуары, устраивались в годовщины событий вечера воспоминаний участников, и сюда приезжали молодые, ученики — довершители дел — послушать о легендарных годах, о прошлом.

Старики сходились в читальне, под низким раскидистым светом четырехугольно опущенной лампы, и тогда в библиотечной тени было окружие молочно-белых голов, бород, лысин, очков и пенснэ и узловатых, иодно-прокуренных и подагрических пальцев, листающих газеты и книги и передвигающих шахматы. Здесь жили на закате и отдыхе — знаменитый шлиссельбуржец Трофимов, участник покушения на Александра II; старая революционерка Башилова, сподвижница Каракозова, еще носившая в памяти живые облики Желябова и Софьи Перовской; один из последних участников бесплодного вызова — якутского протеста — Вершилов-Виленский; Софья Евгеньевна Терле, на явочной квартире которой сходились конспирационные нити девяностых годов, здесь жил Иркутов, здесь — вместе с ним — жила Наталья Петровна Малютина. Почти все последних три года не выходил он из этого дома. С закатною жадностью, с неистовым дыханием жизни, с которым прошел он полвека, пятидесятилетье — он жил эти годы в книгах, в газетных листах, в надеждах, в победах, разочарованиях страны. Строилась жизнь. Иные люди, иное поколение возводило леса. Туманом прошлого, давней историей, музеями документов и книг лежало подполье, заря его юности. Великолепное племя — честного бунта, казематных мечтаний, пересыльных надежд, сожженных во имя народа и подвига жизней, — доживало здесь, в остроженском доме, свой положенный срок. Пути страны, пути партии, Шатурка,

Волхов, Свирьстрой — электростанции, одевающие в электричество петровскую посконь и сермягу, тяжелый и еще непризнанный подвиг нового поколения строителей, — всем этим здесь, в этом доме, жили, стремительно волновались, стремительно чувствовали. В волнениях за жизнь страны, за судьбы народа перегорали сердца, обострялись миокардиты, прогрессировали болезни, несмотря на уход и внимание. Это было старшее поколение, привыкшее обостренно чувствовать, обостренно воспринимать, по-молодому перегорая в неостужаемом старостью и годами кипении.

За последний год, почти не поднимаясь с постели, Иркутов мог только слушать чтение, диктовать воспоминания, принимать посетителей. И рядом, как целую жизнь, еще со студенческих лет, была спутница, друг, проживший с ним вместе все годы. Это ее сухою рукой, с еще выразительным почерком, были написаны его воспоминания, целая огромная жизнь знаменитого русского революционера, борца, основателя партии, ненавистное империи имя. На его глазах сменялись цари — взрывами бомб и чередованием наследников, имена Желябова, Перовской, Засулич, имена Каракозова, Гершуни, Егора Сазонова, молодого Ульянова, — живыми человеческими тенями в этой большой прожитой им жизни вставали люди-сподвижники, вчерашние друзья, ушедшие товарищи. Знакомая сухая рука вела карандашные записи — и подле, близко, была седая, редущая уже голова, все еще по-девически разделенная тонким пробором, и синие, выцветшие, но давние, те же глаза, которые отдали себя навсегда молодому студенту Иркутову.

Желтый, обложенный тесно подушками, с подстриженными, не утратившими упорной своей чернизны, усами под большим хрящеватым носом, с все еще молодыми, не угасающими глазами, воспаленными привычною мерой страданий, Иркутов с особенной жадностью весь этот последний год торопился окончить воспоминания, торопился слушать газеты — пять-шесть газет в день, торопился диктовать письма — друзьям, старым товарищам, ведущим работу, не соглашаясь, одобряя, протестуя, приветствуя. Так догорала жизнь. За последние годы много ушло стариков. Ушли Егоров, Пржезинский, Роза Берг, Илья Названов, Сибирячка... Теперь была его очередь. С Ярцевым он не виделся годы, целых двенадцать лет. С Ярцевым связано было не только начало жизни, но и вся жизнь, — гордость целого поколения, мировое блистательное имя ученого, возникшее из тех же семидесятых годов, из зари русской юности, из истоков революции, из бунта передовой молодежи. Десятилетиями разделялись они друг от друга, но на каждой странице листаемой ими эпохи читали они имена друг друга и гордились друг другом, и все эти годы, по давнему и утвержденному раз навсегда примирению, была между ними женская тень — Наталья Петровна Малютина... На письменном столе Ярцева, на огромном этом дубовом столе, где на узких листочках блокнота написал он, наверное, десятки тысяч рецептов, десятки тысяч поправок к человеческому здоровью и жизни, — на столе его под толстым стеклом, ста-

ромодно зацепленным лапками, стоял портрет девушки. В меховой шапке, с белым башлыком, с толстой косою, переброшенной вперед через плечо, — карточка курсистки Наташи Малютиной. Годами стоял портрет на столе, годы застилали его, и в них становился он частью стола, его незаменимой подробностью, как костяной разрезальный нож, как тяжелые пузатые книги для записи пациентов, книги, в которых гнездились десятки тысяч людей с их болезнями, мемуары человеческих страданий, недомоганий, исцелений и смертей.

В последние дни, когда особенно усилилась одышка, сердечные перебои, когда зловеще означились признаки первых отеков, Иркутов жадно захотел увидеть Ярцева вновь. Один только он мог дать ему утolenье в эти дни по-особому всколыхнувшихся чувств. И тем же все еще стремительным почерком Наталья Петровна написала Ярцеву второе в своей жизни письмо. Она написала еще Константину Игрневу, чтобы он обо всем позаботился, отвез бы его на вокзал, усадил в поезд. Но еще до ее письма, прочитанного лишь в пути, Ярцев сам решил ехать в Москву. Телеграмма о выезде пришла перед вечером. Наталья Петровна прочла телеграмму Иркутову, и он взволновался, обрадовался, заторопился.

— Ну, вот хорошо, Сережа приедет!.. — и попрежнему молодо, пугая ее своим воспаленным и обостренным блеском, его глаза заблестали в тени. — Ты же пойми, Наташа... с ним вместе мы начинали, с ним перекликались через годы... через какие замечательные годы! Надо уметь прожить жизнь так, как прожил Сергей. В нем ведь — целая нация, одухотворенность народа...

Иркутов долго еще говорил и блистал глазами и волновался, и всё это кончилось, как обычно, припадком, морфием, камфорой, страданьем. Он лежал в подушках, задрал хрящеватый, ставший за время болезни огромным, нос. Шла ночь, часы, билось сердце — с перебоями, утомленно, неровно, залпами учащенного дыхания. Постарчески тревожно и бдительно спали в доме старики — тяжелыми, не приносящими облегчения и бодрости снами. И лишь одна тень — женская, знакомая тень, с девическим пробором жемчужно-мутноватых волос — бодрствовала, как всегда, у изголовья, у знакомо-очерченного болезнью и предстоящею гибелью профиля.

IV

Ярцева в Москве на вокзале встретил молодой человек, очень точный и исполнительный.

— С приездом, профессор, — сказал он в дверях, сразу опажнув московскую деловитостью, морозным утром столичного города. — За вами прислана машина товарища Крымова... я — его секретарь.

Он не взял его погребца и не потащил с собою, как тащил вчера просто и весело запыхавшись Константин Игрнев, а велел взять носильщику. «Что ж, столица, столица... Москва!» — с усмешечкой сто-

личного жителя, ставшего провинциалом, подумал Ярцев. И он пошел по перрону вслед за молодым человеком — выше всех на две головы, неприязненно встречая утренний холод, вокзальное беспокойство и зимний, туманный, задымленный сигарною синевою мороза, город.

— Товарищ Крымов предоставил машину в ваше распоряжение... комната приготовлена вам в Доме Ученых. Я подожду вас, если позволите, — сказал молодой человек еще.

Он помог ему сесть в большую закрытую и траурно-блистающую лаком машину, и утренняя деловая Москва понеслась в туманах и виадуках, в вереницах обозов ломовых, в набитых людьми трамваях — металлургически-машинной Мясницкой, большой и нелепейшей Лубянской площадью, отмеренной зубчатую китай-городской стеной, боборыкинским некогда царством, и далее заснеженным окружим театров, студенческой Моховой, университетом, букинистами, уже разложившими книжки на университетских карнизах, обвисшими под снегом деревьями сада Архива и великолепно взнесенным, парящим в снеговой вышине, Музеем Румянцева. Это была Москва, озабоченная, тесная деловая столица.

Молодой человек остался дожидаться его в вестибюле Дома Ученых. Из окна ему приготовленной комнаты Ярцев увидел Москва-реку со снежными берегами, дымы, дымы крыш туманного Замоскворечья. Он постоял, посмотрел на этот утренний, круто дымящийся город и вспомнил, как два года назад, в последней своей заграничной поездке, он так же стоял у окна недорого отельчика и оглядывал по-осеннему неприятный, по-осеннему туманный Париж. Тогда с неумолимой достоверностью почувствовал он весь пройденный свой человеческий путь. В парижских туманах, в этих аспидно-сизых, столь очаровательно знакомых туманах, так же, как в юности, побеждая года, мерещил смерч Эйфелевой башни и возникал неясно над Сеной двойной, угрюмеющий куб Нотр-Дам. Все было неизменно в Париже, своим запечатленным с юности очерком, рисовавшимся в космических осенних туманах, и только внизу незаметно одно поколение сменилось другим. Одно поколенье ушло или еще уходило, и среди уходящих был он — профессор Ярцев, академик, известность — с простой человеческой старостью и с ощущением прожитой им жизни. И самое странное и убедительное в этом его ощущении было то, что он не почувствовал ужаса старости. Нет, жизнь была им прожита по праву и полно, он многое сделал в ней, он шел своим убежденным путем, и в старости есть те же полные голоса и то же созвучие, едва ли не более пленительное, чем в юные годы. С холма, на который поднялся он с испытанной волей преодоления, спокойно может оглядеть он теперь новое поколенье, бредущее по этим старым парижским улицам! Все в мире растет, прорастает, чтобы отцвести и вновь в свою пору прозябнуть. В своем кабинете, в своей работе, среди учеников, в пустынном ленинградском просторе, ставшем уже неистребимую частью

жизни, — он накрепко утвердил в себе это ощущение бытия. Теперь возникла Москва, тоже знакомо рисовавшаяся в зимнем тумане очерком снежных замоскворецких крыш, и в Москве уходил человек, с которым связан он памятью младости и всей своей творческой жизни. Что же, и здесь новое племя заступает место уходящих, и в туманном Замоскворечьи, проспавшем десятилетия купеческим сном, по-новому чувствуют и торопятся жить и утверждать себя в жизни люди. Так подавил он это чувство раздумья и стал приводить себя в порядок после пути. С расчесанными прямыми усами, в шелковой шапочке, с привычно не выражающим чувств лицом — он вышел из комнаты. Молодой человек ждал его в вестибюле.

— Что же, можно ехать, — сказал ему Ярцев, и они спустились по лестнице вниз.

Опять, еще более затемненная низкою лиловатою тучей, понеслась Москва. Снег, долго томившийся в этом набухавшем над городом чреве, с жадностью прорвался и устремился на землю. Закрутила метелица. В метели, взывая в снеговую секущую темь, пронеслась машина вдоль набережной, мимо храма Спасителя, насупленно тяжелевшего в прошлом. В остоженской тишине переулка, насвеже забеленного выпавшим снегом, молодой человек помог ему выйти. Тучу пронесло, был зимний блистающий день, словно оттертый до блеска меловой этой россыпью, даже персиково затеплило небо прорвавшее на мгновение зимнюю московскую хмурость — солнце. Ярцев разделся, привычно, как всегда на визитах, погрел одну о другую руки и стал подниматься по лестнице. Наталья Петровна Малютина ожидала его наверху, в вестибюле.

— Ну, здравствуйте, Наталья Петровна... здравствуйте. Давненько мы не виделись все-таки, — сказал он и задержал в своей руке руку женщины. — И вы вот совсем забелились... рано, нехорошо, — и по-профессорски и с некою вольностью, какую позволяют себе с женщинами врачи, он обнял ее за плечо.

— Я вам написала, Сергей Гаврилович, — сказала она.

— Знаю... получил. Я и до этого еще решил ехать. Ну, как он?

Они прошли в пустующую залу с колоннами, где происходили обыкновенно вечера, и сели в одном из рядов на стулья. Знакомо, незаметно, как своих пациентов, он оглядывал женщину. Раньше между нею и им была почти в десятилетие разница, а теперь сравнялись, старость равняет, белит, посыпает снежком.

— Митя очень плох, — сказала она и доверчиво, с давним, когда-то именно своим доверием терзавшим его, взглядом чуть полинявших, но все еще синих глаз, посмотрела ему в глаза. И глаза его вдруг затянулись холодноватою профессорской пустотой, пустотой врача, испытателя, пришедшего выслушивать, вдумываться в историю болезни, ставить диагноз.

— Сколько, примерно, припадков было за неделю?

Она ответила.

— Сознание затемненное по временам или ясное?

Она ответила снова.

— Чем поддерживаете деятельность сердца?

Она ответила и на это.

— Адреналин применяли?

Он достал черненую свою папиросницу и закурил.

— Что же делать... всему свое время, мой друг, — сказал он просто, — и нас побелило с вами... А Наташа Малютина какая красавица была... ах, какая красавица!

И он нагнулся вдруг и поцеловал ее руку, высохшую, худую, но все еще прекрасную руку. Она не отняла руки. Он затаился еще раз и сказал неспеша:

— Ну, что же, пойдем знаменитого революционера выслушивать.

И с небрежностью, чуть вразвалку, как привык всегда заходить к больным, успокоительно будоража их грубоватостью, громким голосом, снисходительным выслушиваньем недомоганий, он пошел за ней следом. Иркутов лежал, особенно слабый после вчерашнего ночного припадка. В свету все же прорвавшего тучи персиково-морозного зимнего солнца он был розоват в колыбельной белизне подушек, но именно в несвойственной розоватости этой было больше всего осуждения.

— Лежи, лежи, пожалуйста, — сказал Ярцев тотчас и пожал его руку повыше кисти. — Будем говорить обо всем... пока же лежи.

И он не отнял своей руки, привычно нащупывая двумя только пальцами тонкую и знакомую нить человеческого биения крови.

— Как я рад тебя видеть, Сергей, — сказал примиренно Иркутов. — Нам ведь очень о многом нужно поговорить.

— Успеем... успеем всё, — опять с той же профессорской грубоватостью ответил Ярцев. — Пока лежи, дыши, дай тебя выслушать.

И он достал из бокового кармана стетоскоп, запечатлевший перестройкой и стуки десятка тысяч, вероятно, человеческих недолговечных сердец. Он долго выслушивал его, мял, ложился ухом на спину, на грудь, изучал кривую температуры, смотрел анализы. Наконец, он достал свою папиросницу и стал засовывать папироску в мундштук.

— Ну, можно теперь говорить? — спросил погодя Иркутов.

И Ярцев ответил:

— Можно.

Они остались одни.

— Так как же, Сергей, скажи! — сказал снова Иркутов.

— Что ты желаешь знать? О твоём положении? — И Ярцев закурил папироску и пустил дым. — Твое положение неважное, друг, — сказал он, наконец.

Иркутов улыбнулся внезапно:

— Я знаю. Я знаю и ничуть не в отчаянии... ты можешь все говорить.

— Все изнашивается, друг, все ветшает, — сказал Ярцев снова, — а особенно сердце. Senilia, ничего не поделаешь.

И, неспеша, дымя папироской, он все рассказал ему о его сердце, о его изношенности и положении. Иркутов слушал его, и некое подобие улыбки все время лежало в еще своеобразном изгибе нестаряющих губ.

— Послушай, Сергей, — сказал он и даже прикрыл глаза: так было чудесно, что именно он, Сергей Ярцев, сидит рядом с ним. — Я хотел тебя видеть не только как пациент, который еще на что-то надеется... нет, я ни на что не надеюсь. Но ты для меня — мое поколение, моя эпоха, Сережа... мы вместе начали книгу, которую дописывают теперь другие.

И он сел на постели и сказал еще страстно, почти с победительной силой:

— Я не чувствую старости и близкого ухода, Сергей... это ведь так — подробность. Главное, что мы не зря с тобой прожили жизнь, вот что хочу я сказать. Ты — в науке, я — в революции... За тобой — поколение студентов, твоих учеников. За мной — сотни тысяч... сотни тысяч строящих, разбуженных революцией. Можем ли мы быть благодарны жизни и не чувствовать, что мы ее прожили полно, как могли и умели... наша старость — наша молодость, друг!..

И они поглядели друг другу в глаза и вдруг улыбнулись. Словно там, за откинутой этой завесой, открылись в необычайном и чудесном просторе их жизни.

— Ну вот... я ведь тоже так чувствую, точно мы сговорились, — сказал ему Ярцев еще с этой же непотухшей улыбкой. — Я твоего племянника видал в Ленинграде, — добавил он вдруг, — ах, какой отличный, красивый парень... Нет, молодцы, молодцы, что говорить. А недавно я вспомнил, как мы вызывали Мазини в Мариинке, помнишь? Вот молодость была! Тебя тогда в скорости из Питера выслали, а я в Военно-Медицинской Манасейна слушал. Превосходный был старик!

— А помнишь нашу встречу в Женеве? — спросил вдруг Иркутов. — Этого ведь тоже не выкинешь, брат... иду себе по улице и вдруг, пожалуйста — Сергей Ярцев, даже в петербургской шляпе... я тебя на радостях к Плеханову тогда потащил.

И они почти весело — так отчетливо возникла перед ними эта память прожитых лет — улыбнулись друг другу.

— Помню, еще бы... я и студенческую нашу Татьяну вспоминаю в Москве. Все тогда с'ехались, даже Арбузов — и тот притащился... проводили тебя мы в изгнание!

— А где сейчас Арбузов? — быстро спросил Иркутов.

— Ну, как же... он известный казанский гистолог. Греббе, вот жалко, зря умер, от пустяка, в сущности, аппендицита... Чердынцев, — нет, ты подумай, Чердынцев в Америке в институте Карнеджи карьеру сделал... ведь, увалень был!

И они принялись именами, памятью друзей, ушедших, разбросанных, оставшихся навсегда за границей — дополнять друг друга.

— А какая эпоха, какая эпоха... какие имена!.. — сказал Иркутов еще, воспламеняясь этой неутоляемой памятью. — В медицине — Мечников, Боткин, Захарьин... в науке — Менделеев, Ключевский... в революционной работе — Плеханов, Кропоткин, Ленин... А потом — революция, новая Россия в лесах, новое поколение, пришедшее на смену нам — строить, продолжать наше дело... разве с этим можно чувствовать старость, Сергей!

Так, вдвоем, они просидели часы. Шли воспоминания, память лет, встреч, молодых восхищений, молодых разочарований, надежд. Только об одном они не сказали ни слова — о себе, о личной их жизни. Так повелось в молчаливом их жизненном сговоре.

— Ну, что же, друг, пора... я тебя утомил, — сказал Ярцев. — Гляди, уже сумерки.

Синевато и ранне мутнела остоженская зимняя сизость.

— Мне еще рецепты тебе написать...

— Ты когда же обратно? — спросил, помолчав, Иркутов.

— Да надо бы сегодня успеть... меня еще Крымов просил к нему в Кремль заехать.

— Жаль, жаль... значит, не увидимся больше?

— Если не уеду сегодня, завтра зайду... я ведь только чтобы тебя повидать — в Москву.

И они обнялись.

— Ну, все-таки не сдавайся, знаменитый революционер, — сказал Ярцев, держа на его заостренном плече свою руку.

— Постараюсь, знаменитый профессор, — ответил Иркутов.

Наталья Петровна понесла за ним следом в читальню чернильницу и бумагу. Он присел за большим столом в пустой в этот час читальне и написал привычным и размашистым почерком несколько рецептов.

— Ну, вот... это по чайной ложечке через каждые два часа... это — на случай припадков... злоупотреблять не советую. Это — от головной слабости... Митя жаловался на головную боль временами. Конечно, Наталья Петровна... — И он отложил перо и опять по-профессорски поиграл пальцами на зеленом столе читальни. — Конечно, положение скверное... но он — молодцом, он и меня заразил своей молодостью.

Она сидела перед ним, чуть склонив седую, со старомодной аккуратностью причесанную, голову. На один только миг подняла она на него свои синие, с самой юности затепленные в нем, глаза. И он добавил еще:

— А в общем, хорошо думать о прожитой жизни, это Митя верно сказал... и хорошо, что еще сотни других, молодых, повторят наше прошлое — и вас, и меня... и то, чем мы жили.

Минуты спустя они простились.

— Спасибо вам, Сергей Гаврилович, что я никогда не ошибалась в вас... и за то, что вы приехали к Мите. Это ведь — на всю жизнь.

Она проводила его до лестницы. Не было уже ни исполнительного молодого человека, ни автомобиля, предоставленного Крымовым. И Ярцев решил вдруг — никуда не ехать, никого не видеть больше в Москве, вернуться в свой Дом Ученых, что-нибудь перекусить и лечь отдохнуть, чтобы сегодня же со скорым уехать назад в Ленинград. Он вышел на Остоженку и пошел неспеша, вдыхая московскую зиму, как запах далеких, прожитых и по-милому грустных лет.

V

За Бабиным, за Любанью, за Тосно — опять пошли финские аспидно-серые дали, низкое сизое небо, близость северного огромного города, знакомое дыхание Петербурга. И новым приливом несло в северную вторую столицу деловых, таких же — во френчиках, в толстовках и в свитерах — москвичей. За Ижорой, за Колпиным означился город. Пошли дымы фабрик, трубы, тяжелые султаны неподвижного фабричного дыма, огороды окраин, заснеженные пустые составы. И следом за ними закопченной серою крышей возник молодой и угрюмый Октябрьский вокзал. Свинцово и холодно встретил город в этот утренний час. Вместе с деловою толпой, торопливо опорожнившей вагоны, Ярцев прошел сквозь вокзал и вышел на площадку под'езда. Носильщик нес позади его чемодан-погребец. Ярцев сошел по ступенькам, чтобы нанять извозчика на Петербургскую сторону, как вдруг в этой вокзальной толпе, надсадливо мешавшей друг другу своею дорожною ношей, он увидел розовое и возбужденное по-молодому лицо Константина Игренева. Он быстро устремлялся к нему сквозь толпу, издав еще блистая улыбкой, ровными своими без единой щербинки зубами.

— Сергей Гаврилович... вот встреча! — сказал он, подбежав, наконец. — Едемте, я вас довезу на машине... я здесь случайно, относительно груза.

И он перехватил у носильщика его чемодан и с торопливой готовностью потащил его в сторону.

— Ну, как я рад, что случайно вас встретил, — сказал он, когда они сели в ту же серовато-зеленую, в какой день назад доставил его он сюда, на вокзал, машину. — Как же дядюшка, скажите, пожалуйста?

И Ярцеву не захотелось вдруг омрачить мальчишеской и белозубой улыбки, восторженной ясности свежего и красивого его лица и утренней вот этой, в молодую лишь пору бывающей бодрости.

— Скрипит, — сказал он, — еще поскрипит. Нам, старикам, скрипеть, а вы уж заступайте наше место, пожалуйста...

— Нет, Сергей Гаврилович, вас заступать пока некому, — ответил Игренов серьезно, — нашему поколению долго еще в гору итти...

И ветер с Невы, понесшийся навстречу машине, сорвал этот их разговор. Они сидели друг подле друга, омываемые зимними ливнями натруженного утренней стылостью воздуха. Больше всего был рад Игренов вести о дяде, и, кроме того, думал еще он о том, что сейчас, проведив Ярцева до дома, поедет он на аэродром и, если разойдется погода, сделает учебный полет, восхитительное это упражнение для легких, для сердца, для спокойствия духа, которое стало для него уже потребностью, неотъемною частью его самого. По-мягкому, наливаясь все более светом, расходилось широким размывом зимнее небо над Ленинградом. Они пронеслись через Фонтанку, бронзовые вздыбленные кони были в белых пополах снега, по Фонтанке вкось шли протоптанные и порыжевшие людские дорожки. И своей снеговой занесенностью, мелкими кустарниками, едва торчащими из снега, и угрюмою братской могилой возникло Марсово поле. Здесь, на Марсовом поле, особенно ощутился простор, провинциальное оскудение, прошлая имперская слава уже далекого Петербурга. Над Троицким мостом торжественно и траурно, словно огни погребенья, горели огромные круглые фонари, которые забыли потушить, очевидно. Замедленно проезжала машина по нескончаемому этому мосту. Слева, по-старинному пронзая обвисшую пухлость небес, возникал Петропавловский шпиль, бастионы, ворота, постройки—городище заключения и смерти. И, глядя на эту каменную, изжелта-розоватую Петропавловскую крепость, давно уже ставшую только музеем, Ярцев вспомнил тот остроженский дом, где жили, наверное, многие питомцы этой крепости и где простился он с другом. Они миновали мост и облегченно понеслись Каменноостровским проспектом. Просторно встречала Петербургская сторона. Десять минут спустя, у под'езда знакомого шестиэтажного дома, Игренов простился с Ярцевым.

— Ну, спасибо вам за добрые вести, Сергей Гаврилович, — сказал он, освещаясь своею свежей улыбкой.

— Вы куда же сейчас, на аэродром?—спросил его Ярцев и опять, словно любуясь всей его бодростью, задержал его руку в своей.

— Да, кажется, проясняет... может быть, удастся чуть-чуть полетать.

И, счастливый от этого вниманья к нему великого старца, ученого, об отдаленной хотя бы славе которого не смел он мечтать, Игренов уехал отсюда. Лифт долго и неспешно, словно не оправившись от длительной болезни бездействия, поднимал на пятый этаж. И опять знакомый жилет Василия, знакомые комнаты со стоящими годами неподвижно вещами, блистающий оранжевой тишиною паркет — деловито и бережно приняли хозяина к себе. Широким простором этих утренних комнат Ярцев прошел в кабинет.

— Кто звонил, были письма?—спросил он на ходу.

— Звонили, есть письма,—ответил Василий.—Есть телеграмма.

Ярцев взял со стола телеграмму и распечатал ее. В телеграмме было только три слова: «Митя скончался ночью». Он стоял у стола

и держал эту сыроватую телеграмму, посланную ночью, следом за ним, опередившую его в пути на часы, пронесшуюся над ним по ночным проводам телеграфа, пока отмерял скорый поезд шестьсот своих положенных верст между Ленинградом—Москвой.

— Хорошо, я разберусь,—сказал он через минуту.—Пойди, приготовь мне умыться.

И Василий ушел. Он остался один у стола своего кабинета и стоял, все еще касаясь рукой этой распростертой перед ним и белеющей телеграфной тревогой бумажки. Дмитрия Иркутова более не было. И вдруг—поверх телеграммы—он увидел доверчивую синеватую грусть десятилетиями освящавших его одионочество глаз, меховую высокую шапку, белый башлык и перекинутую косу далекой курсистки Наташи Малютиной. Через эту телеграмму и прошлое, через смерть друга, неугасающей улыбкою молодости, великолепно и полно прожитыми жизнями всех их—троих, она призывала его, оставшегося жить, к труду, к размеренному порядку его жизни. Так, у стола, глядя на белый листок телеграммы и на этот старый, ставший частью стола портрет, ощутил он не грусть, не отчаяние, а именно спокойствие заката и полноту своей прожитой жизни, как лучшую и непревзойденную молодость. И он сложил телеграмму и бережно отложил ее в сторону, чтобы приняться за просмотр конвертов накопившихся писем и чтобы снова начать свой рабочий профессорский день.

Еще по дороге к аэродрому Константин Игренов уже знал, что ему удастся совершить свой полет. Большое и по-зимнему рыже-воспаленное солнце раздирало скудное рубище ленинградских небес. Прекрасно во льду и снегу заголубела Нева, отражая это высокое небо зимней чистоты и холодности. Словно огнем, бегущим по серным нитям городской необъятной люстры, зажигались поочередно шпили, главы, кресты. Воспламененный город запылал в этом утре. И на аэродроме, взглянув на плещущий лениво флажок, Игренов уверенно переделался в меховой свой лётный костюм и, довольный всем этим утром, встречею с Ярцевым, его вниманием к нему, вестями из Москвы, стал готовиться. Уверенно, бесперебойно завел свою песню мотор знакомого, изученного, ставшего частью его самого аппарата. Он пел и пел, и Константин Игренов слушал и слушал. Покорно и вдумчиво вверяло себя в его руки это хрупкое и сложное создание человека. Спустя полчаса легко и стремительно он двинулся по снежному полю. Жарче ударил морозный воздух в лицо, снежный буран жемчужно замреал следом, вздымаемый вихрем пропеллера. Он дважды пробежался по полю, и вот легчайшее, ни с чем несравнимое чувство полета покоем и счастьем наполнило его существо. Бежали назад, вглубь, листаемые простыни поля. Острый холодок атмосферы стал ожигать лицо, а там—в руках, под ногами, в педалях, в рулях передач, в сложной игре находимых воздушных течений,—там было легкое и послушное ему, Константину Игренову, существо аппарата, запечатленного

творения пытливей человеческой мысли. И с величайшим восторгом, с уверенностью он ощутил в этот миг свою молодую жизнь неотъемлемо нужной, идущей по тем же путям, по которым шли превосходные, непревзойденные люди старшего, иного, столь великолепно и полно сумевшего прожить свою жизнь, поколения. Ленинград открывался Елагиным, Крестовским, Васильевским островами, изогнутой тройною Невой, сияющим Исаакиевским куполом и дальним ледовитым простором Финского залива и Балтики. И, глядя на этот возникающий город, сильнее всех иных чувств, уверенней воли водителя Игренов почувствовал лишь звериную игру своих мышц и широкое счастливое дыхание младости.

Февраль, 1928.

Москва.

Два стихотворения

НИК. ЗАРУДИН

I. С первой птицей

Снова подснежники... Сколько былого,
Изжитого в этом! Но, вот, посмотри:
Вальдшнепа графа Алексея Толстого
Принес я с роскошной, первой зари.

В рыжих ремнях, перетянутых косо,
На обвисшей сумке огромной... сейчас!—
С бархатной ржавчины птиц длинноносых
Черно-вишневый свесился глаз.

Вот он какой... Красивый. — В овраге
Нынче мы стали. Знаешь — луна.
От колючих жуков, гуденья и тяги
Губерния вся сходила с ума.

Как налетел он! Как прынул с удара,
Круто вертясь наискосок.
С коричневых крыл графского дара
Тянет еще золотой холодок...

Веет — дрожью прогалины ранней,
Звезды, мошкары — старая новь.
Цветком и свистом, темнотой ожиданья
Едва запеклась сердечная кровь.

Родная, смелая! Только запета
Новая песнь. Чтоб не было лжи,
К старинной птице чужого поэта
Милую свежесть щек приложи.

Чтоб познать ее по-иному,
Чтоб — и нам, на зов темноты,
На листьях сухих, как графу Толстому,
Чувством жизни — синели цветы!

II. Песня

Окликнула сына мать:

— Что пропал?

Не срубил ли ала цвета

Генерал?

— Ой, не спится! Все клубится

Даль-ковыль...

Что ж, дорога, не отпустишь

Мелку пыль?

Что ты, вишня, ухватила

Ветку-плеть?

— Вам бы, милый сын, в окошке

Зашуметь.

— Вам бы там росяным маком

Дерзко встать,

Да росой на степь сухую

Потряхать...

Острой саблею бренчать,

Под'езжать,

Припадать бы мне к седлу

По селу.

— Ой, лилась бы все хрусталь-

Синь из глаз!

Тут раскрыла степь старинна

Весь рассказ.

Как посеялась хрусталь

До небес,

Вырастал цветок сырой —

Белый крест.



С и в к о

П. ДРУЖИНИН

Служил охотно и прилежно,
Работал много-много лет.
Трепал его когда-то нежно
По сивой холке старый дед.

Дед был и сам такой же сивый,
С большой кудлатой головой,
И заплетал любимцу гриву,
Как настоящий домовой.

Овес и сено из кормушки
Добротный конь не проедал,
Зато и ушки на макушке
Колючим штопором держал.

И этих дней воспоминанье
Конь с тихой грустью уберег.
Любил он кобылячье ржанье
И пыль проселочных дорог.

Плескалась в нем светло и бойко
Кровь с непутевым огоньком,
И много раз в ямщицкой тройке
Скакал Сивко коренником.

Теперь лишь стал вот старой клячей
И горько знает заодно,
Что скоро радостью собачьей
Его оттащат за гумно.

И в день ненастный, злой и хмурый
От бесполовой суеты,
Сдерет с него хозяин шкуру
Другим коням на хомуты.

Дневник Кости Рябцева

Н. ОГНЕВ

(Продолжение ¹)

Сфера влияния

17 ноября.

Вот уже шестой день, как я ночую в общежитии «Можайка» у Корсунцева. Тут есть пустая койка. Комендант, конечно, знает, но в виду того, что койка все равно пустая, — не возражает. Я должен сказать, что жить мне теперь гораздо легче, чем казалось вначале. Уж во всяком случае всегда найдешь возможность пообедать и переночевать — не нужно только дрейфить.

Но в одном деле я чувствую свое унижение, или, пожалуй, снижение своего я. У меня все внутри кипит и бурлит, и хотелось бы быть гораздо больше активистом, чем я сейчас, но этому мешают разные препятствия. Во всяком случае, мне приходится часто сдерживаться не по моему характеру.

Теперь я хожу почти исключительно на совправские лекции, главным образом по судебному и по административному отделениям. Надо сказать, что здесь публика совершенно другая, чем на Лито. На Лито, по-моему, ребята, и особенно девчата, гораздо буржуазней, чем на Совправе; может, поэтому мне на Совправе гораздо проще и приятней. Уж взять хоть одно, что на Лито почти не встретишь стриженных девчат — громадное большинство ходит с пучками, а это, по-моему, вредит против гигиены и даже, если поразмыслить хорошенько, не демократично. Так что я наверняка перейду окончательно на Совправо.

18 ноября.

Вчера в клубе выступал кружок живой газеты, в котором прохватавались разные вузовские темы. Они выступали ничего, хотя очень копировали «Синюю блузу». Я решил записаться в кружок и разгово-

¹) См. «Новый Мир», №№ 1 — 3 с. г.

рился с одним активистом этого кружка, которого зовут Жорж Стремглавский. Оказывается, они выезжают на фабрики и хотят ехать в подшефную красноармейскую часть и еще в деревню. Но, по-моему, нужно тогда создать другой репертуар, который был бы интересен красноармейцам и крестьянам, а не только вузовцам.

Жорж показался мне парнем боевым: во всех его словах и движениях проглядывает какая-то дикая энергия, которая заражает других. Между прочим, я его спросил, на каком он факультете.

— Я — на всех сразу, — весело ответил Жорж и в то же время окликнул проходившую студентку: — а, Маня, это ты? Все живешь? Ну, хорошо, я к тебе как-нибудь зайду, ты не беспокойся, я, может, даже сегодня зайду, и книги принесу и колбасы полфунта принесу.

— То-есть как — на всех сразу? — допытывался я, а девчина пошла дальше, весело кивая Жоржу головой.

— А так! — Приписан-то я к Совправу по судебному отделению, а хожу всюду, куда успеваю. Ты в шахматы играешь? — вдруг, неожиданно, спросил меня Жорж.

— Не очень хорошо.

— Тогда почему же ты не состоишь в шахматном кружке? — удивился Жорж. — Я тебя там ни разу не видел.

— Да ведь я мажу.

— Вздор, сегодня же запишись, да вот идет шахматист, — закричал вдруг Жорж, указывая на высоченного парня в папаше, и тут же мне шепнул: — из беспризорных, бывший вор, а теперь в вузе — ловко?

— А с кем сражаться? — спросил парень в папаше, здороваясь со мной и с Жоржем.

— Да вот Рябцев говорит, что он плохо играет, — пхнув меня кулаком в бок, сказал Жорж. — Врет; хорошо играет, знаем мы вас, как вы плохо играете, — добавил он и залился тоненьким хохотом. — Будущий Боголюбов, по глазам видно. Смотрите, ребята, смотрите! — показал Жорж на проходившую мимо девчину: — это Грохольская Клава; я за ней в прошлом году увивался, а потом бросил, она с претензиями. Видите, видите, как вспыхнула, когда взглянула на меня, а я — ничего. Она со мной теперь не разговаривает.

Мне стало немножко смешно.

— Ты сам, по-моему, в роде живой газеты, — сказал я Жоржу. — Только я не понимаю, кем ты будешь после окончания вуза, если ты сразу на всех факультетах.

— Может, председателем ВЦИК'а, может предревтрибунала, но никак уж не меньше знаменитого поэта, — ответил Стремглавский.

— А ты и стихи пишешь?

— А то как же: во всех стенгазетах есть мои стихи. Между прочим, приходите, ребята, в марксистскую аудиторию послезавтра в пять часов. Там один профессор читает, Гурьевский. Он по административному читает, но только он такой бузотер, что ребята ничего не могут от него почерпнуть дельного. Ну, и решили устроить волынку: после-

завтра, как он начнет читать, в зале начнется общий шум; приходите участвовать.

С этими словами Жорж Стремглавский исчез. Здесь, должно быть, участвовало какое-нибудь волшебство, потому что Жорж как сквозь землю провалился. Если бы меня привлекли к судебному следствию, как обвиняемого в исчезновении Стремглавского, я бы и следовательно ничего не мог ответить.

— Что ж, пойдем, сыграем? — сказал парень в папаше, и мы пошли в шахматный клуб.

— Ты, правда, в беспризорных был? — спросил я товарища, когда мы дожидались очереди на доску.

— Ну да, был, — ответил он очень охотно. — Пять годков проездил: с восемнадцатого по двадцать третий.

— Почему ты говоришь, проездил? Разве беспризорные ездят?

— Почти все время только и делают, что ездят. В этом весь смак, в свободе.

— Но ведь забирают, — сказал я, вспомнив, как мы с пастухом ловили в поезде беспризорного.

— Бывает, что и забирают, но в большинстве случаев опять отпускают. А потом и забрать-то не так легко. Ведь больше в ящиках ездят.

— В каких ящиках?

— А это есть под некоторыми вагонами ящики. Шут их знает, какой их смысл. Говорят, что в этих ящиках раньше собак возили. Только они большие, эти ящики: бывало, что маленьких шпанят по трое в ящике помещалось. А то под паровозом ездил — пойдешь, поймай.

— Да как же можно под паровозом?

— А это есть под каждым паровозом такая большая труба. Неизвестно, для чего она служит, только в нее приходится залезать. Залезешь, вымажешься, как трубочист, — смехатура...

— А жили чем: ниществом, что ли?

— Какое ниществом! — с каким-то детским смехом отвечал бывший беспризорник. — Это только маленькие живут ниществом или, например, пением и игрой на ложках. А большинство — ворует.

— Так и тебе приходилось воровать?

— Ну, еще бы: только этим и жил все время.

— А не попадался?

— Конечно, приходилось. Только ведь у беспризорных девиз такой: воруй, да не попадайся. Поэтому попадают редко — больше те, которые работают «на-гранта».

— Что это за штука?

— В открытую, при глазах. Да это больше маленькие или неопытные. А среди беспризорных господствует сильное отрицательное течение против грантовщиков. Настоящий, свой, беспризорный шпингалет или ширмач никогда не пойдет брать на-гранта. Ведь это что получит-

ся: попадется — всех опозорит; пойдут донимать облавами, да домами для дефективных; в район часто — и то надоедает. Манежат там тебя, манежат...

— А как же воруют: по карманам, что ли?

— Ширмачи, те по карманам. Есть — на скачок берут. А то так практикуют: когда поезд отходит от станции, — бывает, летом окна открытые. Так один шкет залезает другому на плечи, и, когда поезд уже тронулся, норовит ухватить с верхней полки в открытое окно вещи: чемодан там какой-нибудь, сумку... Не станут же из-за чемодана поезд останавливать.

— Скажи пожалуйста! — спросил я. — Вот ты теперь так легко об этом рассказываешь. Не тяжело тебе вспоминать об этом?

— Да нет, свобода привлекала, возможность повидать новые города, других людей... У нас под Ташкентом такая пещера была: в ней человек шестьсот беспризорных жило. Это целая организация была, со своими правилами и законами. И законы строго исполнялись. Но такого закона, чтобы обязательно в этой пещере жить, — не было. Иди, если надо, куда хочешь, никто тебя не держит. Вот из-за чего и дорого было, и сейчас с хорошим чувством вспоминается...

— А не тянет опять?

— Теперь другие времена пошли. Голод кончился, транспорт в порядке, надзор на поездах гораздо строже. Да и сам я — видишь, какой возрос. Теперь учиться надо. В судьи хочу выйти. Я так думаю, в судах больше неправильный подход. К правонарушителю должен быть другой подход, со стороны психологии: как он попал в такие условия и какими условиями ему заменить, чтобы было легко и приятно ему переходить на другую линию жизни. Да стой, доска освободилась, садись, я тебе мат закричу! Хорошая это все-таки игра, развивает умственные способности.

Мы сели играть, но мата он мне не сделал, хоть и хвалился. Вышла ничья. У обоих осталось по голому королю. Но играет он упористо, долго думает над каждым ходом. Надо будет еще с ним сыграть. Между прочим, он сказал, что его зовут Сеня Пичугин.

20 ноября.

Стены у нас хотя и толстые, но все-таки если сильный шум, то довольно хорошо слышно. Так что я несколько дней уже заметил, что иногда по вечерам там раздаются женские крики. Я сначала не обращал никакого внимания, а потом все стали замечать, и даже, как услышат, — то в комнате водворяется тишина: все прислушиваются.

В этой соседней комнате № 251 живет женатый студент, и у них есть ребенок. На двери написано: — Петровы. Этого Петрова я много раз встречал в коридоре — довольно угрюмый чернявый тип в очках. А она — очень высокая и худая; когда идет по коридору, то крадется по стенке, точно боится кого-либо задеть или старается, чтобы ее не

заметили. Самого Петрова я встречал несколько раз в аудитории и на семинариях, а ее никогда.

Я много раз спрашивал Корсунцева, что эти крики значат, но он только пожимал плечами в ответ. Наконец, мне сосед по койке сказал:

— Это он ее лупит смертным боем.

— А ты откуда знаешь?

— Да я сам видел. Один раз шел по коридору, дверь была открыта. И вижу, — она стоит прижавшись в углу, а он разбежится по комнате и трах ее по лицу. А она молчит.

— А как же ее крики даже у нас слышны?

— Ну, это, должно быть, когда двери закрыты.

— Странно мне одно,—сказал я,—как это ты видел—и не заступился?

— Да он сейчас же дверь захлопнул, так что я не успел. А то бы обязательно заступился.

— Я на твоём месте открыл бы дверь и попросил бы прекратить.

— Ну, знаешь... у нас это не полагается — врываться в чужие комнаты.

— А если бы, скажем, там убийство происходило, — тогда бы полагалось?

— Так ведь то — убийство.

— Ну, а, по-моему, такое дело хуже всякого убийства.

На этом разговор наш кончился, но я про себя решил этого дела так не оставлять. После этого, когда пришел Корсунцев, я обратился к нему и ко всем соседям с таким заявлением:

— Вот, — говорю, — товарищи, с нами рядом происходит такой факт, что студент избивает и даже заколачивает свою жену. Какие этому причины, я, конечно, знать не могу. Может, вы и знаете, но молчите.

— Погоди-ка, Костыка, — говорит Корсунцев. — Я, во-первых, не понимаю твоего официального тона, а во-вторых, ты говоришь несколько возбужденно, что с товарищами не полагается. Так что об'ясняйся спокойней и проще.

— Ну, ладно, я буду спокойней и проще. Вы сами понимаете, что этого дела так оставлять нельзя и нужно вмешаться.

— Мы бы давно вмешались, — отвечает Корсунцев, — если бы это было в правилах нашего общежития. Но видишь ли, Рябцев, у нас не принято не только вмешиваться в чужую жизнь, но даже переходить порог чужой двери без разрешения хозяина комнаты. Это создает известное равновесие и спокойствие каждой отдельной комнаты. Представь себе, что кому-нибудь не понравилось бы, что ты встаешь в шесть часов утра, и он пришел бы к нам в комнату и начал бы протестовать. Вполне понятно, что ты послал бы такого субчика ко всем чертям.

— Ну, уж я не знаю, — сказал я, — какое может быть спокойствие и равновесие, когда за стеной лупят смертным боем высокую и худую женщину. Что касается меня, то в следующий раз, когда я услышу, — я пойду и этому Петрову надаю банок. Вот тогда посмотрим, какое у вас будет спокойствие и равновесие.

— Тогда я должен тебя предупредить, — говорит Корсунцев. — Тебе не следует забывать, что ты здесь только гость и живешь, как бы это сказать, на нелегальном положении. Поэтому всякая твоя громогласная выходка, да еще с мордобоем, может закончиться плачевно в смысле выставления тебя вон. Помни, здесь тебе не вторая ступень и не собственная квартира. Во второй ступени мордобой сходил тебе безнаказанно, а на собственной квартире ты бы не рисковал очутиться на улице.

— Это что же, психологическая оборона, Корсунцев? — спросил я ядовито.

— Как хочешь называй. Нет, по-моему, это просто инстинкт самосохранения.

— А я пойду с Рябцевым Петрову морда бить, — сказал вдруг, совершенно для меня неожиданно, маленький парнишка-карел, который живет на угловой койке.

— Ну, и дурак, — с досадой ответил Корсунцев. — Скажи пожалуйста, Рябцев, почему ты такой колючий? Я сам не знаю, чего я с тобой путаюсь. Пошел тебя кормить — ты там набезобразничал. Устроил тебе ночевку — ты сам из-под себя подпорки вышибаешь. Ведь это же глупо, наконец.

— Рябцев! — вдруг в полном восторге закричал карел, видимо, вообразив себе нашу будущую драку с Петровым. — Ты ему давай правая щека, а я ему буду давать с левая щека. Он тогда не убежит, хо!

— Ну, — сказал Корсунцев в заключение, — имейте оба в виду, что я не буду ни на вашей стороне, ни на стороне Петрова.

— А на чьей же стороне ты будешь? — спросил я иронически.

— На стороне правил общежития, — ответил Корсунцев.

23 н о я б р я.

Так как я у всех назанимал, а обедать все-таки надо, — я решил разыскать Сильву. По правде говоря, мне этого очень не хотелось, потому что с Сильвой у меня связано много всяких воспоминаний и мне мучительно было обращаться к ней. Мне сказали, что она в анатомическом театре, и я туда пошел. Так как я никогда там не был, то меня поразил тяжелый и противный запах, который оглушил меня еще в раздевалке. Все время ходили взад и вперед девчата в белых халатах, и я спросил, где найти Сильфиду Дубинину. Мне сказали, что она работает с трупом, и мне пришлось итти в самую анатомическую. Я зажал нос и вошел, но нос пришлось сейчас же разжать, потому что в рот полез необыкновенно противный сладковатый вкус.

На каждом столе лежал ободранный покойник. Около столов толпились профессора и студенты (больше девчата) в белых халатах. Одна какая-то девчина с комфортом расселась на стуле у одинокого трупа на столе и читала этот труп, справляясь с книгой. Немного дальше группа девчат взрезала трупу спину. Глядеть на все это без привычки было муторно. А тут еще запах. Но, когда первое впечатление прошло, я поразился каким-то особенно деловым подходом к учению. Когда я взглянул с этой стороны, то анатомический театр показался мне похожим на муравейник, и мне стало неловко, что я торчу здесь без дела.

«Как же разыскать Сильву?» — подумал я, как вдруг бежит она сама с каким-то ножиком в руке.

— Ты что, Владлен, — спрашивает, — к нам, на медфак, переходишь?

— Нет, ты просто мне нужна по делу.

— Ну, ладно, тогда выйдем в раздевалку и поговорим. Только здесь воздух чище, чем в раздевалке. А, впрочем, погоди. У меня прелестный труп, легкий и не жирный, хочешь посмотреть?

— Нет, в другой раз как-нибудь, — ответил я, потому что меня опять замуторило (должно быть, с голоду). — И потом, как это труп может быть прелестный?

— Да, ведь трупы-то разные бывают. Дадут разложившийся — они очень трудные, потому что ткани спутываются. А у меня сейчас хороший, свежий.

— А тебе разве не противно? — спросил я.

— Бывает, особенно когда нагнешься низко, да ведь это наука, а наука должна все исследовать. Когда профессор в первый раз нас сюда привел, он перед этим нам сказал: — Представьте себе, что вы входите не в комнату, полную трупов, а в цветущий весенний сад, благоухающий розами и магнолиями. Биологически трупы и цветы — одно и то же, частицы единой материи. — Мы представили и обошлось. По-моему, у химиков в лаборатории хуже пахнет.—А если отбросить запах, то здесь становишься на границу познания человеческого тела,— так говорит профессор. В общем, я привыкла, и уверена, что и ты бы быстро привык, одно беда — девчата курить здесь приучаются. А я усилием воли заставила себя перейти границу запаха без папироски. Ловко?

— Конечно, ловко, ты — молодец, — ответил я. Мы уже вышли в раздевалку и мутить меня перестало. Должно быть, на меня с непривычки подействовал не только запах, но и вид такого количества трупов. — У меня к тебе есть одна просьба, Сильва.

— Какая? — рассеянно спросила Сильва. — А хочешь посмотреть музей? Мы уже прошли миологию и остеологию. Я тебя сразу могу посвятить.

Не дожидаясь ответа, она потащила меня в музей. В этом музее, в стеклянных ящиках, были разложены разные кости.

— Вот, видишь, — застрекотала Сильва с увлечением. — Это ос темпорале, височная кость, она такая трудная, что прямо ужас. У нас тут шутили, что когда кончают самоубийством, то нарочно в висок стреляют, чтобы разбить эту кость, такая она трудная. А вот это — на основной кости — видишь, в роде седла. Так это и есть турецкое седло, со спинным отростком мозга на нем. Мозга сейчас нет, но это не беда, он есть у каждого человека. Представь себе, что этот самый отросток, помещающийся на турецком седле, регулирует рост человека. От этого отростка зависит, если у тебя, например, вдруг руки вырастут до полу. Или нос в два аршина. Потом есть еще трудные кости...

— Погоди-ка, Сильва, — перебил я, — пока довольно...

— А ты разве не хочешь посмотреть мышцы и нервы? — с воодушевлением и не слушая, продолжала Сильва. — Вон там, в той комнате. Идем-ка. Видишь, на этой голове лицевые нервы: они страсть как перепутаны и их трудно учить. А вот копченые мышцы: они в роде ветчины, поэтому мы их называем копченые...

— Тьфу, перестань покуда! — сказал я. — На первый раз довольно с меня. Мне и есть расхотелось. Пожалуй, теперь и денег не нужно. Я ведь пришел у тебя сорок копеек занять на обед.

— Эх ты, слабонервный ты человек, — сказала Сильва. — Ну, выйдешь на свежий воздух — все пройдет. Ты возьми снегу, как выйдешь, и зубы им почисти. А денег я тебе могу дать целый рубль. Ты, в случае чего, приходи — у наших девчат, если у меня не будет, всегда достать можно.

Когда я шел по двору, то все время плевался. Во рту стоял неотвязный сладковатый вкус. Но, в конце концов, голод пересилил, и я пошел в столовую.

25 н о я б р я.

Я как-то другими глазами стал смотреть на Лито и даже на Совправо после того, как побывал в анатомическом театре. Сегодня я зашел на один Литовский семинар и постараюсь записать подробно впечатления для сравнения с анатомическим театром. Строгие и научные белые стены с громаднейшими окнами меня вначале очень поражали и заставляли с головой уходить в то, что говорит профессор. Теперь это уж для меня не ново, поэтому обращаешь внимание на другие мелочи.

Докладчица говорила относительно поэта Есенина. Должно быть, она косноязычная, поэтому чуть подальше было уж ничего не слышно. Ей кричали: «Ясней читай», но она все так же. Студенты были одеты по-разному. Например, один был в черной рубашке, с широким белым воротником. Таких называют пижонами. Потом другой сидел в тулупе, ему не было жарко. А сосед его даже рубашку от жары расстегнул. Девчата одна перед другой старались быть, как приличней. В середине доклада влетел бронзовый парнишка в очках — с носом, по-

хожим на клюв. Он первым долгом извинился, сел, померил клетчатую кепку соседа, улыбнулся, похлопал по плечу соседку, вытащил блок-нот, высморкался — и все это сразу... И еще он ухитрился в то же самое время расписаться на листе. Потом произошла целая драма ревности. Через проход от этого клювоносого сидела какая-то черненькая в очень короткой юбке. А клювоносый, сверкая очками, все вертелся и поглаживал по голове свою соседку — такую белобрысую девчину, а она хихикала. Наконец, черненькая не выдержала, пересела на скамейку к клювоносому и, прижавшись плечом, стала ему нашептывать. Белобрысая соседка обиделась и уткнулась носом в попугайчик. Потом тихонько протянула руку, утащила у клювоносого лежавшую на скамейке кепку и спрятала под свою папку. Все это было очень смешно, и я не слушал доклада.

26 н о я б р я.

В три дня мы сляпали живую газету и вчера уезжали в подшефную часть. Я думал — путного ничего не выйдет, а оказывается, все-таки получилось. У всех было веселое настроение, но особенно отличился Жорж Стремглавский. Еще когда ехали в трамвае, Жорж на каждом повороте вскакивал, пытался протиснуться на площадку и кричал на весь вагон, что он увидел знакомую.

— Да что, у тебя весь город знакомый, что ли? — спросила, наконец, с досадой одна из девочек.

— А ты, конечно, ревнуешь, Лена? — возразил Жорж. Все захотали. А Лена покраснела, как флаг, и говорит:

— Тебя ревновать — никакой ревности не хватит, и это нужно начинать в университете. А потом поверь, что к тебе никто серьезно не относится, потому что ты непостоянный, легкомысленный парень.

— Это я-то — непостоянный? — закричал Жорж на весь трамвай. — И у тебя хватает духу это говорить. Я в тебя три месяца как фтю, только ты не замечаешь.

— То-есть как это ты в нее три месяца фтю? — спросила другая студентка, которая ехала, как играющая на рояле. — На прошлой неделе ты меня уверял, что ты без меня жить не можешь.

Тут все захотали, не только живгазетчики, но и остальная набитая в трамвае публика. Но Жорж не смутился:

— Да я, братцы, — прокричал он, — во всех влюблен, честное слово, во всех. Разве я виноват, что все девушки мне нравятся?

— Ну, уж это ты врешь, — сказал вдруг густым басом один из наших живгазетчиков, мандолинист Калыгин. — Я знаю, в кого ты понастоящему-то — того-с.

— Ну, в кого, в кого? — стал приставать к нему Жорж.

— В первокурсницу Дубинину, медфачку, — спокойно сказал мандолинист, и Жорж Стремглавский смутился. Впрочем, смутился он не надолго. Но в меня словно молнией ударило: а вдруг это Сильва?

Конечно, могла быть и однофамилица, но я почему-то сразу поверил, что говорится про Сильву, а спросить я сразу не решился.

— Это ты ошибаешься, — говорит между тем Жорж. — У ней уши красные, она их, наверно, отморозила. Скажите, пожалуйста, товарищи, — обратился он ко всему трамваю, — ну, разве можно всерьез влюбиться в девушку с красными ушами?

— А хочешь, Жора, я тебе с синими порекомендую? — спросила Леночка. — Она зато Есенинские стихи декламирует чудесно.

— Нет, спасибо, не надо, — ответил Жорж. — Слазаем, ребята, — объявил он вдруг, и все полезли с трамвая.

Во время живой газеты, которая шла очень весело, я все-таки улучил минуту и спросил Стремглавского с глазу на глаз:

— Скажи, пожалуйста, какая это Дубинина? Как ее зовут?

— То-есть как — как зовут? — спросил, тяжело дыша, Стремглавский. Он переряжался в это время из Чемберлена в деды-раешники. — Тебе на что это надо?

— Мне надо, скажи.

— Вот не ко времени затеял разговор, — с досадой сказал Жорж, ожесточенно прижимая к подбородку седую бороду. — Ну, Дуней ее зовут, вот как зовут. Ты что, ее знаешь, что ли?

— Так это и есть Сильфида, — с равнодушным видом сказал я. — Она моя товарка по школе, и я очень хорошо ее знаю. Правда это, что ты с ней?..

— Да нет, вздор, — ответил Жорж, но было видно, что он опять смутился. — Что ж ты, однако, не гримируешься? Тебе сейчас частушки исполнять.

Частушки я исполнял неохотно: все время сосало на сердце. Но в общем красноармейцы приняли нас очень приветливо.

29 н о я б р я.

Сегодня я минут пятнадцать стерег Сильву у под'езда анатомички, потому что мне не хотелось идти во внутрь. Уже темнело, шел мелкий снежок, а вдоль под'езда анатомички все время расхаживала парочка, и я даже видел, что они за поворотом поцеловались. — «Нашли место», — подумал я с досадой. В это время вышла Сильва. Я с ней поздоровался и сейчас же спросил:

— Скажи, пожалуйста, Сильфида: ты знаешь такого Жоржа Стремглавского?

— Конечно, знаю, кто ж его не знает! — ответила Сильва. — Он очень смешной, везде попевает.

— Он на всех факультетах сразу учится, — сказал я угрюмо. — Какой из него может выйти толк?

— Умора, — засмеялась Сильва. — Ты знаешь, он и в анатомичку приходит — не просто, а работать. Его один профессор тут гонял, а он не унимается.

— А он с тобой... гуляет?

— Что за пошлое слово: гуляет, — возмутилась Сильва. — С какой стати ты стал его употреблять?

— Да ты не увиливай, — обозлился я. — Прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю, а придираешься к словам.

— Прежде всего, что это за тон? — спросила Сильва, и я почувствовал, что она вся насторожилась, а между нами легла какая-то неприятная демаркационная линия. — Кто тебе дал право так разговаривать со мной? Что я, принадлежу тебе, что ли? Ты не забывайся, мой милый Владлен!

— Да ведь ты опять увиливаешь, — сказал я. — Почему ты прямо не хочешь ответить на вопрос: важен для тебя Стремглавский или нет?

— Не желаю я отвечать на такие вопросы, — гордо сказала Сильва.

— Ага, значит, важен. Так и запишем.

— Да почему тебя это так беспокоит? — спросила Сильва. — Что, в конце концов, за безобразие! Я начинаю думать, что ты нездоров. Что, у тебя с общежитием наладилось?

— Ни шиша у меня не наладилось, — угрюмо ответил я и пошел прочь от Сильвы. Я многое ей хотел рассказать, спросить совета о разных случаях жизни, но если она так разговаривает, то у нас не может получиться общего языка. Но, между прочим, Стремглавский врет, что у нее уши отморожены. Я нарочно сегодня смотрел. Уши у нее маленькие и розовые, а вовсе не красные, как уверяет Стремглавский. По-моему, это он нарочно тогда сказал, чтобы отвести всем глаза.

Сильва, наверно, обиделась, но тут уж я ничего поделать не могу: если она хочет гулять со Стремглавским, — пусть гуляет, а я здесь не при чем. Завтра же разыщу Веру.

История Веры

30 ноября.

В Вере соединяется какая-то пронырливость, а с другой стороны — наивность, так что иногда кажется, что она во второй группе второй ступени. На-днях к ней приехала откуда-то с Украины тетка и навезла ей много всякого с'естного. Вера устроила пир, на который пригласила одну свою подругу, Нюрку Кошкину, и меня. Во время пира гляжу — на стене висит карта Китая.

— Что-нибудь понимаешь в китайских событиях? — спрашиваю.

— А как же? — говорит Вера. — Мы обе разбираемся. У нас из-за Китая целая история получилась.

— Расскажи.

— Не рассказывай! — кричит Нюрка.

— Отчего же? — говорит Вера. — Дело прошлое, никому не может быть обидно. Это дело было вот как. Мы с Нюркой повадились

в одно буржуазное кино — там администратор был знакомый; только, впрочем, он вовсе не знакомый, — ну, все равно, одним словом мы по-знакомились...

— Да ты не про это, — перебивает Нюрка, — ты расскажи лучше, как мы с тобой в Китай поехали.

— Погоди, надо все по порядку. Это надо тебе сказать, Рябчик, что мы в прошлом году обе были большие дурынды и любили всякие приключения.

— А сейчас? — спросил я.

— Сейчас мы ученые. Ну, так вот, — значит администратор.

— У него, понимаешь, Костька, — ввернула Нюрка, — такой громадный-громадный нос...

— Да погоди, говорят тебе, Нюрка, перебивать будешь, так до утра не кончу. Но сначала нужно тебе сказать, что мы с ней ходили в МОПР и просились, чтобы нас отправили в Китай на помощь Фын Юй-сяну. Над нами в МОПР'е подтрунивали, но мы не сдавались до тех пор, пока нам категорически не сказали, чтобы мы раньше окончили вуз. Тогда мы обиделись, бросили на некоторое время заниматься и повадились в это самое кино... Нас, знаешь, на картины сажали каждый раз в ложу. Ну, мы, конечно, сидим, как барыни, и лопаем шоколад.

— А шоколад-то откуда же? — спросил я.

— Сказать? — спрашивает Вера.

— Да говори, чего уж, раз начала, — отвечает Нюрка.

— А это мы находили. Как сядем в ложу — так там лежит шоколад. Ну, мы, долго не задумываясь, сейчас же лопаем. Вот, как-то раз мы так сидели, шла картина, как вдруг в ложу кто-то входит и садится сзади нас. — Кто это такое? — спрашиваю Нюрку, а вдруг этот и говорит: — Да, вы, барышни, не бойтесь, я вас не с'ем, я очень добрый, мне даже мама всегда говорит, что я добрый. — Какая еще там мама? — спрашиваю я. — Моя собственная, Гликерия Федульевна. Тут мы обе захохотали, а он говорит: — И потом вообще все знакомые утверждают, что я хороший мальчик. — Когда зажгли свет, мы увидели, что этот «мальчик» был страшно толстый, в нем, по крайней мере, было пудов двадцать весу и сидел он сразу на двух стульях. Нам стало еще смешней, и, когда погасили свет, мы не смотрели на картину, а больше хохотали. По правде говоря, нам сразу стало понятно, что этот тип хочет с нами познакомиться с какими-то темными намерениями. Но только, так как получилась такая неувязка, что нас не пустили в Китай, — мы и пошли на это приключение. А потом, — серьезно говорю, что этот толстый был очень смешной. Правда, он был «Ту-Степ»...

— Что это такое: «Ту-Степ»?..

— А это... видишь ли, у нас с Нюркой в прошлом году еще от второй ступени отрыжка оставалась: охота к приключениям и это. Первый тип мужчины назывался у нас «Генри». Это прежде всего дол-

жен быть красивый, хорошо одетый и вежливый. Второй сорт, — ни то, ни се, — это «Ту-Степ». Он может быть не очень хорошо одет, даже без пробора, но должен уметь разговаривать и не ругаться на каждом шагу. Ну, а третий типаж, это — «Сап». «Сап» может быть какой ему угодно, хоть и хорошо одетый, но только сразу видно, что он «Сап»...

— Трудно поверить, — сказал я, — что вы не буржуазные кисейные барышни, а советские студентки.

— Да ведь это в прошлом году было — на первом курсе, и ты не очень-то ругайся, а то я рассказывать перестану. Ну, так вот, толстый был—Ту-Степ. Когда кончилась картина, он нам говорит:—Хотите посмотреть, как я на автомобиле умею ездить?—Мы отвечаем:—Хотим. А мне и правда было интересно, как это он сядет в автомобиль: а вдруг раздавит. Тут пришли мы на площадь, и он сел в автомобиль с такой желтой полосой по боку. — Ну, теперь садитесь и вы, — говорит. Нюрка хотела сесть, но я ее на этот раз оттащила. А Ту-Степ кричит: — Вы завтра опять приходите в кино, я вам интересные фокусы покажу. — И уехал. Пришли мы с Нюркой домой, вот сюда, и я ее начала отчитывать, что она хотела в автомобиль сесть.

— Ну, уж это ты врешь, — говорит Нюрка, — ты привязалась не за автомобиль, а что у меня были перчатки рваные.

— Ну, все равно, — за перчатки. Только мы долго спорили, ответствен ли автомобиль идеологии. Нам обоим очень-очень хотелось прокатиться, потому что мы никогда не ездили. — А что он нам сделает? — говорит Нюрка. — Я его не боюсь и следующий раз будет звать — поеду. Так ни на чем и не решили. Дня через два пошли мы с Нюркой опять в ту же кинушку, администратор нас провел, и видим мы, что этот Ту-Степ уже сидит в ложе, и опять на двух стульях. И потом еще в ложе был какой-то рыжий-красный-конопатый, который плохо говорил по-русски. Мы спросили толстого, кто это такое, а он отвечает: Это мой переводчик. «Переводчик» сначала показался нам в роде слуги, потому что он все время бегал в буфет — то за шоколадом, то за ситром. Ситра мы с Нюркой выдули три бутылки. Потом «Переводчик» притащил еще, но мы уж больше не могли, и ситро там так и осталось. Потом опять вышли на площадь, и Ту-Степ спрашивает:—Что ж, сегодня-то поедете?—Тут меня взяла какая-то смелость, и я впрыгнула в автомобиль, а за мной — Нюрка. Автомобиль понесся, — ух! Мы долго ездили, так что даже обе замерзли. Тогда Ту-Степ сказал: — Ну, теперь греться. — И тут приехали мы в ресторан.

— Дуры вы, все-таки, обе стоеросовые, — сказал я. — Как же вы не догадались, что это был нэпман, а «Переводчик» — какой-нибудь шпион или разведчик? Потом я не понимаю: все, как попадут в вуз, сразу становятся серьезней, а вы как девочки.

— Это потому, что нас в Китай не пустили, нас зло взяло. В ресторане нам дали для согрешки какого-то горячего вина. Я стала пить, но заметила, что «Переводчик» все время что-то шепчется со слугами. — Если он еще будет шептаться, — говорю я, — то мы сейчас

же уйдем. Тут Ту-Степ сделал таинственный вид и говорит:—Вы не должны на него обижаться, потому что он во время революции потерял в России двадцать семь сыновей, дочерей, племянников, теток, не считая мелких детей, и с тех пор все время их разыскивает. Он даже на этом слегка помешался. Тут Переводчик закатил глаза, и у него полились слезы. — Как, старик, все не можешь забыть?—спрашивает Ту-Степ.— Не могу, — отвечает Переводчик. — Как вспомню, так живот болит.—И еще пуще заливается.

— Да ведь они вас разыгрывали, — говорю я.

— Конечно, бузотерили, — ответила Вера, — но только все это было очень смешно. — Ну, когда ты так расстроился, надо тебе чего-нибудь выпить успокоительного, — говорит Ту-Степ. — Эй, товарищи, члены профсоюза Нарпита, дайте ему скорей, да и нам кстати, успокоительных валериановых капель с датского корабля.—Тут подали очень много разных бутылок, а мне уже раньше сделалось беспричинно весело и как-то все равно.

— Просто, ты запьянела, — говорит Нюрка.

— С чего же я могла запьянеть?

— А вот, с горячего вина. Я-то сразу заметила, что ты запьянела.

— Ну, может, ты и заметила, а я нет.—Все-таки я не захотела больше пить, вскочила и тяну за собой Нюрку. Тут вдруг Переводчик побледнел, откинулся на спинку стула и тяжело задышал. — Вот видите, — говорит Ту-Степ, — что вы с ним наделали? Я забыл вам сказать, что он при взгляде на вас вспомнил своих потерянных дочерей. Особенно вы, — показывает на меня, — напомнили ему одну из них... погоди-ка, как ее: Аграфена, что ли? — Бакутриана, — хрипит Переводчик и страшно вращает глазами. Тут я даже немножко испугалась и решила чуть-чуть посидеть, чтобы он отошел. Тогда он отчасти оправился и говорит: — Семь их было у меня... Семь красавиц, как на подбор... Однолетки. — Как же их звали? — спрашивает Нюрка, которая тоже разжалобилась. — А звали их так: самая красивая—Бакутриана, потом шли Корделия, Гондериля, Регана, Настурция. А самых младших... любимых моих... деточек... дочурочек: Шехерезада и Сапега.

— Здорово ты запомнила, — говорю я.

— Я все тогдашнее помню, как на экране. — Так вот, — продолжает Ту-Степ,—Шехерезадочка очень любила играть в серсо, Корделия упражнялась на биллиарде, Регана ездила верхом. А Бакутриана любила выпить. Так как вы мне ее напомнили,—выпьем успокоительного.—Тут мы все выпили какого-то сладкого вина, а толстый Ту-Степ говорит Переводчику: — Теперь ты, Дед, должен еще рассказать про тетю Колумбарю. Он ее тоже потерял во время революции, — пояснил Ту-Степ.—Ах, тетя Колумбария! Это было что-нибудь особенное! Таких тетя никто никогда не видал с самого сотворения мира. Представьте себе, она получала сто двадцать два академических пайка!—Тут Переводчик опять заревел.—И половину этих пайков... она отдавала мне, своему любимому племяннику. — А что ты давал ей за это? — строго спросил

Ту-Степ.—Я ей приносил мятные лепешечки,—ответил Переводчик.—Старушка жить не могла без мятных лепешечек. А тогда часто нельзя было достать сахарину, а не то что мятных лепешечек. Ну так вот я ей их доставал.—Откуда же ты их брал?—еще строже спрашивает Ту-Степ.—Я их воровал в аптеке,—опустив глаза, ответил Переводчик.—Значит, ты обкрадывал государство?—спрашивает Ту-Степ.—Но ведь зато я отапливал аптеку своими собственными дровами!—воскликнул Переводчик.—Почему же, однако, тетка Колумбария так любила мятные лепешки?—спросил Ту-Степ.—Это странно.—Ничего странного нет,—ответил Переводчик, всхлипнув.—Ей, бедняжке, вечно хотелось пить. Она так и говорила, покойница: У меня во рту точно Ниагарская пустыня. Выпьем в ее память шампанского.—Выпить, конечно, можно,—говорит Ту-Степ,—только странно, что ты ее зачислил в покойницы. По моим расчетам она должна быть жива.—Вот такими прибаутками они нас с Нюркой заставляли все пить и пить, пока мы окончательно не запьянели. После этого все стало как в тумане, и они нас куда-то повезли. На следующее утро просыпаюсь я вот на этой самой койке одетая, и к кофточке приколата какая-то брошка, какой раньше не было. Тут все девчата стали приставать, откуда у меня эта брошка, а я и сама не знала. Все бы это так и кончилось, но девчата стали нас с Нюркой уверять, что мы, когда ночью явились в общежитие, то в коридоре очень кричали. А когда явился кто-то из тройки содействия, то мы будто бы кричали:—Мы не часто бываем такими, как сегодня, поэтому делаем то, что хотим!—Тут нам с Нюркой стало так совестно, что мы сейчас же удрали из общежития и решили больше сюда не возвращаться. Ходили мы с ней, ходили по улицам, а что делать и куда идти,—не знаем. А тут еще зашли в университет, так там нас встретила цеховой секретарь (она в этом же общежитии живет) и говорит:—Хороши девочки! Где это вы так нализались?—Мы прямо чуть со стыда не сгорели с Нюркой—и опять на улицу. Так шлындали до вечера, а вечером—опять в то же кино. А там уж сидят Ту-Степ вместе с Переводчиком и разговаривают с администратором, на нас смотрят и смеются.—Хотите вместе с нами в Китай ехать?—спрашивает Ту-Степ. А это мы, должно быть, им накануне проговорились, что хотим ехать в Китай. Ну, мы сначала отнекивались, потом согласились. И, верно, поехали мы на вокзал вместе с ними, приезжаем. Переводчик пошел брать билеты, а мы с Нюркой пошли в дамскую уборную. Идем, а вдруг навстречу знакомый Нюркин машинист...

— У меня отец машинист, — встала Нюрка, — поэтому меня многие машинисты знают.

— Да, — продолжала Вера. — Ты куда это, Нюрка, собралась? — спрашивает машинист. — В Китай, — отвечает Нюрка, — вот с ней вместе, — и показывает на меня. — В командировку? — Нет. — Тогда по какому же случаю? — А мы из общежития удрали. — Стой-стой-стой, — говорит машинист, — тут дело неладным пахнет. — Идите-ка

обе со мной. Привел он нас в машинистскую базу, а там много народу и все мазаные, как черти. — Вот, говорит, две шилохвости в Китай собрались ехать. Рассказывайте все начистоту. — Мы только подтвердили, что мы не хотим возвращаться в общежитие, а про остальное все промолчали. — Ну, этот ваш номер не пройдет, — говорит машинист, — никуда я вас не отпущу, и сейчас отправлю обратно в общежитие. — А мы сказали, что все равно мы не поедем ни в какое общежитие. — А коли так, — так я с вами буду разговаривать по-другому. Маслов, присмотри-ка за ними. — Ушел и через пять минут приводит какого-то парня с револьвером и в зеленых кантиках. — Как ты есть агент ТООГПУ, — говорит, — то ты мне за них отвечаешь. А как ты не на дежурстве, то изволь сей же минут в ударном порядке, в общем и целом целиком и полностью, доставить их в общежитие под расписку коменданту. При попытке бежать — ты в них стреляй. — Тут мы обе струсили до полусмерти. У меня руки и ноги сделались, как неживые. А Нюрка довольно храбро отвечает: — Мы есть вузовки по отделению Совправа и, к тому же, обе стипки, поэтому вы за нас отвечаете и стрелять в нас не смеее. — Тут все они захохотали, а агент говорит: — Так и быть, стрелять не буду, но вы, девчата, слушайте меня беспрекословно, как отделенного командира или товарища Буденного. Шагом марш! — Пришли мы с ним в общежитие, комендант сейчас же созвал тройку содействия. Тройка содействия спрашивает: — Вы что же, на самом деле не хотите здесь жить? — Мы обе говорим, что не хотим. Ну, нас все-таки на ту ночь водворили в эту самую комнату, где мы сейчас сидим. Но история стала сейчас же всем известна, и мы с Нюркой посоветовались и решили все-таки удрать.

— Но с какой же все-таки стати? — спросил я.

— А как же, над нами все смеются, даже песенку сложили:

Советские студентки
Поехали в Китай,
Да только в ресторанчик
Попали невзначай.

Я засмеялся.

— Вот и ты теперь смеешься, — заметила Вера. — А нам тогда вовсе было не до смеху. Мы и удрали.

— Куда же?

— Мы у одной тетки поселились в «Грязной Слободе».

— Что же вы там делали?

— Мы сначала не ходили в университет, а потом пришлось итти — за стипендией. Там на нас набросились подруги по комнате. Потом выследили, где мы живем, и на следующее утро к нам заявляется целый трибунал. Как принялись они нас отчитывать. И что мы не общественницы, и что мы недостойны звания студенток, и что пора сбросить с себя всякие мещанские привычки. Мы обозлились еще хуже, но тут один парень сумел-таки нас пронять. Он сказал, что если мы и впали в уклон, то это еще ничего, только не следует себе из этого уклона

создавать фетиш. — Вы, — говорит, — понимаете сами, что с вами случилось скверное, и себя за это казните. Это хорошо, что вы так относитесь, с такой критикой, к своим проступкам. Но из этого еще не следует, чтобы вы носились со своими проступками, как бабы с яблоками от милиционеров. Все бы уже давно забыли про ваши похождения, если бы вы сами этому не препятствовали. — Чем же мы препятствуем? — спросила я этого парня. — Да всем своим поведением, — сказал этот парень. — Вот вы уехали. Само собой разумеется, что все болтают: почему они уехали, здесь пища для разговоров находится. А если бы вы взглянули на все деловым образом, то вы остались бы жить в общежитии, и никто бы об этом не говорил. — Так он нам доказал логически, что уезжать было нельзя, и мы с Нюркой переехали в общежитие обратно.

— Так все и обошлось?

— Обошлось, только тройка содействия нам поставила на вид, что если мы еще раз повторим такую штуку, то лишимся и общежития и стипендии.

— Конечно, правильно, — сказал я, — много народу чорт знает где ночует, а две взбалмошных вертихвостки себе позволяют такую гадость. Я бы просто вас выгнал вон без всякого возврата.

— Это ты только так говоришь, — ответила Вера. — Ты ведь не забывай, что с нами ужас что делалось. Эта тетка, у которой мы поселились, стала приставать к нам, что она нас хочет познакомить с какими-то «вполне приличными денежными кавалерами», и мы хорошо понимали, что это скользкая дорожка, на которую мы становимся. Мы с Нюркой приходили ночью сюда в общежитие и в коридоре ревели. Один раз до утра проревели. Мы были такие дуры, что хотели прямо поступить в проститутки и думали, что мы это сделаем принципиально, а когда вернулись в общежитие, — весь этот туман рассеялся. А когда над нами смеялись, — мы сами хохотали вместе с ними. Так все это кончилось.

1 декабря.

Произошла неприятная история, так что мне, должно быть, не придется больше ночевать в «Можайке». Дело было вот как:

Сегодня вечером, когда все пришли с занятий, вдруг опять за стеной раздаются болезненные крики. Тогда я встал и говорю карелу:

— Вайма, пойдём.

— Эй, ребята, лучше не ходите, — говорит Корсунцев.

Но Вайма взял зачем-то с собой швабру, и мы двинулись. Я вышел в коридор и постучался в дверь к Петрову. Там сразу замолчали, потом мужской голос спрашивает:

— Кто?

— Соседи, — отвечаю я.

— Что вам нужно? — спрашивают из-за двери. При этом слышно, что Петров подошел и стал у самой двери.

— Что у вас за крики? — спрашиваю я.

— А вам какое дело? Вас это не касается.

— Нет, касается. Если эти крики не прекратятся, я отправлюсь в отделение.

— Да кто это такой? — спрашивает Петров и распахивает дверь. — Хотел бы я знать, что это за новые порядки? Вламывается какой-то скот и начинает распоряжаться.

— В морда, в морда дай, Рябцев, — говорит сзади Вайма и выставил швабру вперед, как копьё.

— Нет, ты это кончи, товарищ Петров, — говорю я. — Иначе плохо будет.

— Посмотрим, кому раньше плохо будет, — отвечает Петров. — Я вот сейчас схожу к коменданту и выясню, кто ты такой. Как-будто тебя раньше здесь в общежитии и не было.

Тут он рванулся было по коридору, но Вайма подставил швабру, а Петров в темноте не заметил, зацепился и трахнулся на пол.

— А, еще и очки разбились, — зарычал он, шаря по полу. — Ну, хорошо же... хорошо же...

И побежал по коридору. Тут только я заметил, что из нашей комнаты высыпали все ребята — и смотрят. В это время жена Петрова, которая до сих пор пряталась, вдруг выходит к двери и говорит плачущим голосом:

— Ну, чего вы лезете не в свое дело, ну, чего? Вас еще не спрашивали!

— Вы, товарищ, как сознательная вузовка, — сказал я, — должны соблюдать свои права, а не допускать мужа до мордобойства.

— А! Убирайтесь вы все к чорту! — воскликнула жена Петрова и захлопнула дверь перед самым моим носом.

— Ну, что взял, Рябцев? — спрашивает насмешливым голосом Корсунцев. — Теперь она ото всего отречется, и ты же первый останешься в дураках.

В это время по коридору сыпет комендант. Сзади него, словно слепой, ковыляет Петров и кричит:

— Вот эти вот самые произвели нападение на мою комнату!

Пришлось мне идти в канцелярию и там давать объяснения. Вернулся я оттуда только сейчас с предписанием завтра же утром покинуть общежитие. И, кроме того, Петров грозился подать в народный.

Корсунцев, хотя и не спит, отвернулся и со мной не разговаривает. Ну, и чорт с ним совсем. Я в нем разочаровался.

З д е к а б р я .

Теперь я пишу уже на новом месте, а именно в том общежитии, где живет Ванька Петухов. Здесь свободной койки нет, поэтому я ночую на полу. Конечно, я Ваньке всю историю, происшедшую со мной в «Можайке», рассказал. Ванька и говорит:

— Что ты вмешался в это поганое дело — это, конечно, ничего; так и следовало. Но вот то, что ты никак не можешь найти себе твердой базы и из-за этого страдает твоя общественная установка, — это плохо. Ты как можно скорей добивайся общезнания, а то ведь от нас тоже могут попросить.

Рядом с Ванькой, на соседней койке, живет один тип, с которым Ванька постоянно ругается и называет его «Быком». Бык тоже учится в инстнархозе, только, как мне кажется, больше думает о своих мускулах, чем об народном хозяйстве. По крайней мере, я его ни разу не видел с книгой в руках; зато каждое утро он перед всей компанией хвастается своими бицепсами.

— Захочу, — говорит, — любого из вас через крышу переброшу.

— А что ты этим докажешь? — спрашивает Ванька.

— То и докажу.

Потом у него на языке постоянно какой-то «принц Умбалла», он, должно быть, что-нибудь читал про этого принца или видел в кино. По крайней мере, достаточно этому Быку увидеть какой бы то ни было пустяк, — он сейчас же приплетает «принца». А из всех глаголов Бык, кажется, знает только один, а именно: «вкалывать». Если его, например, спросить, когда он по утрам делает гимнастику:

— Бык, что делаешь?

Он обязательно ответит:

— Видишь, вкалываю, — и добавит: — мускулы-то — видишь? Все равно, что у принца Умбаллы.

Некоторые так и зовут его: «Принц Умбалла».

С другой стороны Ванькиной койки живет один парень, который участвовал в партизанском движении. Он постоянно ходит в буденновке и когда приходит домой, то аккуратно ее расправляет и вешает на гвоздь. Этот парень совершенно неразговорчивый; от него слова не выжмешь и мне кажется, что он на всех нас смотрит отчасти с презрением. Хотя что ж тут задаваться? Если бы пришлось — и я бы участвовал в гражданской войне, и это уж мое несчастье, что не пришлось. Только один раз я слышал довольно характерную для этого парня фразу. Мы с Ванькой и с ним шли по улице, и нам навстречу попалось много разряженных толстых буржуев и буржоек. Партизан остановился на углу, сверкнул глазами и говорит нам с Ванькой:

— Эх, пулеметик бы сюда!

Тогда Ванька строго на него посмотрел и говорит:

— Не диалектически мыслишь. В мирной жизни пулеметы совершенно не обязательны.

Партизан сразу осекся и замолчал. Интересно, что этому Партизану уже под тридцать лет, то-есть он гораздо старше нас с Ванькой: а, между тем, он очень внимательно прислушивается к Ванькиным словам. Я это еще на фабрике заметил, что Ваньку слушают люди значительно его старше. Из всей этой комнаты не считается с Ванькой, пожалуй, один Бык.

Сейчас, кроме занятий в институте, Ванька сидит над первым томом «Капитала». Я тоже прочел несколько страничек из середины: очень интересно, только трудно читается.

5 д е к а б р я.

Еще нет недели, как я живу в Ванькином общежитии, а уже имел случай наблюдать одну интересную историю. Бык обыкновенно приходит домой очень поздно, и над ним звонят:

— Эй, Бычок, с какой коровкой гулял? С рыжей или с черной?

Бык в ответ матерится, а его еще пуще донимают, при чем довольно похабно разбирают качества той девчины, которая, по их мнению, гуляет с Быком. Вообще, было очень легкое отношение.

Но Ванька последние дни все шушукался с Партизаном и сегодня, когда все легли, Ванька дождался прихода Быка и говорит ему:

— А знаешь, приятель, ты того... не слишком ли многих баб щупаешь?

— Тебе-то какое дело? — бормочет Бык. — Многих — не многих... Ты что, от угрозыска вкалываешь, что ли?

— Ребята, — говорит Ванька, — такие дела касаются угрозыска, или также могут задевать всех нас, — как по-вашему?

Кто-то из ребят сказал, что в другом общежитии одного парня за попытку изнасилования уборщицы выставили вон.

— Ну вот, — говорит Ванька, — значит, не телько угрозыск может в такое дело вмешаться.

— Какой принц Умбалла, подумаешь, — сказал тут Бык и весь побагровел, — вот дам один раз по сопатке, — тогда узнаешь, как вмешиваться в чужие дела...

— Ну, брат, твои бицепсы меня не испугают, — говорит Ванька. — Так или иначе, ребята, — за ним числятся некоторые поступочки. Ничего не имеете против, если мы об этих поступочках поговорим?

Бык вдруг сорвался с койки, надел штаны и выскочил в коридор.

— Во как проняло, — говорит Ванька со смехом. — Ну сейчас, ребята, давайте спать: мы его лучше накроем в праздник, тогда не убежит.

Потом, когда я вышел в коридор, Бык ко мне подходит и говорит:

— Ты, кажется, парень хороший, так вот, — передай своему приятелю, что если будет суд, то я ему голову на спину выверну. А ливольверта я не боюсь, так ему и скажи. Какой еще принц Умбалла нашелся. Комса сопливая.

— А я тебе по-товарищески посоветую, — ответил я, — что ты его лучше не трогай. Он ведь такой, я его давно знаю: убьет, и не поперхнетя.

— Ну, это мы еще посмотрим, кто кого убьет, — сказал Бык. — Ты ему все-таки передай.

Он схватил из угла кочергу и согнул ее, словно ветку бузины.

— Видал? — спросил он меня.

— Ну, так что ж.

— А то, что я его так же скручу.

После этого я спросил Ваньку:

— А что он такое проделывает, что ты собираешься устроить суд?

— Студенток портит. Такая славная была одна деваха—с рабфака она. Ну, этот хлюст сделал ей ребенка, а теперь и смотреть на нее не хочет. Она осталась одна, помощи никакой, и ребенок. Конечно, с него алиментов не взыщешь, потому что с госстипендии не полагается, но все-таки тем или иным путем такое хамство надо прекратить. Тем более, что это для него своего рода спорт: за год пребывания в институте он уже с троими жил, оказывается.

— Странно, что он занимается гимнастикой, — сказал я. — Я раньше думал, что у этих ребят половая энергия переключается на более дельную.

— Да, вот под ж ты, я сам так думал. А оказывается — не у всех так.

10 декабря.

Сегодня к Быку пришел гость. Сначала он сидел ко мне спиной и я его не узнал. Он долго о чем-то совещался с Быком. Потом пришел Ванька и с ним какая-то девчина. Когда Бык ее увидел, то сказал своему товарищу:

— Так, значит, пойдем.

— Нет, погоди уходить, — сказал Ванька. — Нам с тобой поговорить надо.

— Я с тобой и говорить-то не хочу, — затряс головой Бык.

— Не хочешь, а придется, — загородил ему Ванька дорогу. — Ты лучше садись, а то стоя разговаривать неудобно.

Тут гость обернулся, и я узнал Корсунцева. Он сделал вид, что меня не узнал.

— Пошел ты к чорту!—крикнул Бык и хотел прорваться к двери. Не тут-то было: Партизан загородил ему дорогу.

— Садись, говорят, — а то хуже будет.

— Это что ж, товарищи, за принц Умбалла? — обратился Бык ко всем. — Это только милицейские могут так вкалывать. Что ж это будет?

— Ничего особенного не будет, — говорит Ванька. — Садись и слушай.

Тут вдруг эта девчина, с которой Ванька пришел, вскочила и прошептала:

— 'Я не могу, я не могу, пустите, я пойду!

Ее никто не удерживал и она ушла.

— Ну, вот какая вещь, — говорит Ванька Быку, — вся наша комната обвиняет тебя в том, что ты не по-товарищески обходишься со своими женами. Фактов я приводить не буду, ты их и сам знаешь, но ты должен так или иначе реагировать на наш запрос. Скажи, пожа-

луйста, ты признаешь свое поведение нормальным и отвечающим званию пролетарского студента?

Корсунцев тогда очень вежливо говорит:

— Я хоть и посторонний здесь человек, но должен вмешаться в это дело. Скажите, пожалуйста, товарищи, разве у вас принято вмешиваться в личную жизнь других? По-моему, это все равно, что в чужой карман залезать.

— А это что же, — правозаступник твой, что ли? — спрашивает Ванька Быка. — Сам разве не умеешь говорить?

— Нет, пускай он сначала вкалывает, — говорит Бык, — а потом уж я.

— Ну, ладно, — усмехнулся Ванька. — Слово предоставляется правозаступнику.

— Недурненькое отношение к товарищу по комнате, — говорит тогда Корсунцев. — Насмешка — не доказательство. Я хотел бы вот этому марксисту, — и показывает на Ваньку, — напомнить одно место из сочинений Фридриха Энгельса, если он его, конечно, читал. В «Принципах коммунизма» прямо говорится, что личные половые отношения касаются только двоих участвующих, и обществу тут нечего вмешиваться. И, по-моему, Энгельс тут совершенно прав: здоровая марксистская мораль и не может судить иначе. Всякое вмешательство в подобных случаях есть стопроцентное мещанство. Ну, да, Григорий, — он показал на Быка, — виноват в том, что он не платит алиментов. Но сообразите сами, откуда он возьмет эти самые алименты? Вам известно, что он сирота...

— Казанская, — ввернул Ванька.

— Опять недопустимая насмешка, — продолжал Корсунцев, — но меня этим не собьете, дорогие товарищи. Так вот, ясно: алиментов платить он не может, и тогда о чем же разговор? Коммунистическая мораль говорит совершенно ясно, что дело касается только двоих.

— Кончил? — спросил Ванька.

— Пока кончил.

— Только двоих?

— Только двоих.

— Ну, а если дело касается, скажем, пятерых? — спросил, упершись в бока, Ванька.

— Каких еще пятерых? — заорал Бык.

— Считать по пальцам умеешь? — сказал Ванька и стал по очереди загибать пальцы. — Ты — первый, охотно отдаю тебе пальму первенства, Соня, которая сейчас была здесь, — вторая, Сонин ребенок — третий, а про Алексееву и Клюгину забыл? — вот и все пять пальцев налицо.

Корсунцев смутился, но не надолго, — и говорит:

— Как бы то ни было, я все-таки этого вмешательства не понимаю. Если нарушены советские законы, то нужно обращаться в суд. А такое вмешательство может только вызвать напряженные отноше-

ния между товарищами, которые приведут к тяжелой атмосфере в общезитии.

— Вот что, друг ситный, — сказал Ванька, — ты и не замечаешь, как сам себя бьешь. Ты, значит, против вмешательства в чужие дела?

— Категорически против.

— Тогда зачем же ты сам-то вмешиваешься? Пришел неведомо откуда, влез в разговор, взял на себя роль правозаступника — что это, скажешь, — не вмешательство?

— Трогай-ка отсюда подобру поздорову, — сказал вдруг Партизан, кладя Корсунцеву руку на плечо. — Мы и без тебя управимся.

Корсунцев хотел что-то ответить, но, осмотревшись кругом, понял, должно быть, что сочувствие не на его стороне, схватил свою шапку и пальто и быстро вышел из комнаты.

— Один отступил, — сказал смеясь Ванька. — А с тобой, приятель, мы быстро управимся.

Бык опустил глаза, покраснел и развел руками.

— Тебе одному против нас не отвертеться, — продолжал Ванька. — У тебя язык не к тому месту привешен. Что вы скажете, товарищи, — обратился Ванька ко всем остальным, — на такое мое предложение? Это тип должен дать нам здесь слово, что, во-первых, живя в общезитии, он ни на какие авантурные романы больше не пойдет, во-вторых, своей жене, от которой у него ребенок, будет выплачивать пятерку в месяц из стипендии. Больше с него взять нечего. А оставаться в общезитии он может только под этими двумя условиями. Ежели не согласен — пусть выкатывается вон. В противном случае мы примем меры. Согласны, товарищи?

Все согласились.

— Приходится дать слово, — сказал угрюмо Бык, оделся и ушел.

— Только позорит звание вузовца, — сказал Ванька. — Вот оно где, мещанство-то.

— Почему мещанство? — спросил я.

— А как же это еще назвать? Мещанство получается тогда, когда количество переходит в качество. Это — остановка внутреннего роста. Бицепсы у него растут, а умственный горизонт не расширяется.

(Продолжение следует.)

Новая скрижаль

Р о м а н

ПАНТ. РОМАНОВ

(Продолжение¹)

XXXI

В их жизни началась совершенно новая полоса. Было что-то непривычное, необыкновенное в сознании, что между двумя людьми может быть п о л н а я правда, что можно своему близкому человеку говорить в с е, не видеть в нем собственника, который претендует на всего тебя целиком и, при малейшем твоём уклонении с этого пути, пред'явит свои права. Уже целый месяц их жизнь была без малейшего облачка.

Сергей увидел как бы нового человека, д р у г а, товарища, который принимает его целиком, как он есть, со всем хорошим и дурным, что есть в душе человека, хотя бы и невысказанного.

И для Сергея было дорого, что есть человек, которому можно высказывать это невысказанное. Необыкновенно и дорого было сознание, что есть человек, перед которым он может смело раскрывать самые отдаленные, неясные ему самому темные уголки своей внутренней жизни.

Они говорили обо всем, но чаще всего Людмила сводила разговор к тому, что расспрашивала его о любви и об отношениях к женщине, были ли у него женщины, кроме нее, что он чувствовал, и не приходят ли ему теперь мимолетные желания при виде других женщин.

И Сергей, радуясь, что можно говорить все, рассказывал ей, что у него в этом отношении непонятная вещь: ему приятно общение с каждой женщиной, не в грубом, конечно, смысле, а в чисто человеческом, при чем какая-то доля мужского чувства все-таки у него есть.

— Даже когда ты любишь меня?

— Да.

¹) См. «Новый Мир», №№ 1—3 с. г.

— Как странно, — сказала Людмила таким тоном, как-будто ей сообщили просто интересную вещь, не причиняющую ей никакой боли.

— Мне кажется все-таки, что наша психика перестраивается благодаря общей перестройке жизни и не может, конечно, остаться такою, какой она была, когда условия жизни были совершенно другие. Это неизбежно. И в этой области, может быть, назревают отношения совершенно другие. Ведь если бы мы позволили себе поступать так, как мы где-то тайне чувствуем, чего мы хотим иногда, наша жизнь теперешняя получила бы совсем иную физиономию, иное устройство. Но мы слишком боимся отойти от старого, чем жили наши отцы и деды, и если в одной области мы это разрушили, то в другой осталась целиком внутренняя боязнь, несмотря на внешний бунт.

— Но у тебя такие желания, такие настроения мимолетны? Тебе не хочется их продолжить? — спросила Людмила, — вот хотя бы с той девушкой, Эммой?

— Нисколько. Когда я прихожу туда, где много народа, много молодых женщин, девушек, я просто чувствую какое-то внутреннее общение с ними, как и вообще с массой. Только оно окрашивается легкой беспредметной влюбленностью и радостью. И если я подхожу к какой-нибудь одной, то у меня продолжает оставаться это неопределенное радостное ощущение близости, душевного слияния со всеми. Ведь у меня очень чистое отношение к женщине. Мне кажется, ваше христианство принесло человечеству ничем непоправимый вред, оно оклеветало, облило грязью самое возвышенное чувство человека, из которого рождается поэзия, радость и всякое творческое движение. И даже у нас, у самых неверующих, осталось навсегда отношение к любви, как к чему-то непристойному. Редкий мужчина, когда заходит разговор о женщине, не улыбнется скверной, двусмысленной улыбкой. И я тебе скажу, что наша распущенная молодежь, которая смотрит на любовь слишком примитивно, все-таки в тысячу раз чище (в целом) тех ханжей, которые стремятся оберегать нравственность и негодуют на современную распущенность. У молодежи совсем нет представления об этих отношениях, как о грехе, как о скверне, а это самое главное. Все остальное придет.

— Как это странно... — задумчиво сказала Людмила, и ее лоб наморщился от какой-то трудной мысли, как-будто она что-то не могла себе уяснить, что-то примирить. — Так что по-твоему нет ничего... ужасного... преступного, если ты, под влиянием какого-нибудь порыва или жалости, отвечаешь иногда своему случаю мимолетному... чувству, когда оно тебя захватывает какую-то одной стороной, или под влиянием какого-нибудь потрясения и ты... поддаешься этому, — выговорила она с каким-то усилием.

— Вообще, в этом нет ничего ужасного, а преступного — тем более. Пора отвыкнуть от мистического ужаса в этих вещах. Ведь, в конце концов, ты сама отвечаешь за себя.

Людмила, ждавшая его ответа с каким-то напряжением, как-будто она боялась, что ответ его будет не такой, какой ей хотелось услышать, вдруг крепко, благодарно, молча обняла Сергея за шею, как она иногда это делала, и всей силой прижалась к его груди.

Эти разговоры были для них самыми приятными.

Но про себя Людмила почти ничего не рассказывала, а если Сергей спрашивал про ее прежние отношения, то она отвечала как-то мимоходом. Все сводилось к тому, что до Сергея она никого не любила.

Ее отношения с Бехом резко изменились.

Когда он на другой день позвонил по телефону, она испуганно замахала Сергею рукой, показывая, что ее нет дома.

— Я сейчас не могу его видеть, он мне неприятен, — сказала она.

Но через несколько дней Бех все-таки пришел. Людмила была с ним совершенно другою, чем раньше.

Она с ним стала нервна, раздражительна, нетерпелива. Все, что ни говорил Бех, вызывало у нее протест. Когда он начинал доказывать, она вовсе замолкала и отвертывалась. А он, если Сергей в это время выходил в другую комнату, подходил к ней и тревожно, умоляюще спрашивал, что с ней. Почему такая перемена?

Когда она слышала его шаги в передней, по ней как бы проходила судорога и сейчас же исчезала ее простая и естественная манера обращения.

У Бега был грустный, покорный вид, он приходил, был попрежнему до последней степени внимателен, один раз Сергей, войдя неожиданно в комнату, — при чем Людмила и Бех замолчали, — увидел, что глаза Бега мокрые.

И вот, когда Бех приходил таким — печальным и грустно-покорным, точно у него было неизлечимое горе или потеря,— Людмила, после его ухода, подолгу сидела неподвижно на диване, иногда вставала, сделав руками жест отчаяния, долго нервно ходила по комнате и сжимала голову руками.

Однажды Сергей спросил ее, в чем дело.

Она, вздрогнув, так как не слышала, когда он вошел в комнату, испуганно взглянула на него, как взглядывает человек, погруженный в свои мысли и не видевший, что тут рядом кто-то другой. Она даже несколько секунд смотрела на Сергея испуганным взглядом, потом, видимо, успокоившись и приняв другое выражение, сказала с усталым видом:

— Я не хотела тебя... посвящать во все это. Но раз ты спрашиваешь, между нами ничего не должно быть невысказанного.

Она с выражением боли закусила губы, потом, сделав по своей привычке энергическое движение головой и, глядя Сергею прямо в глаза, продолжала:

— Я тебе рассказывала, что Бех несколько лет тому назад... интересовался мною, но я... не пошла на то, чтобы быть легкой игрушкой. Теперь он, встретив меня, стал умолять только о том, чтобы я позво-

лила ему быть самым преданным моим другом, что он будет таить в себе, как редкое сокровище, свою любовь ко мне и никогда ни одним словом не намекнет мне на нее. Но я должна знать, что каждая минута его жизни принадлежит мне, что ни одна женщина в мире не существует для него, кроме меня, что я для него свет и смысл жизни, что когда он только видит меня, у него вырастают новые силы и, наоборот, когда он меня не видит, у него пропадает всякое желание жить, он чувствует, что можно дойти до преступления, до самого последнего падения, до уничтожения себя.

— Словом, это та сила любви, о которой ты так часто говоришь, — сказал Сергей.

— Да, — ответила торопливо Людмила, как бы боясь останавливаться на этой мысли. — И вот, когда я сошлась с тобой, я, чувствуя себя защищенной, позволила быть ему моим другом. Но... тут началась новая трагедия: он страдает от того, что я принадлежу другому... тебе... Когда он покоряется своей судьбе и проявляет только бескорыстную любовь ко мне, все мирно, я к нему... хорошо отношусь, но, когда он начинает меня на коленях умолять, он становится противен мне.

Она опять содрогнулась плечами и некоторое время молчала, закусив губы.

— И когда ты... уехал, не простившись со мной, на завод, он опять начал умолять меня, и... и мне противно теперь его присутствие. У меня были... — я уже говорила тебе об этом, — мысли о том, что рядом со мной исключительная, преданная мне любовь, любовь, которую я могла проверить уже целыми годами, И есть ли... будет ли в этом и з м е н а моему чему-то самому высшему, если я уступлю ему. Хотя я не люблю его, но ради его большой любви... ведь всегда может быть... порыв жалости к нему и протеста по отношению к тебе. Тем более, что ты никак не ценил то, что я отдала тебе всю свою душу, что я готова была исчезнуть в тебе, раствориться совсем.

Она опять остановилась. Провела языком по пересохшим от волнения губам и продолжала:

— И я... была очень близка к тому, чтобы... Но ты приехал, наши души открылись... в новой правде, и я почувствовала, что от меня отошло навождение, что я очистилась от мыслей, которые я, честное слово, считаю т е п е р ь навождением каким-то.

И когда Сергей сейчас вспоминал весь этот разговор, ему была понятна и ясна в нем каждая мелочь. Тогда же он ничего не видел в нем кроме того, что Людмила г о в о р и л а.

Результатом примирения и новых отношений, основанных на полной правде, было то, что, с одной стороны, Людмила теперь боялась стеснять Сергея, она не спрашивала, куда он уходит, когда придет, с кем бывает. Но, с другой стороны, Сергей чувствовал какой-то долг говорить ей все, даже более подробно, чем прежде. И кроме того, он как бы обязывался этими новыми отношениями отдавать Людмиле больше, чем прежде, своего времени.

Таким образом Людмила теперь знала о каждом его шаге, а он потерял возможность иметь для работы столько времени, сколько он имел во время ссоры. После такого тяжелого перелома странно было засесть за книги прямо после службы, не поговорив с женой.

А после этого случилось то, что вдруг опрокинуло их, с таким трудом воздвигнутое, здание абсолютной правды в совместной жизни...

XXXII

Один раз они сидели в ожидании обеда. Это было в какой-то праздник. И Людмила говорила о том, как она теперь спокойна, как светла ее жизнь.

— Ты не можешь себе представить, что у меня не было ни одной минуты, когда бы я не боялась за нашу жизнь. А теперь, при наших открытых до последней черты отношениях, у меня пропала эта вечная тревога.

Она остановилась, как бы не сразу решаясь сказать.

— ... Но ты знаешь, самым страшным для меня было то, что ты можешь встретиться с хорошей женщиной. Для меня не было бы непоправимым ударом узнать, что ты случайно с какой-нибудь безразличной женщиной изменил мне. Мне страшно, если ты душой приблизишься к другой женщине. А хорошая женщина в этом случае, конечно, опаснее...

— Как ты можешь говорить так? — сказал Сергей, — ведь если я подойду к женщине, с которой я не близок внутренне, то это только покажет, что у меня грязная душа, — договорил он и в волнении стал искать папиросы, но коробка была пуста.

— Лучше грязная, да моя, чем чистая, да чужая, — сказала Людмила с упорным выражением. Но сейчас же, спохватившись, прибавила: — Конечно, я говорю вздор, но это оттого, что мне страшна мысль потерять тебя.

— Поймай, я схожу купить папирос, — сказал Сергей. Он встал, надел шапку и свою телячью куртку и вышел.

Это было на седьмом месяце их жизни. Два месяца в их жизни было полное счастье.

Было самое начало весны. На улице Сергея сразу ослепило солнце. С крыш веселым сверкающим дождем лились капли. Дворники в фартуках чистили скребками тротуар. Мальчишки, присев на корточки, палочками направляли кораблики по ручейкам. И небо ослепительно молодо синело над крышами домов, над блестящими крестами церквей.

Было то время года, когда с утра в прозрачном, уже пахучем воздухе стоит весенний шум, весенняя бодрость, и потоки солнечного света, пробиваясь во все щели, ослепляют глаза.

А к вечеру, при заходящем солнце и затихающем городском шуме, небо становится по-весеннему ясно и спокойно, легкий морозец заты-

гивает ледяной иглистой пленкой, лужицы на разнавоженной мостовой, и над золотыми шпилями церквей, еще обвеянными задумчивым золотом заката, стоит благостная тишина угасающего дня.

Сергей остановился, вдыхая в себя тонкий запах отходящей земли за оградой соседнего особняка, щуря от блеска глаза, смотрел на бесконечно высокое голубое и чистое небо с бегущими по нем особенно свежими и по-весеннему чистыми облаками и чувствовал какое-то освобожденное слияние с этим небом, с этой бесконечностью и свежестью, про которое он точно давно забыл.

Вдруг он удивленно раскрыл глаза. Навстречу ему, еще в меховой шапочке и шубке, шла Эмма. Она тоже узнала его, и у нее на носу сейчас же появилась морщинка от радостной, слегка удивленной улыбки.

— Ой, как хорошо! — крикнула она. Стала мелкими шажками спускаться в своих маленьких обшитых мехом ботиках с откоса тротуара и, не удержавшись, сбегала бегом прямо ему на руки. Он держал ее в своих руках и оба смеялись, сами не зная чему.

А она маленькой рукой в перчатке поправляла сбившуюся шапочку. И этот жест был похож на тот, которым дети, катаясь зимой на салазках, поправляют наехавшие на глаза шапки неуклюжими руками в варежках.

— Значит, союз-то наш не распался? — говорила Эмма, сверкая из-за улыбки своими маленькими белыми зубами и оживленным румянцем щек.

— Да нет, нисколько не распался, — сказал Сергей.

Казалось, не было никакой особенной причины для их радости от этой встречи, но этот блеск солнца, чистота небес и предчувствие весны рождали настроение беспричинной радости.

— Вы недалеко здесь живете? — спросила Эмма. И когда Сергей показал, она весело воскликнула: — О, да мы почти соседи! Пойдите, проводите меня, я почти рядом, — сказала Эмма, взглянув снизу вверх на Сергея, бывшего много выше ее ростом, и дала ему свою руку в перчатке, чтобы он держал ее, так как в это время переходили через скользкий лед, с которого был счищен навоз.

Сергей хотел было сказать, что он вышел только купить папирос и что его жена дожидается дома с обедом, но ему показалось неловко сказать это, и, кроме того, дело было только в нескольких минутах, раз она жила очень близко.

Он пошел.

— А Соня где? — спросил Сергей, как-будто он спрашивал о своей сестре или о каком-нибудь очень близком их общем друге. И сейчас же сказал об этом своем ощущении Эмме.

— Ну да! — весело ответила та, оживленно взглянув на него, — я точно так же чувствую. Совсем, как брат и сестра, только чуточку иначе, — прибавила она с наивно-лукавым видом. — Да! забыла сказать, вы чем-то очень напоминаете мне моего мужа, и Соня то же говорит.

— Как, разве вы замужем? А я считал вас девушкой, нет — маленькой девочкой.

— О, меня все так считают, — сказала Эмма, улыбнувшись и сморщив нос. — А я настоящий служащий человек и кроме того, учусь на строительных курсах. Знаете что, давайте этот день закончим вместе, пойдемте сегодня в театр.

— Прекрасно! — сказал Сергей.

Эмма хотела что-то сказать, но развлеклась курткой Сергея.

— Это что, — корова? — спросила она.

— Теленок, — ответил Сергей, и, сами не зная чему, рассмеялись.

Сергей шел домой в совершенно другом настроении, чем вышел из дома. И в этом настроении приподнятого оживления он вошел к себе, так что Людмила некоторое время удивленно смотрела на него: какое радостное событие совершилось для него, когда он покупал папиросы? И почему он исчез на такой долгий срок? Ведь папиросы всегда продают у ворот.

— Где же ты был? — спросила она.

— Я встретил Эмму, — сказал Сергей. Прежде он, пожалуй бы, не сказал о подобной встрече Людмиле, потому что она всегда относилась к этому тревожно-настороженно. Но теперь, при их отношениях, построенных на полной правде, конечно, скрывать было нечего.

— Какую Эмму? — спросила Людмила. И в лице ее выразилось неприятное удивление.

— Да ту, что была тогда у Елены.

— Ну и что?

— Ну, я пошел ее проводить.

— Странно... — сказала Людмила, пожав плечами. — Вы разве встречались после того? — спросила она, и Сергей увидел ее напряженно-ожидательный взгляд. И вдруг почувствовал, как между ним и Людмилой опустилась какая-то завеса и у него шевельнулось к ней во всей прежней остроте неприятное отношение за этот вопрос и за этот ожидающий взгляд.

— Нет, не встречались, — ответил он коротко и ей в тон.

— Ну, тогда уж совсем странно, — сказала Людмила, пожимая плечами и не замечая перемены настроения Сергея, — встретил почти незнакомую девушку и она увела тебя, неизвестно куда в то время, как же она сидит, ничего не подозревая за столом, и ждет тебя с обедом. Значит, так может тебя увести первая встреча и ты пойдешь за ней всюду, куда ей захочется?

— Что значит «увести», «увела»? — сказал Сергей, — пошел сам, вот и все.

Этот нелепый разговор был еще тем более досаден, что теперь сказать Людмиле о том, что не только проводил ее, а они уже собрались в театр идти, было невозможно, это повергло бы ее в еще большее недоумение и возник бы продолжительный разговор по примеру прежних.

И к чему этот повышенный, раздраженный тон? Она этим сама вынуждает его говорить ложь. Теперь придется сказать, что у него сегодня заседание и оно кончится поздно.

— Ведь ты сама же просила меня говорить правду. Я стал теперь говорить тебе только одну правду, а ты из-за пустяков поднимаешь разговор.

— Но, милый мой, согласишься все-таки, что странно: увидеть в первый раз... ну, во второй, — сказала она поспешно, когда Сергей хотел ей возразить, — и умчаться с ней, когда обед на столе. И когда мы только что говорили о вещах, которые говорятя так редко, и о которых хочется потом думать и жить этим.

— Ну, вот: одно для тебя странно, другое — неприемлемо. И потом почему у тебя появляются оскорбительные слова: «умчаться»... «увела»...

— Нет, нет, я верю тебе, — вдруг, как бы спохватившись, сказала Людмила. — Только — правда, умоляю!

Но несмотря на ее эти слова Сергей почувствовал, что все-таки о театре сейчас никак нельзя сказать.

— Да, вот тебе какое-то местное письмо принесли, — сказала Людмила, подавая ему конверт с адресом, написанным женским почерком. И она стала есть суп, как бы боясь, чтобы он не подумал, что она хочет знать, что в этом письме. А Сергей отложил письмо, так как помнил, что она не любит, когда он читает за обедом.

Но Людмила почему-то все время взглядывала на это письмо.

После обеда Сергей распечатал письмо. Это было напоминание о заседании в редакции, назначенном в конце недели. Сергей бросил конверт на стол, а бумажку в корзину.

XXXIII

Сергей впервые с особенной остротой почувствовал нелепость того, что даже по отношению к самому близкому человеку жизнь, основанная на п о л н о й правде, невозможна. Вот сейчас, благодаря тому, что она так неприязненно отнеслась к его сообщению о встрече с Эммой, он уже не может ей сказать, что идет сегодня с нею в театр. Допустим, что он скажет ей сейчас, что они решили пойти. Что из этого последует?

Последует то, что Людмила, во-первых, скажет: «Очевидно, я чувствовала, что дело не так просто обстоит, раз вы уже идете в театр»... а, во-вторых, ей придет мысль: почему он сказал о театре только теперь, а не в первый момент? Значит, он хотел скрыть, но почему-то раздумал. А он вполне понятно не сказал об этом, когда уже из-за простой встречи возник целый разговор.

И эта ложь ведет за собой дальнейшую ложь: он или ей должен солгать и выдумать про какое-нибудь заседание, потому что нелепо заявить ей перед самым театром, да еще после его слов о том, что

между ним и Эммой ничего, кроме случайной встречи, нет, или же придется Эмме солгать, сказав ей, что у него заседание и он не может сегодня пойти. В самом деле, не может же он сказать Эмме, что вышел большой разговор с женой, с которой они очень искренни и которая, благодаря этой его искренности, развела целую историю, так что он теперь боится итти.

Маленькая лож повела за собой целую вереницу лжи.

Жить полной правдой в отношении жены было особенно трудно, очевидно, потому, что в его отношениях с Людмилой была заложена основная неправда. Эта неправда заключалась в том, что для нее единственным смыслом и высшей радостью жизни являлся он, любимый ею человек. А для него она не являлась высшим и единственным смыслом жизни.

Ведь если бы он мог сказать ей самую полную правду, он должен был бы сказать ей:

— Я не могу себя отдавать полностью ни одному человеку, потому что тогда я теряю себя. Теряю весь мир и свое движение в нем. Ты мешаешь моему движению именно высшей любовью, которая отказалась ради меня от всего мира и хочет иметь меня полностью, заполнять меня каждую минуту.

Но этой правды сказать было нельзя. Если ее сказать, то надо тогда сейчас же уйти. Но уйти, после такого поворота в их отношениях, было дико.

Сергею казалось еще, что Людмила в лучшем, чем он, положении в этом отношении. Она была правдива, потому что ей нечего было скрывать, так как в ней все перевешивала ее единая любовь к нему. Для нее ничто не существовало, кроме этого в жизни. А он с жадностью молодости тянулся навстречу всякому впечатлению, ощущению, которые при всей их фактической невинности все-таки были не таковы, чтобы их можно было рассказывать жене, которая хочет быть для тебя всем.

Для нее, вероятно, совершенно невозможна была мысль об измене ему, потому что она слишком внутренне целомудренна. Целомудренна инстинктивно, может быть, под влиянием отголоска христианско-монашеской религии. И поэтому для нее невозможна даже мысль о прикосновении к ней чужого мужчины.

У него же такого настроения нет. Для него в этом ничего нет невозможного по отношению к чужой женщине, хотя у него ни одного факта и не было за все время жизни с Людмилой.

Но все-таки основное его настроение резко противоречило ее настроению. И его влекло от нее к людям, а ее от людей влекло к нему.

И поэтому стоило только Сергею быть искренним, хотя бы частично, как сейчас же их разговор, начавшийся из простого интереса узнать, что переживает другой и как переживает, — непременно заводил их в тупик: ревности, обиды, трагедии.

— Я одного не понимаю, — сказала Людмила, возвращаясь, очевидно, опять к разговору об Эмме, когда они сидели после обеда. — Ведь, вот, если бы мне сказали, что я должна от всего отказаться ради тебя, я ни одной минуты не задумалась. Во всяком случае, я минуты не задумалась бы поступиться всем тем, что причиняет хоть малейшую тревогу или неприятность любимому человеку. Я понимаю, что тебе нужно общение с другими людьми, я не говорю, что с женщинами (и Сергей из этого понял, что именно женщин она имеет в виду), но ведь не так это необходимо, ведь можно, любя меня, иногда ради любви ко мне отказать себе в чем-нибудь. Если, конечно, эта любовь есть. И если она дорога тебе. Так вот давай же взвесим, что тебе дороже: наша совместная жизнь, или то удовольствие, которое доставляет тебе жизнь вне наших отношений.

— Да не удовольствие! — сказал Сергей. — Это то, что дает жизнь, что питает ее.

— А я не питаю? Я тебе, значит, ничего не даю?

Вопрос упирался в тупик.

Нужно было или сказать: «да, ты не даешь, дает весь мир, и ты не можешь претендовать на то, чтобы заменить собой весь мир». Или же нужно было сказать, «да, конечно, ты — это самое большое, что я получаю от жизни и я от всего откажусь ради тебя».

И какие бы они из принципиальных и самых миролюбивых разговоров ни начинали, непременно они оканчивались личными упреками, так как благодаря правде выяснилось, что Сергей не стремится всей силой души к тому, к чему стремится она.

Приходилось, оставляя на знамени святые слова «Полная правда», все-таки эту правду разделить на два сорта: правда безопасная и правда опасная.

Приходилось вводить уже приемы тактики, избегать опасной правды и делать вид, что это и есть полная правда, что он говорит.

Кроме того, утомляло постоянное чувство повинности ничего не скрывать, не оставлять не рассказанным, так как она может подумать, что он не рассказал этого потому, что скрывает.

Так, например, случилось и с этим письмом, которое она передала ему за обедом.

После того, как они замолчали, уткнувшись в тупик, она, спустя некоторое время, спросила:

— А что это за письмо ты получил?

Очевидно, ее мысль на основании предыдущего разговора логически пришла к этому письму.

— Извещение о заседании в редакции, — сказал Сергей, повернув к ней голову и глядя на нее с насторожившимся чувством, готовым вылиться в раздражение и отпор.

— А почему же ты его отложил и не прочел во время обеда, разве ты знал уже, что это только извещение?

— Я отложил потому, что ты сама же меня неоднократно просила не читать во время обеда.

Людмила посмотрела на его раздраженное лицо, потом опустила голову, кусая губы и наvertingывая на палец кусочек папиросной бумаги от окурка.

— Чего ты раздражаешься? — сказала она, не поднимая головы. — Мне просто показалось странным, что ты не прочел это письмо...

— Да не письмо, а простая записка!

— Все равно...

— Нет, не все равно, потому что...

— Я не понимаю, почему ты как раздражаешься, если это простая записка? Ну, простая и простая, ведь я не настаиваю, я говорю только, что мне показалось странным: то ты мне все говоришь, а тут почему-то не сказал ничего, я и спросила.

— Меня раздражило то, что у тебя тон какого-то подозрения. И потом я тебе скажу, что невозможно каждую минуту все говорить и докладывать, — сказал Сергей, чувствуя, что говорит то, чего не нужно было бы говорить. Но его злило то, что она, затянув разговор, не дает ему возможности пойти в автомат и предупредить Эмму, что он не может идти по случаю неожиданного заседания.

— Ах, вот, оказывается, в чем дело!... — сказала Людмила, побледнев, — оказывается, нельзя всего говорить?

— Да я совсем не в том смысле сказал «нельзя»!

— А в каком же? — спросила Людмила.

Сергей от раздражения и от мысли, что Эмма уже ждет его, сам запутался и забыл, в каком смысле он говорил. Он искал и не находил предлога, под которым он мог бы встать и пройти через улицу в автомат, — папиросы есть, а другого предлога не выдумаешь сразу.

— Так, может быть, в то время, как я наслаждалась полной откровенностью нашей друг перед другом, ты как раз не все мне говорил?..

— Ну, вот, здравствуйте, теперь пошло! — сказал Сергей, не зная, что ей больше сказать.

Людмила учла это по-своему: раз он не смог ответить, в каком смысле он это говорил, значит, у него уже есть вещи, о которых говорить нельзя. Почему к этим вещам не отнести и этой записки? Ведь он просто мог бы ее показать ей, а он почему-то не показал...

Разговор пресекся. Очевидно, у нее осталось отчетливое впечатление, что с этим письмом что-то неладно.

Выходило так, что уж если недоразумения получаются там, где нет никаких реальных оснований, как в случае с этим письмом, то уж где есть хоть какое-нибудь, самое ничтожное «основание», там и вовсе нужно держаться настороже, чтобы не наткнуться на подобные дискуссии.

И их правда мало-по-малу превращалась в тонкую политику. Приходилось наперед учитывать, насколько можно быть правдивым

в том или ином случае. Шаг за шагом их отношения приводили к тому, что они, точно солдаты двух враждующих лагерей, говорят, беседуют, но у них за голенищем спрятан нож, и они тонко выслеживают друг за другом.

Вдруг Сергею пришла неожиданная мысль, которая отдалась у него толчком в сердце: «не односторонняя ли их правда? Разговор всегда ведется так, что она у него все выспрашивает, а не он у нее... Что он знает про нее? Ровно ничего. Только то, что она сама говорит про себя. А он знает по себе, сколько этому можно верить, несмотря на взаимное обещание полной правды. Почему он знает, каковы у нее отношения с Бехом? Можно ли поверить ее правде так, как он верил? Ведь сам-то он вынужден говорить ей неправду!».

Эта мысль так взволновала его, что он вышел в другую комнату, сделал вид, что ищет карандаш.

А раз так, раз эта правда односторонняя, то она вовсе может быть не такая чистая, может быть, она... — Сергей даже остановился от пришедшей ему мерзкой мысли: он подумал, что, может быть, эта его правда предназначена служить не общению душ, а сыску! Ей очень хорошо этой полной правдой пользоваться, чтобы быть каждую минуту осведомленной о нем. Какая гадость лезет в голову, это невозможно! — сказал он себе и пошел в ту комнату, где была Людмила.

Она, не видя его, сидела у его стола, на самом краешке стула, очевидно, она перескочила сюда с дивана, чтобы при первом звуке его шагов сесть обратно на диван. В одной руке она держала конверт этого злополучного письма с женским почерком, а другой лихорадочно-торопливо и воровски шарила в письменном столе. Оглянувшись и увидев сзади себя Сергея, она вскрикнула и, побледнев, так и осталась с конвертом в руке над открытым ящиком стола.

— Не успела?.. — сказал Сергей и, жестоко засмеявшись, взял шапку и вышел из дома.

XXXIV

Людмила с ужасом увидала, что опять все порвалось, что какая-то роковая сила разделяет их все дальше и дальше.

А начиная с одного вечера все быстрым шагом пошло к страшной для нее развязке.

Это был тот вечер, когда Сергею нужно было написать реферат для клуба. Сергей, видевший, как молодежь, с окончанием оборудования клуба, осталась как-то без дела, не знал, что теперь делать.

Вот они уже сделали огромный шаг вперед: они работали не для себя, а для всех. В этой работе совсем не было хлебного оттенка, не было обычной цели всякого дела—заработка. Они научились подчиняться приказу не отдельной личности, а воле коллектива.

Но воля коллектива не может все-таки родить в них вот то дело, которого хватит на всю жизнь. Потому что такое дело рождает природа

каждого, а коллектив не может знать, что нужно природе каждого человека для того, чтобы она начала в нем жизнь и образовала непрерывное движение.

Сергей чувствовал полное бессилие и невозможность сделать что-нибудь. Если начать говорить об этом, то получится скучная философия и надоедливая проповедь.

Но ему пришло в голову написать все-таки реферат на тему о познании и прочесть. Он знал, что будет редкой удачей, если те мысли, какие там будут заключены, затронут хоть одного-двух человек. Понять то, что он будет говорить, могут многие, быть может, все. Каждый образованный интеллигентный человек может все понять. Но ни одному, пожалуй, о б р а з о в а н н о м у интеллигентному человеку Сергей не решился бы сообщить своих мыслей. У него в тетради была записана одна мысль, относящаяся к этому вопросу:

«Человек воспринимает истину, как дело для себя, как новую ступень, только тогда, когда он понимает ее не умом, а наличностью в себе самом того, о чем говорит данная истина».

Эти образованные, интеллигентные люди могли целый час говорить по поводу какой угодно мысли, могли Сергея сбить и затолкать, как недоучку, как не получившего систематического образования. Но все это их знание было не то. Оно было другой природы. «Мудрый никогда не бывает ученым, ученый никогда не бывает мудрым» — вспомнилось Сергею прочитанное им когда-то изречение. Образованный человек может знать все, но может не знать самого главного: чем ему жить.

Сергей решил просто выбрать из своих записок наиболее важные мысли о познании, как о первой ступени движения.

Но он заметил странную вещь: при чужих людях он мог хорошо и свободно работать, а когда в комнате был близкий человек, мысль совершенно не шла, точно была привязана к чему-то. И, кроме того, совсем прекращался тот поток нечаянных мыслей, которые прежде как бы в готовом виде рождались у него, и он едва иногда успевал их записывать.

Он помнит, когда он жил один и подолгу не говорил ни с кем о том, что имело отношение к его главным мыслям, у него накапливалось желание выразить эти мысли. Они как бы тяготили его своей невыраженностью. Теперь же он невольно в разговоре с близким человеком, который требовал общения, высказывал то, что готово было к выражению и тем самым как бы разряжал это напряжение. Потребность выражения и закрепления этих мыслей исчезла.

Сергей, когда сгладилось первое впечатление от неприятной истории с письмом, сказал об этом Людмиле и о том, что он хотел бы дня три попробовать побыть в клубе, где есть отдельная комната. Там он может работать и ночевать.

Людмила спокойно, сверх ожидания, выслушала и сказала, что, конечно, ему необходимо сделать это. Разговор происходил за:

обедом. Сергей в благодарность погладил ее руку, лежавшую на столе. Он помнит, что, оживившись, начал развивать свои мысли и наблюдения в этом направлении.

Людмила перестала есть и сидела молча, катая из хлеба шарики. Потом сказала:

— Я ни одной минуты не хочу тебя осуждать и даже соглашаюсь, как видишь, с тобой. Все, что ты говоришь, совершенно правильно. Но ты замечаешь, с какой постепенностью и неумолимостью в наших отношениях все идет к разделению?.. Ты можешь идти вперед только тогда, когда меня около тебя нет. Ты понимаешь ли, какую страшную вещь ты мне говоришь? А я-то думала, что мое существование рядом с тобой будет для тебя необходимой помощью...

Она горько усмехнулась при этом.

— Но ведь ты сама же согласилась, что я прав, что нельзя быть постоянно вместе, что необходимы промежутки уединения.

— Согласилась... — беззвучно ответила Людмила.

— И в то же время говоришь такие вещи. Где же логика?

— Логика всегда там, где нет любви, я уже говорила это, — ответила Людмила тем же тоном, не взглянув на Сергея — Я не понимаю, что тебя так беспокоит. Ведь я же не препятствую тебе делать так, как ты находишь лучшим, я отмечаю только то, что когда была любовь, ты не стремился от меня. Ты стремился ко мне. А теперь... — Людмила, усмехнувшись, развела руками, — теперь тебе нужно периодически «отдыхать» от меня.

У нее на глазах показались слезы и она, замолчав, сидела и смотрела перед собой неподвижным взглядом, а когда входила Дуня, чтобы переменить тарелки, наскоро утирала платком глаза и опять сидела неподвижно.

— Все, все, милый, идет к одному... — сказала она, наконец, вставая из-за стола. — Душа женщины нужна мужчине только на очень короткий срок, а может быть... и вовсе не нужна ему. И он, получив то, что ему было нужно, стремится освободиться от нее. И ему все равно, какая женщина ни будь... Их много на свете. И надо, очевидно, заранее привыкать к мысли, что твой удел — вечное одиночество. Вы уничтожили самое ценное и тонкое на земле — любовь...

— Кто — мы?

— Вы — новое поколение. Теперь это делается откровенно. И женщине остается только со всеми ее правами униженно искать жалкие крохи любви и тепла. И часто обманывать себя и в великом ужасе перед одиночеством... уступать там, где прежде она не уступила бы никогда. Потому что прежде она знала, что в ней есть большая ценность, большое сокровище. А теперь... — Людмила презрительно пожалала плечами, — сокровище ее никому не нужно, и она, как безработная актриса, должна быть рада, если ее возьмут хоть на один сезон.

— Ты постоянно говоришь про любовь, как про что-то самое высшее, а мне она с некоторого времени стала представляться иною.

— С какого времени? — спросила Людмила, и вдруг ее лицо стало тревожно и настороженно в ожидании его ответа.

— Со времени истории с письмом, — сказал Сергей.

— Ах, это... — сказала Людмила с видимым облегчением оттого, что это оказалось не то, о чем она, очевидно, подумала. И, глядя ямо в глаза Сергею, сказала: — Да, я это сделала и не стыжусь. Я защищаю свое счастье. Я борюсь за него, пока можно бороться. Но если я увижу, что бороться уже не к чему, то я сама... уйду.

— Бороться всякими средствами? — спросил Сергей.

— Да, в с я к и м и средствами, — ответила она ему в тон.

— Значит, и мне позволительно бороться тоже всякими средствами?

— ...С чем тебе бороться? — спросила Людмила, остро и быстро взглянув на Сергея.

— С т о б о й... — сказал Сергей.

И, взяв шапку, пошел в клуб.

Вечером Людмила ему позвонила в тот момент, когда он сел за работу.

Она, видимо, находилась в нервном, приподнятом состоянии.

— Ты сказал мне ужасную вещь и считаешь возможным оставаться в клубе?

«О, боже, мой, — подумал Сергей, — ни одной спокойной минуты». — И сказал коротко и твердо.

— Я начал работу и приду только тогда, когда кончу.

— Ах, так? Хорошо...

И трубка громко стукнула о подставку.

XXXV

В клубе Сергею сказали, что все в один голос жалуются на Лабоду.

— Опять хулиганит? — спросил Сергей.

— Хуже. Искореняет хулиганство, — сказал философ.

Оказалось, что Лабода из-за каждой мелочи, в роде брошенного на пол окурка, пускает в дело кулаки, вытаскивает за шиворот, и что от его порядка воют больше, чем от беспорядка.

— Да, у него немножко не та система, — сказал Сергей, — но важно, что результат есть.

И он, засмеявшись, пошел наверх.

Реферат Сергей писал поздно вечером, оставшись один в клубе. Он вдруг почувствовал, что в нем точно открылось какое-то окно в мир и он может свободно дышать его воздухом. Вечно напряженное состояние борьбы сразу прекратилось и он почувствовал необычайную легкость.

Реферат Сергея был в своем основании взят из его записок, как он и хотел. Он сводился к следующим основным мыслям.

«Человек нашей эпохи исторически идет к тому, чтобы освободиться от воли стоящих выше хозяев жизни и самому стать хозяином».

«Стать хозяином он может тогда, когда поймет, что он должен получать движение и деятельность не от воли отдельных лиц, а из первоисточника, т.-е. от природы (назовем это условно)».

«Природа, т.-е. законы ее, одни во всех. И человек, открывший в себе природу, как источник движения, начинает жить не в пределах своей узенькой личности, он разрывает их и соприкасается со всем социальным целым».

«И он прежде всего должен искать того знания, которое может его привести к сознанию в себе природы. Он должен научиться различать, что имеет отношение к нему и что не имеет».

«Как только человек начнет различать, что есть в мире для него, т.-е. что имеет отношение к его движению, это будет означать, что он нашел свое начало. С этого момента его жизнь — в высшем смысле этого слова — началась».

«Как только человек нашел свое начало, так в нем образуется центр притяжения, который стягивает к себе все необходимое для движения».

«С этого времени он получает собственное движение, а не является только рабочей силой, как прежде».

Сергей знал, что понять эти мысли может каждый, но понять их для себя могут только редкие единицы, которые в его голосе услышат свой собственный голос. И больше всего будут спорить и опровергать их те, кто к этим мыслям не имеет никакого отношения, кроме «теоретического».

В клубе эти мысли вызвали оживленные споры.

Философ все время слушал Сергея со снисходительной усмешкой и часто что-то записывал у себя в книжечке.

Потом, взяв слово, сказал:

— Товарищи, это опасная штука, это поворот к индивидуализму. Это душевное самоустройство начинается. Как же это человек не должен брать ничего того, что не имеет отношения к нему? Значит, каждый удалится в келью под елью и не будет делать никакого общественного дела?

Сергей прослушал молча всю речь философа, и когда тот, возбужденно оглядываясь и лохматя волосы, сел, Сергей сказал:

— Я услышал здесь очень законную и здоровую тревогу. Действительно, нет ничего опаснее для нас, если каждый начнет копаться в собственной личности да заниматься душевным и моральным самоустройством. Это нам не подходит. Но сущность индивидуализма заключается в отрыве во имя своей личности от социального целого, в уходе от него к своей личности, а я только и говорю вам о преодолении своей личности, о разрыве ее узкой скорлупы для соприкосновения с социальным целым.

— Я говорю, что человек должен идти к такому знанию, которое сделало бы его зрячим, чтобы он сам видел то, что ему нужно, что дает ему жизнь, а не смотрел бы только на чужие руки отдельных людей или коллектива, которые дадут ему работу.

— Человек старого мира отличался тем, что у него источник движения всегда был вне его: дело ему давалось готовое, знание тоже. Только редчайшие единицы умели миновать эти «чужие руки» и обратиться непосредственно к великому источнику всего — природе, и они создавали всегда новое дело, начинали новый круг.

— Когда я был мальчиком, я завел себе тетрадь, куда записывал свои мысли. И эти мысли привели меня, что современный человек стоит перед новым путем жизни. И теперь я вижу, что сама история пишет новую скрижаль. Человек по-новому будет принужден мыслить, по-новому познавать, по-новому понимать слово — дело. И мысль он будет понимать, как дело, а не как академическое мышление.

— Когда мы были только солдатами, защищавшими свой новый строй жизни, тогда мы отвоевывали себе поле для жизни, для работы. Теперь, получив это поле в свои руки, каждый из нас должен спросить себя: «А что ты можешь насадить на этом поле не для своего только пропитания (потому что из-за пропитания только нечего было огород городить), а для того, чтобы это было «большое хозяйство большой семьи, именуемой человечеством»? Какой же тут, к черту, индивидуализм?

XXXVI

Сергей только в 11 часов вышел из клуба.

После того, как, благодаря истории с письмом, для него обнаружилось, что правда служила не высоким целям, а совсем другому, он почувствовал, что с него как бы была снята повинность возвышенного отношения к Людмиле. Отсюда было еще далеко до полного разрыва, но у него уже по-новому начало накапливаться к ней чувство раздражения, как к вечному сыщику. И чтобы не подвергать себя возможности длинных психологических разговоров, он избегал уже быть с ней откровенным и даже просто говорил часто неправду. Но он сам не заметил, как он пришел к такому состоянию, что ложь стала основой их совместной жизни с Людмилой. Одна ложь непременно вела за собой другую: нужно было все время помнить, что он сказал ей раньше, чтобы не вышло противоречия с последующим.

Нужно было заранее готовить каждый свой уход, каждую отлучку. Нужно было торопиться, чтобы не опоздать домой к известному сроку, так, например, если он сказал, что пойдет в театр, а сам вместо этого пошел в другое место, то нужно было стараться попасть домой не позднее полчаса после окончания спектакля, чтобы его ложь была похожа на правду. Казалось, нужно было бы сейчас же разойтись,

раз начались такие отношения, но странно, что это как-то не приходило в голову, потому что не было ни одного открытого столкновения и взрыва, во время которых легче говорится то, что накопилось. И у него продолжалась эта жизнь, пропитанная взаимной отчужденностью, озлоблением и ложью, как она продолжается при таких условиях в сотнях и тысячах семей.

Он только в этом настроении находил оправдание своей лжи, на которую он как бы получил право. В самом деле, конечно, правильнее было бы разойтись, но когда это еще не пришло, то он имеет полное право на ложь перед человеком, который стремится его морально поглотить, связать, и под видом высших целей единения пользуется его откровенностью для слежки за ним. И он, освободившись теперь от высших моральных обязательств перед этой женщиной, не будет ей говорить ни одного слова правды. Ведь ложь перед ней дает ему возможность правды перед самим собой, дает ему возможность быть тем, что он есть.

Сергею теперь вся ее необыкновенная любовь, ее стремление быть всюду вместе с ним представилась только результатом отсутствия в ней собственной силы жизни, ей постоянно нужен был кто-то, кто наполнял бы ее собой, потому что сама себя наполнить она не может. И тут, очевидно, не в силах помочь никакое образование.

В самом деле, ведь она очень образованный человек, она хорошо знала музыку, живопись, литературу, гораздо больше, чем Сергей. Но все это не давало ей никакого внутреннего самостоятельного движения. Даже ее работа не давала ей этого. Она была для нее только заработком. И когда она оставалась одна, ей нечего было с собой делать.

И, конечно, жизнь ее возможна только при другом человеке, возможна только тогда, когда она кому-то нужна. И чем она нужнее, тем больше она ощущает смысла и ценности в своей жизни. И отсюда ее стремление к необычайной любви и необычайной слитности душ. Этим она покупает смысл своего существования. В этом—смысл любви для нее. И полная жизненная катастрофа для нее будет в тот момент, когда она узнает, что не нужна тому, с кем живет, на ком основала надежду своей жизни, кому жертвует собой, кому она «отдала себя всю без остатка».

Сергей из клуба хотел идти прямо домой, так как он помнил интонацию, с которой Людмила сказала в телефон: «Ах, так? Хорошо...»

В этом была угроза. И если он ее оставит надолго в таком состоянии, она непременно сделает с собой что-нибудь.

Но на углу своей улицы он встретил Эмму.

Они довольно часто теперь встречались. Сергей бывал у нее. У него не было связи ни с одной женщиной, как, наверное, думала Людмила. Могла бы быть с Эммой, так как они очень хорошо чувствовали себя друг с другом. Но их отношения не остановились вовремя на этом пункте и они перешли к чисто товарищеским отношениям. Были друг с другом на ты и оба знали, что в любое время

могут сойтись, что это в их воле. Но обоим нравились такие отношения, какие были у них, и они довольствовались ими.

Так как им друг от друга ничего не было нужно, то между ними была полная правда и откровенность. И один, рассказывая про себя другому, не боялся ни взрыва ревности, ни обиды, ни возможности неприятных психологических разговоров.

— Зайдем ко мне? — сказала Эмма.

Сергей поймал себя на том, что он при ее предложении прежде всего подумал, как сказать Людмиле, почему он поздно пришел, если он пойдет к Эмме. Она, вероятно, уже ждет его.

Сергей привык заходить к Эмме, где он чувствовал себя свободно и просто.

— Чаю хочешь? — спросила Эмма.

— Пожалуй, давай, — сказал Сергей.

Эмма, бросив шляпу на постель, пошла в кухню за чаем. Сергей слышал, как она, возвращаясь, стукнулась коленом о наставленные в коридоре соседские корзины и сундуки, и вошла в комнату, в одной руке держа чайник, а другою потирая колено.

— Ну, черт их возьми, я каждый день сажаю себе синяки, — сказала она, засмеявшись.

— Знаешь, что мне в тебе сразу понравилось, когда я тебя увидел в первый раз?

— Что? — спросила Эмма.

— То, что у тебя нос морщится, когда ты смеешься.

— Ну, какие глупости.

Она приготовила чай, обожглась паром из чайника и, бросив крышку, взяла палец в рот, потом подула на него и уселась с ногами на маленький диванчик, рядом с Сергеем, натянув на колена короткую юбку.

Они стали пить чай, потом Сергей сказал:

— С тобой очень хорошо себя чувствуешь. Мне сейчас это особенно необходимо. У меня что-то очень неладно в жизни.

И он рассказал все, что он пережил в последнее время.

— А ты не думал о том, чтобы разойтись?

— Думал. Но у меня большая жалость к ней. Я чувствую, что жизнь тогда потеряет для нее всякий смысл, потому что ее любовь ко мне безгранична. И в то же время, я чувствую свою вину в том, что я не имею т а к о й любви. И никогда не имел.

— Так ты и не должен ее иметь, — сказала Эмма. — У меня также ее никогда не было, — прибавила она, улыбнувшись. — Если я «люблю» человека, это просто значит, что мне с ним хорошо. Когда он уходит, это хорошее остается во мне, а не тянется вслед за ним. Женщина теперь или должна переделать свою психологию или умереть.

— Но вот, что это такое, что женщину влечет к определенному мужчине? Что это, действительно, что-нибудь вы с ш е е? Действи-

тельно, большая ценность? Я очень запомнил одну ее фразу, которую она мне сказала: что пусть у меня будет лучше грязная душа, но е е, чем чистая, да чужая. Что же ей дорого во мне?

— Что... как это сказать? А разве ты не знаешь, что женщина может полюбить разбойника, вора, убийцу — кого хочешь. Что это? Ценность?

— Хуже всего то, что как только хоть раз солгал против себя ради другого, так и пойдет сплошная ложь и какое-то недостойное существование. Вот (тебе сейчас будет смешно, а мне совсем не смешно), когда ты позвала меня зайти, я прежде всего подумал о том, что я ей скажу, потому что у нас перед этим вышла кое-какая размолвка.

Эмма не засмеялась и только кивнула головой.

— И вот каждую минуту стоит перед тобой вопрос — что ты предпочитаешь: собственный путь или человека, который тебя бесконечно любит? Я помню, как она после жестокой ссоры, думая, что я сплю, покрывала меня одеялом. И вот, то в горле щекочет от таких случаев, а то кажется, что этот человек опустошает тебя своей любовью, своим стремлением (ничем не искоренимым) отнять тебя у всего мира и полностью владеть твоей душой, конечно, отдав и растоптав свою душу перед тобой. Вот что ужасно! Как решить?

— Подожди, если придет время, решишь, — сказала Эмма задумчиво. — Я в свое время решила. Если есть колебание, то лучше не решать. Подожди, когда колебания пройдут в ту или другую сторону. Если это придет, забудешь и о жалости, и обо всем, как и я забыла. Положим, я еврейка, а мы — народ покрепче вас.

Сергей посмотрел на часы. Они показывали 12.

— Ну, значит, будем ждать, а теперь пора отправляться, а то уже 12.

— Поедем как-нибудь к Соне, она живет с матерью на даче, — сказала Эмма. — Хоть в эту субботу.

— Поедем, — сказал Сергей.

XXXVII

Сергей, выйдя от Эммы, увидел, что на городских часах уже половина первого, его отстали. Поэтому он быстро пошел домой, рассчитывая, что в десять минут он дойдет до дому. И даже помнит, что на перекрестках он перебегал бегом через улицы. Он придет без двадцати час. Это не так поздно. Он может сказать, что зашел по дороге к товарищу.

И сейчас же он посмотрел на себя со стороны: взрослый человек, когда-то сражавшийся в двух войнах, торопится, высчитывает минуты, припускается даже бегом, когда кругом никого не видно, придумывает, что ему сказать, когда он придет домой.

С одной стороны, в этом есть что-то похвальное: торопится, чтобы не заставлять жену ждать. Но, с другой стороны, ему все-таки было стыдно со стороны смотреть на себя.

И, наверное, не он один, проходя так через площадь поздно вечером, прежде всего смотрит на часы. Наверное, много почтенных отцов семейств и тоже прежних героев гражданской войны, а теперь занимающих большие места, точно так же высчитывают, во сколько минут они доедут до дома, и лихорадочно-торопливо придумывают, что они скажут жене о своем запаздывании.

Но когда Сергей пришел домой, оказалось, что Людмилы не было.

Он прежде всего облегченно вздохнул, что он раньше пришел и не придется выдумывать, где он был. Он может сказать, что он уже с десяти часов дома.

Но где же она могла быть? Не сделала бы чего-нибудь над собой, ведь она положила трубку телефона с угрожающими словами. Но тут он увидел разбросанные на стуле и на постели ее платья. Очевидно, она переодевалась. В пепельнице были чужие окурки. Это от папирос Беха. Очевидно, она его вызвала и поехала с ним.

Записки никакой не было оставлено.

На столе стоял ужин. Но Сергей не притронулся к нему, чтобы показать, что он ждал ее и не хотел без нее сесть за стол, как она обыкновенно не садилась без него. И он скажет, что целых три часа ждал ее и ничего не ел. Для него это было легко, потому что он у Эммы выпил чаю.

Сергей еще взял шахматы и высыпал их на стол, поставив несколько фигур на доску, чтобы было видно, что он сидел целый вечер дома, все переделал и даже решал шахматные задачи.

И сейчас же опять оглянулся на себя: до чего он дошел?!.. Он устраивает какие-то декорации, чтобы показать, что он пришел раньше.

А если не лгать, то это еще хуже, потому что тогда придется выдерживать бесконечные психологические разговоры, после этого будут слезы и, если это зимой, то выскакивание на мороз в одной рубашке, чтобы простудиться (между прочим, она ни разу не простуживалась), или попытка самоубийства, в возможность которого он не верил, но каждый раз все-таки приходила мысль, что она возьмет и нарочно выпьет что-нибудь, чтобы заставить его пофигить. И потому приходилось не спать, прислушиваться и бороться между желанием подойти к ней и успокоить ее и собственным упрямством и самолюбием, которое не давали этого сделать.

И вот он не может даже пойти к знакомым, чтобы не подумать прежде всего о том, как она отнесется к этому.

А когда она бывала на людях с ним, он всегда чувствовал себя почему-то скованным, у него не было непосредственного веселья, потому что она сидит здесь и слушает все, что он говорит. Да еще нужно

не забывать иногда подойти к ней и показать этим, что хотя он и веселится и занят другими, но он всегда помнит о ней. При чем она все время смотрит, сколько он пьет, и чуть не после второй рюмки начинает его останавливать, ему остается только неловко улыбаться, а в то же время закипает против нее раздражение, как против вечного опекуна.

Если он начинает шутить или почувствует себя непринужденно, она уже настораживается, точно боится, что он скажет какую-нибудь глупость или сделает неловкость, за которую ей придется краснеть.

И так везде и во всем этот надзор любящей женщины, который вызывает против нее только раздражение и злобу, и никуда уйти нельзя от этого надзора, точно он — взрослый человек — не имеет права распорядиться собой.

Что же она — какая-нибудь особенно ревнивая, ненормальная женщина? Нет. Обыкновенная женщина, но отдавшая ему всю свою душу и требующая во имя этой любви от него такой же полной отдачи.

И вот из-за этой любви он отгородился от всего в маленькой клеточке, из которой он вырывается только в периоды больших столкновений с ней и ссор. Его социальная значимость уменьшается настолько, насколько увеличивается их взаимное согласие и слитность. Его главные силы большею частью отдаются ей. Но ни ее главной сущности, ни ее росту (потому что у нее нет роста), а просто сидению около нее. Ведь в самом деле, если подсчитать, сколько времени уходит на нее, на эти психологические разговоры, в которых выражается «слияние их душ», на ссоры, на примирения, споры! А после примирения нужно еще выдержать довольно большой срок, чтобы всецело посвятить свое время ей. Ведь нельзя же в самом деле, получив прощение, сейчас же, как ни в чем не бывало, усесться за свои книги к столу, спиной к ней.

Можно, пожалуй, было сказать, что он хочет получать радости жизни, но не хочет нести за них никакой расплаты.

А почему непременно должна быть расплата? Неужели для женщины никогда не настанет время, когда она перестанет быть содержанкой не в материальном, а в духовном смысле, что гораздо хуже.

Нет, она перестает ею быть. Она совсем перестанет ею быть. И хотя это ей дорого будет стоить, но возврата к прежнему нет.

Что дала ему жизнь с этой женщиной, которая влекла его к себе своей культурностью, своей тонкостью, своей жертвенной любовью, которая ему представлялась высшим, неизведанным сокровищем?

Он приобщился к культуре через нее. Но в чем ее культура? В том, чтобы есть на чистой скатерти с салфетками? Пропускать женщину вперед себя, когда идешь с ней? Даже знать картины известных

мастеров, музыку, понимать толк в хорошей изящной одежде? Тонко чувствовать и быть чутко восприимчивым?

Да, это он все, пожалуй, получил от нее.

Но не слишком ли дорогой ценой все это куплено, если принять во внимание, чем он платил за это.

Ведь он платит за это сам им собой. Он из-за нее идет на одной ноге. И не потому, что он ее любит, а потому, что она его любит, потому, что для нее в этой любви смысл жизни. Уступи он ей совсем, она из-за полноты своей любви к нему без остатка сотрет его лицо.

Жестокая истина, — что «все может полностью развиваться только путем вытеснения другого». Или он ее должен вытеснить, или она его. Вдвоем, рядом они полностью жить не могут. Принципы направления жизни их совершенно противоположны.

Принцип старый и принцип новый.

Ему впервые во всей остроте пришла мысль о том, какова же сущность этой женщины, каков принцип направления ее жизни?

Он начал пункт за пунктом разбирать ее главные свойства.

Конечно, первое, самое главное свойство, это то, что она не живет своей силой, а всегда чужой. Поэтому она якобы бескорытна: она хочет жить не для себя, а для другого, того, кого любит. Она хочет быть только помощницей, только участницей в чужом деле, ибо своего у нее нет. Но она счастлива только тогда, когда вся душа любимого человека принадлежит ей. И полное ее счастье равняется полной остановке любимого человека. Она с'едает то, чему собирается служить и ради чего уничтожает свою личность.

Одна она не может жить. Ей всегда нужен другой человек, соками которого она питалась бы. Она отдает свою душу с радостью, может быть, потому... что самой ей с ней делать нечего? Но она очень дорого берет за это свое бескорыстие. Душа за душу. При чем она выбирает души наиболее крупные.

И бескорыстие этой высшей исключительной любви, воспетой всеми поэтами, не есть ли, в конце концов, величайшая корысть личного бесплодия, живущего соками другого?..

Да еще нужна ли ей его ценность, как ценность? Ведь она сама сказала: «Лучше грязная, да моя, чем чистая, да чужая». Как с этим вопросом быть?

И кто это разгадает? Да и не слишком ли страшно это разгадывать? Потому что тогда станет невозможно жить.

Слишком страшна тогда будет пустота всякой бескорыстно-самоотверженной любящей души. Ведь, в конце концов, он изменял себе ради того, что она из тысяч людей выбрала его, как единственного. За то единственное, неповторимое, что есть в нем. А ей, оказывается, все равно, «лучше грязная, да моя, чем чистая, да чужая».

А может быть, то единственное, что ее привлекло в нем, не имеет никакой ценности? Может быть, это случилось потому только, что у него волосы пахнут так, а не иначе? Тогда что?

Выходит, что он из-за запаха собственных волос пожертвовал самым большим, что он имел в себе?..

Сергей хотел не сосредоточиваться на этих проклятых мыслях и не мог.

И во всем, во всем была полная противоположность.

Если для нее главное в жизни была возможность жить жизнью другого человека, то для него было главное — жить собственной жизнью, собственным движением.

У нее было стремление к д о м у, к собственной маленькой ячейке, у него было постоянное стремление и з д о м а, на простор всего мира! Ко всем людям!

Для нее религия, мораль и все установления были даны ей в готовом виде, существовали уже до нее, без всякого ее личного отношения к этим вещам.

Для него мораль, т.-е. определитель духовно-вредного для него, была в его движении: все, что двигает его вперед к исполнению з а к о н а природы, то морально. Все, что укорачивает его движение, уменьшает его д е л о, то — аморально.

Для нее физическое его общение с ней было морально-безупречным делом, а общение со всякой другой женщиной — преступным, ужасным, мерзким и грязным.

Для него же брак, т.-е. отдача своей души п о л н о с т ь ю одному человеку, одной женщине, а не целому миру, было, несомненно, аморальным делом, так как это укорачивало его движение, заставляло его изменять самому себе, всю любовь и общение делать достоянием только о д н о г о человека, одного человека только чувствовать с в о и м, а всех остальных ч у ж и м и.

И опять Сергею приходила мысль, что, очевидно, человек, разрушивший и продолжающий разрушать старый порядок, стоит неизбежно перед новой скрижалю, на которой должны быть написаны совсем другие заповеди: заповеди морали, заповеди познания, заповеди делания.

Положение, к которому идет исторически человек, заставляет его искать руководства не в чужих, готовых установлениях, а в законах того пути, который отныне является не его только ч а с т н ы м делом, а делом всей человеческой семьи.

XXXVIII

Людмила пришла, когда часы показывали половину третьего.

— Где ты так долго была? — спросил Сергей.

Она, увидев его, стояла перед ним совершенно бледная, с огромными, сверкающими лихорадочным блеском глазами. Потом быстро

сняла пальто и шляпу и подошла к нему. Она была в нарядном сиреневом тонком платье, за пояс которого был заложен букетик фиалок.

— Я была у Елены... — ответила она беззвучно, между тем, как ее глаза, излучая снопы света, смотрели на него.

— Какая ты странная, — сказал Сергей.

— Да, я странная, — повторила Людмила.

От нее слегка пахло каким-то тонким вином.

Вдруг она закрыла лицо руками, потом подвинула руки выше и вдавила все ногти в голову, точно хотела разорвать череп.

— Я хочу привыкнуть к л е к а р с т в у... — лихорадочно быстро заговорила она. — Ты знаешь, все лекарства отвратительны. Это самое отвратительное для меня. Но я это сделаю! Я привыкну. Я должна излечиться от своей смертельной болезни, от любви к тебе. От любви к тебе. Ты понимаешь это? Понимаешь? Нет, ты не понимаешь, что это значит. Не понимаешь. Может быть, ты поэтому счастливый человек. А ведь хороша я? Да? но для тебя это ничто. Это тебе не нужно. Другие по битому стеклу проползли бы на коленях, чтобы достигнуть моих колен. Но тебе это не нужно. Так что же сделать, чтобы стало н у ж н о? Что? Скажи! — Она приблизила к нему свои сверкающие, расширенные глаза. — Я выколола бы свои глаза, отдала бы всю свою красоту, чтобы только это было н у ж н о тебе, чтобы оно было для тебя дороже всего на свете, как оно дорого тем, кто мне не нужен. Все бы сделала. О, мой любимый... Сердце бы свое вырвала. Но тебе оно не нужно, — прибавила она с горькой усмешкой. — Тебе не нужно... Испытал ты когда-нибудь такую любовь? Когда другому ты н е н у ж е н?

Она опять с силой сдавила голову руками.

Сергей молча стоял перед ней и, чуть прищурившись, смотрел на нее.

— Да, если это н е н у ж н о, то я попробую излечиться, я попробую растоптать и надругаться в себе над тем, что во мне есть самого святого. (По лицу ее пробежала судорога.) Я сделала уже это и сделаю еще! Я буду делать до тех пор, пока перестану чувствовать. Я должна ничего не чувствовать. И тогда я около тебя буду жить с окаменевшим сердцем. Оно тогда не будет биться так, как сейчас еще бьется, несмотря на принятое лекарство... Попробуй...

Она грубо, сильно взяла большую руку Сергея и прижала ее к своему сердцу. Прижала иступленно, дико, точно хотела ее спрятать внутрь к себе.

— И когда я окаменею совсем, когда я смогу спокойно смотреть на то, как ты будешь стремиться от меня к другим, ко всему миру, тогда тебе будет хорошо! Я знаю ведь, чего ты хочешь. Я умная. Я тогда не буду тебе мешать. Ты будешь свободен... Ты будешь счастлив. У тебя не будет ядра на ноге, которое всюду, везде, всегда хочет быть с тобой, жить твоей жизнью, пить из твоей души!.. О, проклятое ядро

на ноге! Как ты его ненавидишь, что оно мешает твоему движению. И как я ненавижу, как ненавижу это твое...

Она вдруг остановилась на полуслове, точно испугавшись того, что хотела сказать, что вырвалось было у нее против воли.

— Но ничего, я сильная! То я жила ради тебя, а теперь я буду умирать ради тебя, чтобы тебе не мешать. Процесс умирания отвратителен, но его можно заглушить... Его можно заглушить. О, у меня большой темперамент. Он поможет.

Она вдруг остановилась. Глаза ее блистали, как звезды, от необычайного возбуждения, какое было в ней, от которого она дрожала, как в лихорадке.

— Но если!..

Она сказала это, вдруг буйно сверкнув глазами, и остановилась, немного закинув назад голову и глядя прямо в глаза Сергею с улыбкой, в которой было что-то странное, манящее, сумасшедшее.

— ...Но если... — повторила она таинственно тихо, взяв его рукой за плечо и близко приближая к нему свои горящие жутким блеском глаза и зардевшиеся щеки, — если ты скажешь, что... я буду для тебя дороже всего, я все верну! Все! Я отдам тебе то, что проснулось во мне, как последнее отчаяние, и с тобой у меня будет это, как высочайшее, мучительнейшее счастье, любимый мой! Я лягу к тебе под ноги, чтобы они не касались земли. Я буду у тебя рабой. Последней рабой буду у тебя. Лишь бы перед всеми я была первой для тебя. Из всех — первой. Хочешь?.. — совсем тихо, вся пригнувшись к нему, спросила она.

Сергей, стоявший неподвижно, посмотрел ей в глаза и, чуть усмехнувшись, сказал:

— ...Дорого просишь...

Людмила оттолкнула его плечо, на котором лежала ее рука.

— Пусть будет так... Пусть будет... Не хочешь... Ты не поползешь через битое стекло... Ну, а я справлюсь с собой.

Она одну секунду смотрела на него своими горящими глазами, потом обхватила его за плечи, прижалась к нему с такой силой, какой он не предполагал в ней, как-будто ей навсегда хотелось запомнить ощущение его близости, потом, оттолкнув, закрыла лицо руками и бросилась в свою комнату.

(Окончание следует.)

Мурманская весна

АН. ПЕСТЮХИН

Над Мурманом ветер метался и пел,
Обтаявший берег лизала вода,
И снег, словно грязный, подмоченный мел,
Растаял в тот день, не оставив следа.

Всю ночь бесновался, звенел океан,
И шхуны рвались на причальных буях,
И плыл из Норвегии теплый туман,
Напомнивший мне о далеких краях.

И в эту полярную ночь я не спал,
Мне звонкую пену бросала вода,
И мир необъятный в скитания звал
Расплёскивать в пыль золотые года.

На дамбе соленая, острая мгла
Встречала простором неожиданных широт,
И я забывал, что за мною—земля
Бросалась порывами в водоворот.

Прохожие редко тревожили мрак,
Их взоры такие же, как у меня;
Угрюмые лица счастливых бродяг,
Привыкших ночлег на скитанья менять.

Матросские трубки сжимая в зубах,
Мы жадно вдыхали и влагу, и дым,
Стучали сердца под холстиной рубах
О счастье — всегда быть таким молодым.

Под утро, когда затихала волна,
Пришел из Кадикса морской пароход:
Сирена гудела, весельем пьяна,
И рыжей гагарою — выплыл восход.

Рассвет поднимался, сбивая покой,
Качались лебедки, рычали гудки.
Скрипели канаты под черной кормой,
И в море на промысел шли рыбаки.

Бродяги на тачках возили песок,
И каждый из них был торжествен и нем,
Но ласковым солнцем согрет был восток,
И южным дыханием веял Гольфштрем.

И н в а л и д

АНДРЕЙ ХУТОРЯНИН

Моя гитара старая,
Потрепаны лады.
Я с этою гитарою
Не мало знал беды.

Ее давно бы выкинул,
И век бы не играл,
Да вот —
В бою с Деникиным
Я ногу потерял.

Взвилась она — проклятая —
Свинцовая пурга.
Под царскою гранатою
Осталась нога.

И стал из человека я —
Почти не человек.
Калекою, калекою,
Калекою — навек!

Лицо — свежо и молодо,
В плечах — сажонный взмах.
Подохнуть, что ли, с голоду
На этих костылях!

И крепко стиснул пару я
Проклятых костылей.

— Не с плугом,
Так с гитарою —
Все будет веселей!

Я песни знал старинные
И новых много знал...
— Звени ж,
Гуди, шмелиная,
Басовая струна!

Моя гитара старая,
Осипла по ладам.
Я с этою
Гитарою
Пошел по поездам.

По Курской,
По Савеловской,
В вагонах я певал
Высоким хриплым голосом
Печальные слова.

Слова дились и плавилась
Тоской в груди моей.
А людям больше нравилось —
Какие
Веселей.

Смеялись, а не плакали
На льющуюся грусть.
И сыпали дензнаками
В подставленный картуз.

Литературная бурса М. Горького

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ

Самарская Газета» была основана в 1880-х годах неким Ив. Петр. Новиковым, человеком по-своему примечательным. Отставной гусар, весельчак, гласный думы, домовладелец, журналист, издатель, владелец типографии, антрепренер и актер — он был популярным лицом в городе. Театральные увлечения он разделял со своей супругой, провинциальной актрисой, тоже широко известной не только своим дарованием, но и незаурядной физической силой: с неугодившими ей актерами и даже зрителями она, как говорили, нередко расправлялась кулачным боем.

Вероятно, театр и был причиной того, что Новиков прогорел по всем статьям своих разнообразных занятий.

Дошла очередь и до «Самарской Газеты». В марте 1894 года ее купил молодой, либерально настроенный купец С. И. Костерин.

Впрочем, ни он сам, ни его компаньон Н. А. Жданов, владелец типографии, не годились в непосредственные руководители газеты. История провинциальной прессы уже выдвигала в то время на смену дилетантам-предпринимателям профессионалов-литераторов. Именно в эти годы, в связи с общим процессом оживления политической жизни страны, усилился процесс превращения бесцветных провинциальных листков в органы прессы «с направлением».

Такое же изменение претерпела и «Самарская Газета» ¹⁾.

Секретарем преобразованной газеты и фактическим редактором ее стал Н. П. Ашешов (Шишов), — журналист, высланный из столицы за неблагонадежность.

¹⁾ Чтобы дать представление о том, чем была газета при Новикове, можно привести такой факт. Письмом в редакцию, имеющим характер статьи, сообщалось следующее: некая старушка ни за что не хотела признавать фотографии, питая к ней таинственный ужас. Когда она умерла, родственники решили, что настало время, когда можно, наконец, беспрепятственно ее заснять. И что же оказалось? Три раза пытался фотограф произвести съемку и три раза какой-то невидимый удар опрокидывал аппарат, пока не разбил его вдребезги. Читателям предоставлялось судить о той таинственной силе, которая предохраняла старушку от фотографии.

Выбор для издателя оказался удачным.

«В моей памяти, — пишет свидетель того времени, — сохранился этот высокий человек с изломанными бровями над прозрачной синевой очков, насмешливыми губами и бородкой Мефистофеля, «газетчик» до мозга костей.

Неутомимый работник, он, когда требовали того обстоятельства, один, или почти один, составлял весь номер газеты. Его передовые статьи, смелые и всегда бьющие в цель, нравились одинаково лавочникам и адвокатам. Его остроумные, на местные темы, фельетоны составляли ему популярность среди девиц и дам, только что вървавшихся из купеческих гинекеев.

Острый и живой в общезитии, легко сходявшийся с людьми, он прекрасно ладил со своим патроном и был одинаково желанным гостем и в купеческих гостиных, и в салонах либеральных земцев. Газета через него тесно сближалась с жизнью»... («Пролет. Рев.» 1924, № 7/30).

Эта характеристика нового редактора наглядно указывает и линию, по которой газета «тесно сближалась с жизнью». Бульварный листок Норикова под редакцией Ашешова становился органом либеральной буржуазии, только что начинавшей тогда организованно вступать в общественно-политическую жизнь. Но при малой дифференцированности русского общества того времени «Самарская Газета», естественно, объединяла все местные оппозиционные элементы, включая и радикально-революционные. Эти последние имелись тогда и в Самаре, как и в каждом поволжском городе, из числа молодых «политиков», высланных из центра, вернувшихся из ссылки, просто «поднадзорных», словом так или иначе покаранных за нелюбимое отношение к существующей власти.

В преобразованной «Сам. Газ» приняли участие проживавшие тогда в Самаре: поволжский фельетонист Евгений Чириков; М. Г. Григорьев, участник федосеевского кружка в Казани (вместе с П. Н. Скворцовым, основавший первый марксистский кружок в Нижнем); П. П. Маслов, впоследствии известный экономист, по делу того же федосеевского кружка отсидевший уже в тюрьмах 2½ года; исключенный из казанского университета студент А. Ф. Клафтон и другие.

Газета расширилась и стала довольно видным фактором в жизни города. Однако мирное процветание ее было несколько нарушено в конце того же 1894 года. Несколько сотрудников, в том числе все вышеперечисленные лица, составлявшие в газете нечто в роде марксистской фракции, недовольные диктатурой Ашешова и гегемонией либерально-народнических тенденций, демонстративно вышли из «Сам. Газеты» и перешли в конкурирующую газету — «Сам. Вестник» Николая Кронид. Реутовского.

То обстоятельство, что Н. К. Реутовский — помещик, уездный предводитель дворянства и почетный попечитель церковно-приходских школ, из чудачества занявшийся журналистикой, — стал впоследствии во главе первой марксистской газеты в России, — тоже принадлежит к курьезам русской жизни. Но это случилось впоследствии, а в описываемое время «Сам. Вестник» представлял собою простодушно-патриотический листок «с бесплатным приложением фототипии портрета государя императора, а также исторических памятников и сооружений».

Переход сотрудников-марксистов в реакционную газетку Н. К. Реутовского послужил поводом для постоянных нападков на них со стороны «Сам. Газ.». Радуясь, якобы, тому, что «Сам. Вестник» становится дельной и честной газетой, она сожалела лишь, что сотрудникам его «сегодня приходится сжигать то, чему они поклонялись вчера» и что «рассуждения об экономическом материализме Каутского нисколько не мешают «Сам. Вестнику» помещать перепечатки передовиц из «Московск. Ведомостей»¹⁾.

Как бы то ни было, но разрыв был полный. Так называемый «великий раскол русской интеллигенции» на народников и марксистов получил в Самаре свое местное выражение в такой форме.

А «Сам. Газете» пришлось подумать о том, как восполнить свои ряды. Ею был приглашен петербургский фельетонист С. С. Гусев, писавший под псевдонимом «Слово-Глаголь»²⁾. И, вероятно, весьма кстати подоспело предложение Короленко обратить внимание на начинающего беллетриста А. М. Пешкова.

Горький дебютировал в «Сам. Газ.» рассказами «Два босяка», «Мой спутник» и «На соли» (октябрь 1894 — январь 1895). Вторая половина 1894 г. вообще была для творчества Горького плодотворной. Кроме «Челкаша» и перечисленных рассказов, им были написаны за это время еще три: «Старуха Изергиль», «У моря» и «Ошибка». И, — что тоже характерно, — обнаружилась тяга к большим рассказам журнального типа, может быть, под влиянием все того же совета Короленки «написать что-либо покрупнее, для журнала».

Но с журналами у Горького отношения не ладились.

«Я послал в редакцию «Русского Богатства», — писал он Короленке 17 октября 1894 года, — рассказ «У моря». Если вы найдете свободное время, — пожалуйста, посмотрите. Дела мои плохи — хвораю. Сильно болят ноги и грудь болит. С квартиры гонят за долги. Мне не дадут аванса в редакции?».

«Если вы видите Пешкова (Горького), — писал Н. К. Михайловский Короленке, — скажите ему, пожалуйста, что его второй рассказ «У моря» не будет напечатан и пусть он напишет, что делать с рукописью. Странный он человек: талантлив несомненно, но так вычурен и бесцелен, что из рук вон».

Посылал Горький один из рассказов в «Неделю» и тоже безрезультатно.

Правда, в том же 1895 году, когда был напечатан «Челкаш», появился в «Русской Мысли» (сентябрьская книжка) рассказ Горького «Ошибка». Но история его напечатания была такого характера, что способна была обескуражить и автора, более уверенного в своих силах, чем Горький. Рас-

¹⁾ Жизнь оправдала действия самарских пионеров марксизма. Через год — полтора им удалось превратить «Сам. Вестник» в действительно-марксистский орган и привлечь к участию в нем почти все наличные марксистские силы: Н. Е. Федосеева, П. Н. Скворцова, А. Потресова, П. Струве, Туган-Барановского, Плеханова, В. И. Ленина.

²⁾ Отец известного артиста Бор. Глаголина.

сказ был послан в «Русское Богатство» через Короленко и, как раньше в истории с «Челкашем», Короленко выступает защитником начинающего писателя перед лицом суровой столичной редакции.

«Пишет мне слезно наш А. М. Пешков, — писал он Н. К. Михайловскому 15 апр. 1895 г., — которого рассказ «Челкаш» уж принят. Он послал «Море» — неудачно, потом я послал его рассказ «Ошибку». На-днях он ее получил обратно и огорчен очень сильно. Я пишу ему по этому поводу свое мнение (гипотетическое) о причинах отказа, так как я сию «Ошибку» читал. Но его особенно ушибло то, что ему отослали ее без ответа. Будьте добры, черкните хотя бы мне два—три слова. Думаю, что я угадал причину Вашего отказа и это его убедит, а, между тем, он стоит некоторого внимания. Знаю, что Вы завалены по горло, — и назойливость (не первой уже) просьбы пытаюсь оправдать хоть тем, что, если бы не я, Вам бы довелось прочитать лишний десяток рукописей разных авторов, которые я отклоняю от Вас по предварительном прочтении. «Ошибку» я все-таки послал, потому что она обличает дарование и написана на исключительную тему хотя, — но сильно. Итак, два — три словечка».

Н. К. Михайловский исполнил просьбу Короленки.

«Об «Ошибке», — писал он ему, — затрудняюсь выразиться точно: так ведь давно я ее читал и такую массу рукописей после нее прочитал, что уж и плохо помню. Что-то совершенно бесцельное, и бесцельность эта не искупается ни красотой, ни правдивостью; ни того ни другого нет, а есть выдуманная, произвольная психология двух сумасшедших. «Челкаш» намечен на июньскую книжку. Автор, несомненно, талантлив, но если он будет коснеть в растянутости и декадентстве, как в «Море» и «Ошибке», то он пропащий человек. Сила есть, но в пустом пространстве размахивать руками, хотя бы и очень сильными, — нет смысла».

Таким образом, по необходимости, все рассказы того времени, — в том числе и такая яркая вещь, как «Мой спутник», — шли на газетный лист.

Но газета пред'являет свои требования к писателю и, повидимому, в связи с этим Горький возвращается к рассказам газетного жанра. По договоренности с «Самарской Газетой», с конца февраля 1895 года он поставляет ей воскресный беллетристический фельетон под общим названием «Теневые картинки», подобно тому, как в «Волгаре» 1893—1894 гг. вел отдел «Маленькие истории».

Среди этих рассказов были и ставшие известными впоследствии «Песня о Соколе» (первоначально «В Черноморье») и «Вывод». А в пасхальном номере (от 2 апреля 1895 г.) появился рассказ «На плотях» (картина ¹⁾).

Вероятно, в конце февраля Горький переехал из Нижнего в Самару ²⁾.

¹⁾ Любопытно, что этому рассказу как бы выдан паспорт, устанавливающий его происхождение: в собр. сочинений Горьким вставлен подзаголовок «Пасхальный рассказ», хотя, конечно, в этом рассказе о здоровяке-снохаче, отбившем жену у своего хилого сына, ничего «пасхального» нет.

²⁾ Верный помощник исследователя в деле установления дат, полицейское ведомство в данном случае проявило странную нерасторопность. Только 23 марта, с большим запозданием, начальник сам. губ. жанд. упр. секретным отношением

Один из самарских старожилов — А. Треплев — так рассказывал о впечатлении, произведенном приездом Горького:

«Весною 1895 года самарские обыватели с любопытством разглядывали появившегося в их городе юношу... Высокий, плечистый, слегка сутулый, он неумоимо шагал по пыльным улицам, грязноватым базарным площадям, заходил в трактиры и пивнушки, появлялся на пароходах, возле лодок и баржей, в городском саду, заглядывал в окна магазинов и раскрытые двери лавчонок, словом, толкся среди пестрой толпы и нарядной «публики»... Встречных, особливо «из господ», удивлял его разношерстный сборный костюм: старенькая, темная крылатка, раздувавшаяся на ходу, под нею русская рубашка, подпоясанная узким кавказским поясом, хохлацкие штаны, синие, бумажные; сапоги татарские, мягкие... в руках — толстая, суковатая палка; на голове — черная мягкая шляпа с большими обвисшими от дождя полями, из-под шляпы висели длинными прядями волосы...

«Кто такой? — думал обыватель. — Из духовных, из тех «странных», которые колесят Русь? Может быть, диакон-расстрига... Или просто актер малороссийской труппы, набравший костюм во время своих скитаний... Во всяком случае, какой-то чудной и явно необстоятельный человек...».

И никто не удивился, когда некоторое время спустя выяснилось, что это новый сотрудник «Самарской Газеты»...

Горький поселился на Вознесенской улице, в полугоре над Волгой, в мещанском домишке, принадлежавшем какому-то самарскому итальянцу Перини. Первый этаж этого домика с узким двориком позади, заросшим сорной травой, занимался семьей частного поверенного Кишкина, а Горький поселился внизу, в сыром и темном полуподвале.

«Квадратные оконца его еле видны были с улицы и когда гость приходил летним днем к Алексею Максимовичу, то, чтобы узнать, дома ли он, садился на корточки на тротуаре и, склонив голову, заглядывал вниз... Если виднелась склоненная над столом голова с упавшими на лицо прядями волос, или слышался спокойный, немного глухой говор, слегка на о, — значит дома. Иногда из подземелья показывалось озаренное широкой, радостной благодушной улыбкой лица хозяина.

— Это вы? Вот здорово! А я дома. Заходите же!

Затем надо было войти во двор, нырнуть в дверку справа, спуститься по узкой и темной лестнице и попасть в полутьму коридорчика-прихожей, где растерянного гостя выручала широкая, как лопата, сильно жавшая рука хозяина, введившего в свой апартамент. Последний напоминал не то

на имя сам. полицмейстера, сообщая, что состоящий под негласным надзором полиции Алексей Максимов Пешков выбыл из г. Н.-Новгорода в Самару, просит установить место жительства поднадзорного Пешкова в Самаре и учредить за ним негласный надзор. Но совсем непонятно то, что в течение двух месяцев сам. полиция не могла найти Пешкова в Самаре, об этом самарск. полицмейстер доносит 15 мая. И только 31 мая пристав 2-й части нашел Пешкова. Он оказался «на Вознесенской улице, в доме Перини, у частного поверенного Кишкина», после чего негласный надзор и был возобновлен. Негласный надзор за Горьким был «учрежден» еще в 1889 году, после ареста в Нижнем по делу Сомова.

монашескую келью, не то камеру одиночного заключения в плохоньком «замке» — своими выбеленными стенами, светом сверху из-под нависшего потолка и убогой железной койкой. Украшение комнаты составляли несколько фотографий на стенах и полочка книг. Книги были и на некрашеном плотничьей работы столе, заваленном бумагами, и на стуле возле койки, и на полу...».

До переезда в Самару Горький уже года два работал в поволжских газетах исключительно как беллетрист. Но, повидимому, и Короленко и Ашешов усмотрели в его рассказах нужные для газеты элементы публицистики, потому что вызван был он в Самару для участия в целом ряде газетных отделов. На первых порах ему был поручен отдел «Очерки и наброски», нечто в роде обзора печати.

Газетная работа все теснее сталкивала его с нравами общества и с фактами «общественной» провинциальной жизни, а это в свою очередь толкало его на публицистику.

Положение Горького в газете быстро упрочилось и, когда Ашешов отлучился из Самары, временным редактором стал Горький. Результатом этого в июне в «Сам. Газ.» появился любопытный скетч, за подписью Паскарелло: «Несколько дней в роли провинциального редактора». Это было первым публицистическим произведением Горького, если не считать пробы пера — «Очерков и набросков». Острием своим оно было направлено против «Сам. Вестника». Установить авторство Горького не трудно. С самого начала он вводит ряд автобиографических данных, сразу же, впрочем, переключая их на тон шаржа.

«Судьба вообще очень неблагоприятна ко мне, но все-таки я не ожидал, что она сыграет со мной такую скверную штуку. Я вступил в жизнь, — в активную жизнь — учеником маляра, затем пек булки, писал иконы, пас лошадей, копал землю для разных надобностей, — между прочим, для покойников, — был крючником, ночным сторожем, корчевал пни, был садовником, испытал еще много свободных профессий, везде чувствуя себя более или менее не на своем месте, дожил до такой степени выносливости, что стал считать безделье утомительнее труда, нажил себе «нервы», боль в груди, некоторый житейский опыт, еще несколько неприятных вещей, наконец, однажды вдохновился, нечто смело написал, робко снес в редакцию, меня благосклонно напечатали, мне это понравилось, я решил остановиться на этом труде, близко родственном по своей сущности к корчеванию пней, — занятие, к которому я всегда питал особенную склонность, — решил и — стал провинциальным литератором.

... Мне очень нравится — быть литератором: ты пишешь, а тебя читают, и хотя ты не знаешь, каковы отсюда вытекут результаты, но, при некоторой наивности, вправе предполагать, что они будут очень почтенны и солидны; а если природа позабыла наделить тебя скромностью, то ты можешь даже мечтать о том, например, что люди тебя послушают и, согласно твоим советам, станут относиться сами к себе и друг к другу внимательней и благородней...

Я лишен этих удовольствий, — жизнь темна, я довольно потолкался в ней, и крылья моей мечты сломались.

Это очень печально, ибо преждевременно. Но я взялся за гуж литератора с благими намерениями и с успокаивающим убеждением, что ведь могло быть и хуже... Я наивно полагал, что мне не будет хуже, чем было. И вот, однажды поутру, я встал с постели редактором газеты...

Сначала я ничего не почувствовал, кроме некоторого лестного ощущения и, преисполненный сознанием важности возложенной на меня задачи и крупного общественного значения моего, отправился в редакцию. Но уже дорогой я подумал, как же я буду руководить общественным мнением, в которую сторону позволено направлять его, где оно у нас есть, и знаю ли я, в чем оно выражается?

— Мне нужно прислушаться к голосу публики, — решил я, — и по дороге стал прислушиваться.

Но голоса не услышал — была какая-то разноголосица и этакое туманное мычание, хотя и близко напоминающее человеческую речь, но без всякого намека на гражданственные звуки».

В редакции нового редактора встречает бешеный натиск начинающих литераторов, стихотворцев, людей обличающих, людей протестующих против обличения, опровергающих, теребящих всячески растерянного редактора.

В ряде сценок не плохо обрисован провинциальный быт и мир обывателей, разнообразно стремящихся сочетать задачи прессы с покровительством их темным и мелким делишкам, недвусмысленно угрожающих при этом физической расправой.

Каждую ночь редактор видит страшные сны и после каждого трудового дня чувствует себя так, как-будто его уже вздули.

«Но если бы я знал, что будет дальше со мной! Если бы я знал, что я, редактор «Саламандры», вступлю в полемику с «Карболкой»! Если бы я знал это — я застрелился бы ранее, чем допустил себя пережить это.

Ибо в конце полемики я все-таки ведь застрелился же!

И вот — я дожил до некоего вторника.

В этот день я пришел в редакцию и увидел на моем месте № «Карболки». Он был развернут, и его фельетон был заботливо и любезно очерчен красным карандашом. Я взял в руки № и стал читать его...

«Прогулка по городскому саду при благородном свете беспристрастия» — называлась эта статья.

«Читатель! — гласила она.. — Позволь мне рекомендовать тебе ту кучку монстров и раритетов, которая всегда торчит в городском саду и вызывает у тебя изумление своим размахистым поведением и той намеренной эксцентричностью костюмов, которая всегда достигает своей цели, обращая на себя внимание людей, действительно благомыслящих и неподкупно любящих свою родину... И вот мы, не стесняясь приличиями, в нашем искрен-

нем желании помочь тебе правильно оценить этих господ, претендующих на благородное звание русских людей, раскрываем пред тобой их прогоркшие, развращенные души и срываем маску благородства и оригинальности с их хамелеоновских физиономий... Ты видишь этого громадного детину в шляпе турецкого бандита или плантатора восточно-американских штатов? В руках его толстушая палка, может быть, на ней есть запекшаяся кровь... Читатель, — не бойся его!.. Мы имеем подробные сведения об этом господине...».

И далее сообщался ряд потрясающих сведений, разоблачавших безнравственную жизнь редактора.

Я почувствовал, что меня «оглушили», выражаясь новейшим литературным языком, или меня «взбутетенили», — говоря тем же стилем, меня «вз'ерепенили», «подмазали», «задали фёферу» и показали мне полемическую «коку с соком».

Я — чорт меня дернул! — вздумал написать маленькую поправку к фельетону.

Мне хотелось объяснить, что обвинение меня в женолюбстве построено только на почве моих платонических чувств к одной женщине, а что касается носовых платков, то я в опровержение каких-либо подозрений предлагал притти ко мне и посмотреть оплаченный мною счет из магазина...

Но — увы! Через день появилось опровержение моего опровержения. Оно озаглавлено было: «Честь по представлению о ней редактора «Саламандры».

«Эта убогая газета, — говорилось в статье, — все понимает по-своему. Обратите внимание на ее правописание: она не пишет честь, а пишет — «чест».

И затем начиналось разъяснение, что такое честь с мягким знаком на конце и как надо понимать честь с твердым знаком. Выходило, что твердый знак радикально изменяет представление о чести.

Порядочный человек должен был иметь при себе честь с мягким знаком на конце, люди же, употребляющие честь с твердым знаком, — душегубы и разбойники.

Я возразил кратко и ясно, сказав, что это только корректурная ошибка. Мне ответили, что за недостатком аргументации я, конечно, не мог найти иного оправдания своей моральной нищеты и духовной извращенности. Кстати было упомянуто и о том, что моя бабушка собирала на папертях церковью милостыню, и мой дед был горчайший пьяница, а незадолго перед смертью сошел с ума.

Я немного разгорячился и заявил, что как моя бабушка, так равно и дедушка никакого отношения к прессе не имели и даже всю свою жизнь не знали о ее существовании.

Тогда мне сказали, что человек, публично сознающийся в своем незнании задач прессы и в то же время состоящий руководителем одного из ее органов, должен быть за это повешенным.

Я взбесился и ответил кратко: — Вы сами все висельники.

Это было принято за оскорбление. В новой статье мне ответили внушительно и тяжело. Перечислив все свои будущие заслуги перед «обществом», «Карболка» напечатала мою подробную биографию, по прочтении которой на моей голове образовалась внушительная лысина. В заключение статьи мне представлялась на разрешение такая дилемма: или быть избитым палками, или публично покаяться во всех своих преступлениях и благоразумно предать себя в руки правосудия...

Я чувствовал себя неспособным к такой полемике, хотя во дни моей юности и славился, как ловкий и смелый кулачный боец.

По всем вышеуказанным причинам я впал в отчаянную тоску. Это было мучительное состояние, выход из которого я знал один — самоубийство... И вот я решил покончить с собой. Я с трудом решаю, но не привык медлить, раз уже решил.

А посему я вынул свой револьвер, тщательно зарядил его, нащупал рукой сердце и уже готов был прекратить его биение, как вспомнил, что «Карболка» может опередить нашу газету сообщением о моей трагической кончине.

... Я оттолкнул револьвер в сторону и взял в руки перо, чтобы написать о себе несколько теплых слов. Ибо, по совести говоря, кроме себя я не знаю человека, который имел бы так много права почтить меня парой теплых слов. Да, в течение моей жизни я сделал себе много совершенно бескорыстных услуг и могу вполне искренно сказать себе: спасибо, брат!..

... И вот я сел за стол и написал хронику:

«Трагическая смерть М. Г. Паскарелло.

Вчера ночью, в 11 ч. 55 м., малоизвестный в настоящем литератор, наш уважаемый сотрудник (имярек) — лишил себя будущего выстрелом из револьвера в левую сторону груди. Пуля, раздробив ребро, вошла в сердце и, пробив его навывлет, впиалась в спинку кресла.

Покойный был человек крупного роста и носил широкие одежды, за что раз подвергся ядовитому обличению в печати.

Но мы надеемся, что теперь, в виду его смерти, не будут ставить ему в вину любовь к некоторой эксцентричности в costume; не надо забывать, что, как бы мы ни одевались, в конце концов, всех нас ждет один и тот же универсальный костюм — саван. Мы не будем говорить о заслугах покойного перед обществом, мы обойдем молчанием и его личные свойства, но уже один тот факт, что он решился умереть в таких молодых летах, ясно свидетельствует, как неустанно этот человек до последнего момента своей жизни боролся со всем, что ненужно в жизни, и как последовательно он истреблял его. Этот же факт рисует и недюжинный ум покойного.

Что сказать еще о нем? Скажем главное — он умер. Мы все тоже умрем современем, это — факт. Все люди, покойные и беспокойные, будут абсолютно покойными, ибо всем, рано или поздно, придется лечь в могилу. В виду этого обстоятельства, также и в силу нашего полного незнания о том, что нас ждет за гробом, мы рекомендовали бы публике — как нашим

читателям, так равно и собратиям по искусству просвещения — быть, елико для них возможно, порядочнее. Вот все, что мы имеем сказать по поводу роковой кончины нашего сотрудника. Мир душе его!».

Написав это, я расстегнул рубашку и выстрелил себе в грудь. Все произошло так, как написано мной, — пуля пробила меня насквозь и вслед за ней из меня выскочила душа.

Вследствие этого я умер».

Этот шарж был бы довольно безобидным, если бы не заключал в себе злую сцену с сотрудником «Карболки», готовым на сотрудничество в любой газете, независимо от ее направления.

Сотрудники «Сам. Вестника» поняли намек. Фельетонист «Вестника» С ф и н к с (под этим псевдонимом писал А. Ф. Клафтон) выступил с яростным ответом «мало известному в настоящем литератору» и «гастрольному сотруднику «Самарской Газеты».

В фельетоне весьма прозрачно изображен Ашешов в лице Балалайкина, нанимающего на работу проезжего итальянца Паскарелло, шарманщика и дрессировщика собак. Поскольку в этой полемике скрыт ряд неясных теперь для нас намеков местного значения, она мало представляет интереса. Но очень любопытно, что, переходя к обсуждению роли ново-прибывшего сотрудника, фельетон принимает черты литературного памфлета, первого памфлета против Горького.

«... С этого момента, которым наша история обязана исключительно ловкости Балалайкина, безвременно погибший Паскарелло отдает все свои силы и знания просветительной деятельности... Он забыл свое прошлое, кулачные бои, шарманки и собак и стал писать.

Писал он фельетоны, поэмы, стихи к ней и без нее, сцены, этюды, серьезные статьи и все прочее, что может требовать серьезный орган в деле ремонта вековых устоев...

Будучи единственным представителем в Самаре единственно здорового течения в литературе — декадентского, — он создал особый аппетитный культ женской красоты... Он трогательно и изящно воспел женщину с прилипшей к стану юбкой, гибко облекавшей все стройные детали ее форм ¹⁾ (зри вдохновенно-художественное произведение его пера в газете «Саламандра», нареченное «Любовь к чужой жене на плоту»). Смакование любви во всех видах — и прозой, и стихом — его главная заслуга перед родиной...».

Такова была первая печатная оценка творчества Горького.

Нам сейчас странным кажется негодование «Сам. Вестника», возмущавшегося «эротикой» рассказов Горького, а также зачисление его посему в «декаденты». Но это не было случайным выпадом и, напр., в № 166 «Сам. Вестн.» (от 4 августа 1895 года), после появления нового рассказа Горького

¹⁾ Пародируется рассказ «На плотях»: «Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу и ясно обрисовавшем его, — она повернулась к Силану лицом...» — и т.д. («Сам. Газ.» 1895, № 71).

«Сказка», «Вестник» снова писал, подтверждая свою оценку роли Горького в газете:

«Самарская Газета» давно славится своим «романтизмом» и склонностью ко всяким видам «пламенной любви» и вряд ли выбьется из этой «психоло-клубничной» философии на арену борьбы с общественным злом, о котором она некогда рассуждала...».

Полемика, как видим, была жестокая.

Впрочем, нужно принять во внимание, что вражда газет вызывалась не только принципиальным расхождением, но и силой конкуренции. В этой борьбе «Сам. Газета» имела явный перевес:

В то время, как мало организованный и мало подвижный «Вестник» доводил свой тираж только до 400—600 экземпляров, «Сам. Газ.» имела тираж в 2—3 тысячи, для провинциальной газеты того времени — весьма значительный. Вероятно, по причине такого соотношения сил «Вестник» не столько нападал, сколько защищался.

Успеху «Сам. Газеты» способствовал и такой опытный журналист, как С. С. Гусев (Слово-Глаголь), легко и непринужденно беседовавший с читателем в своем ежедневном фельетоне «Между прочим (мелочи, наброски и т. п.)». Когда Слово-Глаголь уехал из Самары для работы в «Одесских Новостях», «Между прочим» перешло к Горькому, который вел его за подписью И е г у д и л Х л а м и д а. В своих воспоминаниях Горький назвал деятельность фельетониста Хламида «окаянной работой». Обязательность ежедневных выступлений, обязанность выискивать тему, подневольность этого труда делали его окаянным. Но, объективно рассматривая рост Горького, как писателя, не следует слишком низко оценивать этот год его работы фельетонистом. Навыки фельетона требовали короткой острой фразы — это ломало стиль Горького, — для ранней эпохи его творчества характерны длиннейшие, иногда мало внятные периоды. Наблюдения за городской уличной жизнью, зарисовка сцен составляли род эскизов к беллетристическим вещам. Наконец, фельетон учил Горького всем приемам прямого высказывания, — до тех пор публицистика Горького выражалась главным образом аллегорией.

Но Короленко и Ашешов не ошиблись. Горькому было что сказать в публицистике, хотя на первых порах его выступления должны были производить несколько странное впечатление.

Первый фельетон Горького был написан по поводу начавшей ходить в Самаре конки. 14 июля 1895 года самарские обыватели, вероятно, были удивлены, увидев на месте легкого и безобидного фельетона Слова-Глаголя такие угрюмые строки и тяжеловесные обвинения по своему адресу:

«Конка имеет тенденцию ускорять движение обывателя, а обывателю необходимо куда-нибудь скорее двигаться, ибо иначе он превратится в китайца, которому он и так уже духовно близок. А мне кажется, что он все-таки заслуживает лучшей участи и по этой причине я бы желал для обывателя движения... Пусть он куда ни то стремится и по дороге к цели да спадают с него одна за другой азиатские привычки и да выветривается страсть к диким выходкам. И да снизойдет в душу ему иное желание, более

разумное и менее зверское, чем желание совершить катастрофу посредством подкладывания камней на рельсах конки, с целью низринуть во прах вагон с пассажирами и разбить им черепа и физиономии и переломать им руки и ноги и всячески исковеркать и раскровянить ближних своих».

Круг тем фельетонов Хламида был очерчен интересами города: пыль на улицах, конка, безобразия в больнице, дикие «развлечения» обывателей, опять о грязи и пыли, о местных хулиганах-«горчишниках», о бесконечных думских комиссиях, о городской управе, о сплетнях, скуке и серости провинциальной жизни.

Тон фельетонов был мрачным и обличительным, подстать удивительному имени фельетониста. «Я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим», — вспоминает Горький.

Обличать можно было лишь в пределах дозволенного, но тем сильнее обрушивался Хламида на серую массу обывателей, которые казались ему причиной и оплотом сонной спячки и дикости русской жизни. Нападки эти порой были так резки, что в самое короткое время Хламида прослыл «отчаянным ругателем». И, — что не могло не казаться несколько странным, — «ругань» не всегда направлялась по адресу определенных лиц или учреждений, а часто просто по городу, по поводу очередного местного события.

Так, например, по поводу принятых мер против разгуливания на улицах свиней и прочих скотов: Хламида приветствует эту борьбу со «свинством», но напоминает, что «победа над самим собой — труднейшая из всех побед»; по поводу открытия велодрома и демонстрации велосипедного спорта Хламида вместе с дамами, присутствовавшими на торжестве, восхищается изумительными ногами разных форм и качеств, полагая, что скоро «господа спортсмены не захотят больше пачкать своих славных ног пылью и грязью земли и в праздничные дни будут разгуливать по Дворянской улице вниз головой — этой совершенно пустой и ненужной им штукой». Даже по поводу такого незначительного события, как приезд в Самару на гастроли карликов, Хламида писал:

«Наверное, карлики будут иметь в Самаре колоссальный успех. Всякому любопытно посмотреть на двух людей, еще более маленьких и мизерных, чем он сам.

Всякому приятно видеть нечто такое, что еще уродливее, чем он сам, и что позволяет ему сделать лестное сравнение в свою пользу.

Самарские люди будут смотреть лилипутов и услаждать себя сообразными случаю размышлениями:

— Мы еще что! Конечно, мы люди не крупные, а все-таки бывают живые люди и еще мельче, чем мы...».

Неудивительно, что такие любезности вызывали возмущение со стороны лиц, считавших себя задетыми, и, по словам Хламида, он чуть ли не каждый день получал по почте анонимную брань от самарских обывателей.

«Я не нарушаю общественной тишины, — отвечал Хламида, — хотя искренно желаю сотрясти и возмутить ее спокойствие».

Так агрессивно начал свою деятельность Горький-фельетонист. Короленко наблюдал эту деятельность из Нижнего, давал Горькому советы в работе публициста, как прежде в работе беллетристической.

Часто Короленко не одобрял Хламиду и критиковал его фельетоны «насмешливо, внушительно, строго, но всегда дружески». Не в стиле и не в принципах Короленки были грубоватые приемы Хламиды — «даже за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры», — писал он Горькому¹).

Но кто был вне себя от деятельности Иегудиила Хламиды, так это «Самарский Вестник», раздраженный нападками Горького.

«Сама по себе эта Хламида — ничтожна и не стоила бы внимания, но, прикрывая своей дырявой мантией беспринципности... обывательски-публицистические тенденции... она является опасным элементом разложения в прессе и нуждается в критическом скальпеле...

Кто он? Где он воспитывался? Из какой «академии» почерпнул он свои нравственные и литературные принципы?..»²).

В сущности, упреки (если откинуть личное раздражение) сводились к тому, что Горький своей работой в «Самарской Газете» укреплял слишком расплывчатую «обывательскую» позицию Ашешова. А в фельетонах своих он настолько обнаруживал свою беспринципность, что в соединении с его агрессивным тоном это создало даже опасность «разложения в прессе».

Конечно, это было не так, хотя упреки в «плохом воспитании» имели кое-какие основания.

Горький, сталкиваясь в Казани и в Нижнем с различными группами и кружками интеллигенции, не примкнул ни к марксизму, ни к народничеству. Но дело в том, что вопрос о характере экономического развития России никак не мог быть коренным в его сознании.

Опыт его пестрой жизни ставил его лицом к лицу с косной жестокой средой, относившейся враждебно и подозрительно ко всему, что могло нарушить ее тупое спокойствие. Горькому казалось, что и марксисты и народники мало учитывали угрозу этого косного средостения.

«Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась

¹) К тому же времени относится знакомство Горького в Самаре с Н. Г. Гариным-Михайловским:

«Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

— Это вы—Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида—плохо. Это ведь тоже вы—Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчился этим и поэтому инженер не понравился мне. А он пивил меня: — Фельетонист вы слабый; фельетонист должен быть немножко сатириком,—а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый и владеете вы им неумело».

²) В другой статье, совершенно в стиле полемики «Карболки» и «Саламандры», Горький уличался в том, что долго жил с босяками и «вместе с ними лазил по помойным ямам».

Горький резонно отвечал на это, что оппонент забыл упомянуть о краже со взломом, совершенной им в одном из его рассказов.

мне совершенно бесполезной, возмущала меня своей духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу».

Вот этот вопрос общего культуртрегерства казался основным Горькому-общественнику и, когда через пять лет жизнь привела его к роли публициста, он ставил себе задачей «открывать в глухих зарослях нашей тьмы и невежества разнообразную дичь и бить ее верно и метко»¹⁾.

В этом был и принцип и пафос Иегудиила Хламида. И не его вина, если мало было в самарской жизни такого, что вызывало его сочувственный пафос. По поводу одного из наиболее курьезных случаев невежества самарских обывателей, Хламида предложил: «На набережной города Самары поставить такую же вывеску, как у Жигулевского завода, и на этой вывеске написать:

Смертный, входящий в Самару в надежде в ней встретить культуру,
Вспять возвратися, зане город сей груб и убог.
Ценят здесь только скотов, знают цены на сало и шкуру,
Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог.

Однако не нужно думать, что Иегудиил Хламида был беспочвенным культуртрегером. Он тоже знал «цены на сало и шкуру» и в его многочисленных выступлениях значительное место занимает, напр., борьба с самарскими толстосумами. Для заправки города, купцов и промышленников, засевших в городском самоуправлении, несомненно, Хламида был весьма неприятной и беспокойной фигурой.

Излишним должно было казаться его существование и для средних и мелких хищников, собиравших копейку не всегда праведными путями. Хламида обличал скупщиков, прижимавших крестьян, администрацию железных дорог, бессовестно обсчитывавшую мелких служащих, лавочников, патриархально эксплуатировавших своих «молодцов» и т. д.

Он поднимал целые кампании в защиту какого-нибудь лица или группы населения. Так, например, доказывал неправильность увольнения машиниста и кочегара за служебный недосмотр, который вызван был переутомлением их вследствие безобразной служебной нагрузки; настаивал на том, что город обязан дать помещение для нанимающейся домашней прислуги, вынужденной мокнуть под дождем в ожидании нанимателей («Корневильский рынок в Самаре»); боролся за отмену возмутительного постановления городской управы, по самодурству выселявшей бедняков с городской земли.

Иегудиил Хламида был, таким образом, предстателем всей городской низовой массы, не имевшей права голоса.

Привожу, как образец, одно из типичных его «Между прочим».

«Недавно в Самаре был такой случай.

В одном учреждении заметили, что некто из служащих не приходит работать.

¹⁾ Рецензия на книгу фельетона Д. А. Линева (Далина) «Не сказки», за подписью И. Х.

Заметив это, начальство решило — оштрафовать его.

Оштрафовали.

Но и это не подействовало на строптивного служащего, — он все не являлся работать.

«Гм! Странно», — думало начальство.

И вдруг оказалось, что этот служащий не ходит работать потому, что он умер.

Тогда начальство еще подумало и пришло к убеждению, что смерть — причина вполне уважительная для того, чтобы не являться на службу.

Сложило ли оно с покойника штраф — не знаю.

Думаю, что сложило, потому что с покойников крайне трудно взыскать что-либо, за невозможностью определить место их жительства.

* * *

История не вся, в ней нет середины.

Дело, видите ли, в том, что этот служащий, прежде чем умереть, заболел, как это очень часто делают люди.

Заболев, он сейчас же лишился средств существования.

Отсюда следует мораль:

Бедняки! Не хворайте, ибо сие для вас есть роскошь, роскошь же безнравственна.

Не хворайте, о, бедняки, ибо это лишает вас средств к существованию и посему невыгодно.

Бедняки, служащие где-либо!

Вы тем более не должны хворать, что за вышеприведенными неудобствами болезнь ваша имеет и еще одно — она беспокоит ваше начальство.

Ибо, заболевая, вы имеете дурную привычку обращаться к нему за пособиями.

Вот как много морали я вытащил из этой маленькой истории.

* * *

В данном случае так же было.

Герой моей правдивой повести, захворав, обратился к начальству с просьбой о пособии.

— Гм, — сказала про себя начальство.

Пособие? Человек хворает и просит пособия.

Следует ли пособлять человеку, который занимается тем, что хворает?..

Морально ли такое занятие и заслуживает ли оно поощрения? Какая польза может быть извлечена обществом из человека, который лежит обремененный недугами на скудном одре своем, лежит и стонет?

Итак, следует ли помогать ему в этом занятии, раз оно бесполезно?

Ясно, — не следует.

По сей причине больному служащему пособия не дали.

* * *

Тогда он умер.

Он, наверное, умер бы и с пособием.

Да, впрочем, он с пособием и умер, ибо, не давая ему сейчас пособия, ему тем самым и помогли умереть.

И вот, когда он умер, то решили:

— Выдать ему награду в 50 рублей!

Повторяю, для вящего эффекта:

— Наградить его 50-ю рублями!

Ну, скажите же, разве это не гуманно?

Не хорошо?

Не вызывает слез умиления на ваши глаза?

Нет?

Так это потому, сударь мой, что у вас черствое сердце и вы не умеете ценить гуманность вашего начальства!

* * *

Но, один вопрос, если вы позволите.

За что выдана награда этому бедняку?

За своевременное удаление к праотцам?

Почему тогда ему для поощрения «в путь-дорогу» не дано пособие?

Мудрые Эдипы города Самары! Решите сей вопрос.

Очень злые фельетоны были направлены против типографщика Грана, избившего мальчика, против фабриканта Лебедева, по халатности которого произошло увечье на его фабрике. Лебедев написал даже «опровержение», в котором, понося Хламиду «болезнетворной бациллой в здоровом организме печати», взывал к издателю Костерину, который должен был бы «ближе, чем Хламида, стоять к жизни». Хламида опубликовал в своем следующем фельетоне письмо Лебедева с обещанием вернуться к порядкам лебедевской фабрики.

Да, Хламида был неприятной личностью.

Недаром один смысленый человек придумал такой способ существования. Он подсаживался в трактирах к посетителям и назывался Иегудилом Хламидой. В разговоре он прозрачно намекал, что может любого человека «пропечатать». Его предупредительно угощали, и таким образом некоторое время он сытно и безбедно существовал именем Хламиды, пока не был разоблачен «Самарской Газетой».

Удавалось ли Иегудилу Хламиде достигать обличениями своими каких-либо ощутительных результатов? На этот вопрос А. М. ответил мне так:

«Удавалось. Владелец чугунно-литейного завода Лебедев нанял двух рабочих бить меня. Они мне оторвали лацкан пальто, и я, в то время ходивший с палкой по причине ревматизма коленных суставов, должен был сломать палку в бою с нападавшими. Спустя некоторое время я с одним из них подружился и узнал, что наняты они были за три рубля.

Года за четыре—пять до этого одна милая женщина предлагала мне только полтинник за то, чтоб я «пришиб» ее супруга. Вот как быстро росла заработная плата в начале 90-х годов!».

Для застойной жизни того времени характерно, что почти ничем не отметил Иегудиил Хламида, если не общественного протеста, то хоть общественной инициативы.

Впрочем, было одно «общественное движение», но Хламида воспользовался им, чтобы в щедринских тонах изобразить это «подобие революции».

«В моменты решительные чувство самоохранения и трусов перерождает в бесшабашных храбрецов.

Это доказано еще раз самарскими обывателями, проявившими способность к коллективизму после того, как обгрызла собака.

Опасаясь, что самарские собаки пожрут самарских жителей, последние обратились к полиции, прося у нее защиты от собак.

И не просто обратились, а обратились коллективно.

Пришли и сказали:

— Заступитесь за нас у собак! Уже близко время, когда они перегрызут всех нас. Пожалуйста, заступитесь! А ежели не сделаете этого, то мы сами станем стрелять по собакам из огнестрельного оружия!

Вон оно куда пошло!

Смотрите-ка, сколько в этой речи храбрости и смелости.

Даже есть некоторый намек как бы на сознание обывателем своих прав.

И все это, я уверен, плоды коллективизма, который вызван к жизни собаками».

Велика, вероятно, была скука самарской жизни, что так мрачен был Иегудиил Хламида. Недаром и единственный рассказ, написанный Хламидой, содержал в себе тоже достаточно мрачную историю. Историю молодого поэта, которого во время его самых пылких мечтаний заели блохи.

Не следует, конечно, придавать излишнего значения лирике этой юморески, но следует отметить, что и рассказы Горького этого времени определенно пессимистичны. Вероятно, многочисленные читатели Горького, так восторженно встретившие его первые сборники, увидевшие в них «бодрость», «призыв» и т. д., не мало удивились бы, если бы прочли его рассказы самарского периода.

В рассказе «Сказка» прекрасная белокурая девушка с голубыми добрыми глазами и нежным чутким сердцем, в котором не было ни лжи, ни тщеславия, ни низких побуждений («вы видите теперь, что это действительно сказка» — говорит автор), получает чудесным образом возможность увидеть свое будущее. Перед читателем проходит жизнь женщины, тоскливая и мрачная в своей обыденности, — автор утешает его тем, что такого случая никогда не было, что это — сказка.

Характерен рассказ «Колоша» — о мальчике, доведенном нищетой до самоубийства; рассказ «Первый дебют», — о дебютантке, вышедшей на

сцену с верой в свою силу и в силу искусства и раздавленной тяжким взглядом толпы — этого стоголавого животного, «которое много пожрало, много пожирает, еще больше пожрет и все живет как раньше, серое и бездушное...», а известный очерк «Однажды осенью», из цикла «бодрых» и «жизнерадостных», составивших его первые сборники, в «Сам. Газете» имел другую редакцию. Заканчивая рассказ о встрече с Наташей, автор так восклицает:

«Да не проснется в ней никогда сознание падения своего, и да не пожелает она лучшей жизни, — ибо лучшая жизнь невозможна, не достижима для этих Наташ, пропитанных и отравленных грузью жизни и ядом разврата»¹⁾.

Словом, казалось, Горький был верен тому заявлению, которое он сделал еще в своем очерке «Несколько дней в роли провинциального редактора»: «Жизнь темна, я достаточно потолкался в ней»... В одном из своих последних фельетонов (пасхальный номер 1896 г.) он повторяет: «Жизнь скучна и пуста, и темна», — это вместо обычного-то пасхального поздравления читателей! Да, обыватели имели основание быть недовольными Иегудиилом Хламидой.

Но, как бы то ни было, и в качестве публициста и в качестве беллетриста Горький занимал в течение года видное место в «Самарской Газете», будучи необходимейшим лицом в редакции. А когда Ашешов ушел в преобразованный «Нижегородский Листок», Горькому предстояло заступить его место секретаря и фактического редактора.

Однако резкость и угловатость молодого журналиста были, повидимому, мало пригодными для редактора качествами, не только в глазах издателя Костерина, но и Короленки. На это место был приглашен народник А. А. Дробыш-Дробышевский (Уманьский), бывший до того редактором «Волгаря». Ему писал Короленко уже после отъезда Горького из Самары, 2 июля 1896 года:

«Пешкова я видел в Нижнем, правда, мельком. Очень рад и за Вас и за газету, что в борьбе этой получили перевес Вы, а не он. Но самое бы, конечно, лучшее, если бы самой борьбы не было, если бы он писал под твердыми редакторскими браздами. Ну, да не вышло, что делать. Он все-таки человек талантливый, только очень нуждался в редакторских указаниях»²⁾.

Горький уехал из Самары 14 мая 1896 года. Если в Нижнем он был только начинающим газетным беллетристом, то в Самаре получил настоящее боевое крещение. Здесь он напал и отбивался, здесь его художественная работа впервые подверглась публичной и резкой критике.

¹⁾ Кроме «Однажды осенью», из числа рассказов, вошедших в собр. соч. Горького, в «Сам. Газ.» появился еще очерк «История с застежками» (картинка из жизни босяков), известный под названием «Дело с застежками», интересен автобиографический рассказ «У схимника» и «набросок» «Бабушка Акулина», в котором намечаются некоторые сцены будущей пьесы «На дне».

²⁾ Вероятно, А. А. Дробышевский, видевший в Горьком соперника, внушил Короленке преувеличенное представление о «борьбе». В письмах к Короленке Горький, не считая себя достаточно сильным газетным работником, сам высказывался за приглашение Дробышевского.

Через несколько лет А. Чехов по поводу недовольства Горького «Фомой Гордеевым» писал ему: «... Вы не были в литературной бурсе, а начали прямо с академии и теперь Вам уж скучно бывает служить без певчих».

Чехов был не прав. Литературной бурсой Горького, и грубоватой, и поучительной, была Самара. И служил он там «без певчих». «В Самаре Алексей Максимович, — писал мемуарист, уже цитированный мною, — жил очень уединенно и был пророком в своем отечестве. Местный «бомонд» и не подозревал, что где-то в подвале зреет и разворачивается стихийно талант. Большинство «интеллигентов» только презрительно подсмеивались над костюмом Иегудиила Хламида, не сумев разглядеть Максима Горького, не поняв его даже тогда, когда он напечатал в местной газете «На плотях»...

В конце концов, Алексея Максимовича знали, любили и высоко ценили в Самаре лишь немногие друзья и 2 — 3 семейных дома, где он был принят, как родной.

И хотя талант его явственно расцвел еще в Самаре, местное общество не признало его и не хотело долго признавать. Когда уже Горький гремел в «Художественном», здесь удивлялись и не верили. «Это тот самый? в разлеталке? Иегудиил Хламида?! Не может быть!»

Горький-революционер

В. РУДНЕВ

(Окончание ¹)

Так как необходимо было остановить туберкулезный процесс, то Алексей Максимович из Риги «самовольно отлучился» в Крым. Об этом создалась огромная переписка, поводом к которой послужил совершенно неожиданный для Департамента телеграфный срочный запрос от московского градоначальника от 22 марта:

«Сегодня три часа дня приезжает Москву из Риги Алексей Пешков, предполагает остановиться здесь пять дней. Нахожу такое пребывание совершенно нежелательным. Прошу уведомить срочно, кем разрешено его прибытие Москву. На мой двукратный запрос по телефону Департамент через начальника охранного отделения ответа не имею. Благоволите испросить указаний министра».

В Москву последовал немедленный ответ от товарища министра внутренних дел Рыдзевского:

«Если признаете пребывание Пешкова Москве опасным общественному спокойствию, можете применить пункт четвертый статьи шестнадцатой охраны. Сведения о том, кем разрешено прибытие Москву, не имеется».

Алексею Максимовичу все же удалось побывать в Москве, по дороге в Крым. Целый месяц тянулась обстоятельнейшая переписка для выяснения того, — кто, как и почему разрешил Пешкову свободно ездить, и как вообще это могло случиться, и насколько вредно это отзовется на следствии по его делу. Поданное Пятницким, К. П., по поручению Алексея Максимовича, прошение выясняет тяжелую картину бывшего тогда состояния здоровья Алексея Максимовича.

«В Департамент Полиции

по делу писателя Алексея
Максимовича Пешкова (М. Горького)

прошение.

Алексей Максимович Пешков страдает туберкулезом легких. Это подтверждается прилагаемым свидетельством д-ра Гольцингера. Заключение в Петропавловскую крепость было вызвано возобновление туберкулезного процесса в легких.

¹) См. «Новый Мир», № 3 с. г.

По освобождении из крепости, процесс продолжал усиливаться и, наконец, довел больного до кровохаркания. Врачи, осмотревшие М. Горького, настаивали на немедленном отъезде в Крым, где можно остановить процесс. Таково же мнение проф. Щуровского, с которым М. Горький советовался в Москве; свидетельство проф. Щуровского может быть представлено. В виду всего вышеизложенного, в виду продолжения кровохаркания, пришлось с возможною поспешностью отправить больного в Крым для лечения. Теперь, по поручению А. М. Пешкова, обращаюсь к Департаменту Полиции с просьбою разрешить А. М. Пешкову пребывание с лечебною целью в Крыму, как единственном месте в России, где можно быстро остановить туберкулезный процесс, опасный для жизни.

31 марта 1905 г.

По поручению А. М. Пешкова,
кандидат университета Константин
Пятницкий».

Так как «самовольная отлучка» из места жительства лица, обязавшегося перед судебным следователем не выезжать до окончания дела из известного места, может иметь последствием лишь принятие более строгой меры пресечения, — то пребывание в Крыму было разрешено только при особом условии. Начальник таврического губ. жанд. упр. уведомлялся из Департамента:

«№ 2139, 4 мая 1905 г.

Начальнику таврического губ. ж. упр.

Вследствие отношения от 1 минувшего апреля за № 1321, и в виду ходатайства издателя сочинений Максима Горького, кандидата университета, Константина Петровича Пятницкого, Д-т Полиции сообщает вашему высокоблагородию, что г. министром вн. дел разрешено литератору Алексею Пешкову (М. Горький) временное пребывание в Крыму для климатического лечения хронического туберкулеза левого легкого, при том, однако, условии, чтобы за ним и деятельностью его было установлено на месте внимательное негласное наблюдение».

В мае 1905 г. Алексей Максимович уже был в Финляндии, в Куоккале. В этот период едва не возникло новое обвинение Алексея Максимовича. В посылке, посланной от его имени в Крым на имя Ек. Павл. Пешковой, с пятью экземплярами «Песен Свободы» были обнаружены комитетом иностранной цензуры листовки, изданные центральным комитетом «российского освободительного союза», под названием: «Устав рабочего союза и воззвание к рабочим». Как объяснялось в воззвании, этот союз «не есть какая-либо партия с определенной, ей только присущей, программой, — это есть союз всех желающих передачи власти от самодержавия в руки народа при помощи вооруженного восстания путем созыва учредительного собрания», вследствие чего союз «ставит себе целью организовать хорошо вооруженные дисциплинированные народные дружины» и т. д. Но кто именно был автором этих печатных листовок, и почему они попали в посылку, — об этом никаких сведений не оказалось, и переписка прекратилась. Принимал ли участие Алексей Максимович в этой своеобразной организации, никаких сведений об этом в опубликованных и в неопубликованных материалах о нем встречать не приходилось.

О причастности Алексея Максимовича к организации декабрьского вооруженного восстания есть данные только в деле Николая Павловича Шмидта, владельца мебельной фабрики на Пресне, привлеченного, как известно, за непосредственное участие в восстании и трагически окончившего жизнь в тюремной больнице¹⁾.

Начатое об Алексее Максимовиче дело, стоившее ему столько здоровья, не было доведено до конца: надвигающаяся гроза первой русской революции избавила Алексея Максимовича от необходимости предстать однажды перед судом петербургской палаты «без участия сословных представителей». А с 1906 г. Алексей Максимович перешел на положение политического эмигранта, «разыскиваемого» циркулярами Департамента Полиции.

С 1906 г. начинается первый период заграничного пребывания, заканчивающийся в 1913 г. Это — период развернутой, открытой и широкой революционной деятельности, сначала в одиночку (известное турне Алексея Максимовича по Европе с протестом против займов), затем сотрудничество с партиями: социал-демократической (большевиков) и, отчасти, социалистов-революционеров. По частям этот период довольно подробно освещен в печати (см. книгу Груздева о М. Горьком, также Ленинские сборники с письмами В. И. Ленина к Алексею Максимовичу, данные о каприйской школе в книге А. В. Луначарского: «Великий переворот» и др.). Здесь приводим еще неизвестные, но в той или иной степени характерные данные.

Алексей Максимович из России выехал в январе 1906 года через Финляндию. О встрече Алексея Максимовича, устроенной ему в Финляндии, было доложено известным полковником Герасимовым министру внутренних дел²⁾:

«22 сего января в Гельсингфорсе в 4 часа вечера перед гостиницей «Кемп» собрались студенты и отряд «Красная Гвардия» с хором музыки. «Красная Гвардия» выстроилась шпалерами от гостиницы до пожарного депо. Затем к гостинице были поданы сани, в которые сел Алексей Пешков (Максим Горький), и в это время хор запел и музыка заиграла финский народный гимн. Пешков, сняв шляпу, кричал: «да здравствует свободный финский народ», и все время, пока его везли в пожарный дом, он стоял в санях и говорил речь. Из пожарного дома Пешкова русские гимназисты и студенты отвезли в гостиницу «Фениа», где он тоже говорил речь приезжим русским».

С переездом Алексеем Максимовичем границы Департамент Полиции собирает о нем все, что может характеризовать антиправи-

¹⁾ Сведения, касающиеся роли Алексея Максимовича в сборе средств на оружие, даны в справке, опубликованной в № 12 журнала «Былое» за 1918 г. Эта справка взята из дела Деп. Полиции, Особого Отдела № 200 — 1911 г. На углу справки в деле имеется чернильная пометка некоего чина: «Николай Павлович Шмидт, известный социал-демократ, ныне умерший, принимавший участие в восстании в г. Москве, предполагал оставить свое все состояние 500.000 руб. в пользу социал-демократической рабочей партии».

О его смерти см. № 12 журнала «Красный Архив».

²⁾ Дело О. О. № 33 — 1901 г.

тельствующую деятельность: сообщения европейских газет, не подлежащие опубликованию в России, письма, донесения итальянского посла.

В дополнение к уже известным в печати материалам о выступлениях Алексея Максимовича за границей с целью вооружить общественное мнение против русского самодержавия — приводим следующее:

В английской газете: «Daily Chronicle» от 22/VI — 1906 г. была напечатана статья:

«Максим Горький.

Взгляд романиста на русский кризис.

(Обращение к Англии).

Максим Горький, великий русский реалист, поместил в «The Nation» замечательное письмо, касающееся отношений Англии к России. Он горячо осуждает в интересах человечества всякое действие Англии в смысле союза или займа, которое послужило бы к укреплению русского самодержавия.

О царе Николае II Горький пишет: «Царь — человек слабый и истеричный. Начало его царствования ознаменовалось катастрофой на Ходынском поле, затем последовали события 9 января, московское восстание, военно-полевые суды, бесчисленные действия против цивилизации, унизившие общество и погубившие тысячи русских. Жестокое упорство Николая II и его борьба за власть может быть объяснена только таким образом: борьба постоянно увлекает его назад, в ретроградный консерватизм, несмотря на очевидную необходимость политической свободы, народного воспитания на широких, умственных основах, столь необходимых для умственного и экономического роста России. Положение России в настоящее время следующее: ваш будущий союзник, — англичане, — так гордящийся своей древней цивилизацией, пропитан с головы до ног кровью русского народа. Он борется изо всех сил, не разбирая средств, дабы достигнуть полной самодержавной власти и поддержать давно устаревшую форму правления. Умственный и экономический прогресс страны остановился. Самодержавная форма правления полезна и удобна только царю, которому дает неограниченную власть, и бюрократии, которой дает возможность красть без всякого контроля. Народ еще очень мало образован, но начинает понимать цену знания и стремится к нему. Народ борется за свободу учения, царь борется за свободу власти, бюрократия — за свободу воровства. Старые, истощенные и больные борются с молодежью, которая хочет вложить все свои силы в мирную сокровищницу ума и духа. Борьба эта имеет общеевропейское значение. Если правительство временно одержит верх, у ваших дверей будет существовать очаг, вокруг которого зародятся разные катастрофы, и нравственное влияние которого несомненно губительно отзовется на развитии европейской цивилизации. Британцы, вы имеете возможность сделать выбор. Будете ли поддерживать тирана, с его сателитами и замыслами против цивилизации, или молодую поднимающуюся демократию, жизнеспособную и богатую своими духовными силами».

Горький говорит: эта борьба будет несомненно продолжительная. Она окончится, как он думает, или образованием великой русской демократии, или гибелью России, как политической единицы. Он спрашивает тех англичан, которые склонны к союзу с Россией: «С кем хотите вы заключить союз? Есть две России. Одна Россия — это император Николай, бюрократия и «союз русского народа», т.-е. 10.000 людей низших классов, руководимых злыми и жестокими людьми; вторая Россия — это 100.000.000 славян и около 50.000.000 населения, принадлежащего к другим национальностям, входящим в состав Русской империи. Вся эта масса, как один человек, ненавидит царя и всех тех, кто с ним и за него. Которую же Россию вы считаете настоящей, способной к жизни, к труду и к той цивилизации, которую вы так любите и цените?».

В августе 1906 г. начальник подольск. губ. жанд. упр. сообщил в Департамент:

«Представляя при сем вырезку из газеты «Курьер Львовский» доношу, что Максим Горький-Пешков обратился к французским рабочим со следующим воззванием: «Час всеобщего восстания в России уже близок. Если не хотите, чтобы ваши русские товарищи шли в бой с голыми руками, жертвуйте им деньги на оружие и амуницию: этим вы лучше всего поможете им в борьбе за свободу».

Исключительное внимание, которое уделялось Алексею Максиминовичу и общественными и социалистическими кругами Европы, слава писателя и революционера — приводили в бешенство высокие правительственные сферы России. Очень характерна в этом отношении секретная депеша от 22/1—907 г. императорского посла в Риме, статс-секретаря Муравьева, присланная министру иностранных дел и направленная Столыпину ¹⁾.

Главным центром агитации против вас, сверх пресловутых конференций неутомимо странствующей по Италии Ангелики Балабановой, являются все-таки русские выходцы-революционеры, которые группируются теперь вокруг имени и личности Максима Горького и пользуются покровительством и помощью итальянских социалистов. Горький, выставляемый чуть ли не заграничным главой русского революционного движения и приверженцем так называемых «максималистов», продолжает в полном довольстве проживать на острове Капри, предается литературным занятиям, а вместе с тем принимает многочисленных посетителей и очень охотно играет роль «учителя», к которому ездят на поклонение и из любопытства. Недавно к нему присоединился его единомышленник, писатель Леонид Андреев, тотчас же прославленный газетами «величайшим после Горького русским беллетристом». Первоначально Горький и его друзья были весьма смущены тем, что энергичный неаполитанский префект Караччиало, во избежание демонстраций, запретил представление в Неаполе пьесы Горького «Дети солнца», уже представленной, если не ошибаюсь, в прошлом году в Петербурге. После немалых усилий и путем дорого оплаченной печатной пропаганды удалось устроить это представление на маленькой провинциальной сцене в Салерно. Пьеса успеха не имела, но послужила предлогом для новых похвал Горькому и шумной демонстрации «pro Russia» в театре. Скоро, однако, и это забылось, и пришлось прибегнуть уже к широкой уличной рекламе посредством расклеенных повсюду на стенах огромных афиш с портретом Горького и объявлением о его сочинениях, частью переведенных на итальянский язык. Но так как подобного приема оказалось недостаточно для подогревания шаткой популярности «вождя русской революции», то в крайних, а затем и в некоторых других газетах, было напечатано нечто в роде торжественной прокламации или «манифеста» его к итальянскому народу, где он с безграничным, до бессознательной нелепости доходящим самомнением и беззастенчивостью благодарит итальянцев за оказанные ему внимание и гостеприимство, превозносит русских революционеров и попутно в нескольких строках совершает настоящее оскорбление величества. Смею думать, что это последнее обстоятельство заслуживает также внимания и наших властей при ожидаемом возвращении Горького в Россию. Невзирая на невысокий уровень здешней печати, к чести ее упомянутая выходка Горького была принята или молчанием, или оценена по достоинству. Для характеристики нынешнего момента не лишнее привести следующий отзыв Миланской «Perseveranza»:

«Максим Горький странным образом смешивает Италию с социалистами или, что еще хуже, полагает, что социалисты олицетворяют собой Италию. Ему,

¹⁾ Дело Особ. Отдела, № 33 — 1901 г.

гостю Италии, не надлежало бы забывать, что в нашей стране гостеприимство священо, как и обычная для всех вежливость. Вульгарная выходка социалистов против русского императора и есть нарушение вежливости и гостеприимства, на которые они претендуют для других».

На 14/27 римские социалисты, под видом представителей «политических и экономических ассоциаций», организуют собрание в публичной зале улицы «Марморелли» для того, чтобы ознаменовать воспоминание о петербургском «красном воскресеньи», то-есть о 9 января 1905 г. Максиму Горькому было послано настоятельное приглашение председательствовать на этом митинге, но он предусмотрительно уклонился, как мне о том передавал министр внутренних дел. «Пусть поболтают и покричат в четырех стенах, а на улицу мы их не пустим»,—прибавил Джиолитти не без злорадной насмешки над социалистами, которых он имеет основание считать и личными своими врагами.

О вышеизложенном нахожу нужным довести до сведения вашего высокопревосходительства».

Италия, избранная Алексеем Максимовичем для своего постоянного жительства, привлекала его не только своим исключительным климатом и внешней красотой: она пробуждала в Алексее Максимовиче чувства благоговения, как хранительница высокой культуры и «глубокого демократизма». Это выражено Алексеем Максимовичем с исключительной силой в начале статьи о Финляндии, статьи, приложенной к письму своему другу Галлену, известному финляндскому художнику. Заслуживает внимания, каким образом эти материалы попали в руки Департамента Полиции. Начальник финляндского жанд. упр. от 28/1—1907 г. писал директору Д. П. ¹⁾: «При сем представляю фотографический снимок с подлинного письма Максима Горького. к известному финляндскому художнику Акселю Галлену и копию приложенной к письму газетной статьи Горького. Вместе с тем докладываю, что подлинное письмо удалось купить агентурным путем на самый короткий срок для снятия с него фотографического снимка имеющимся в управлении аппаратом».

Эта статья, как говорится в конце письма к Галлену, должна была появиться в газетах Англии, Франции и Италии. Она представляет собою призыв к Европе — спасти маленькую Финляндию от грозящей ей опасности со стороны царизма.

«В Италии чувствуешь себя более человеком, чем где-либо в ином крае — ее великие произведения искусства невольно наполняют душу горячей любовью к человечеству, верю в безграничность его творчества; искренний и глубокий демократизм прекрасной страны поднимает уважение к личности человека, возбуждая религиозное чувство веры в возможность духовного братства всех и каждого, со всеми и каждым.

И оттого, живя в Италии, острее и пламеннее чувствуешь ненависть ко всему, что сеет среди людей вражду и рознь, что будит в их душе звериные чувства, ожесточая их друг против друга: нигде насилие над человеком не кажется столь гнусным, столь пагубным, как здесь, в стране Джиордана Бруно и Гарibaldi, в стране Коло-ди-Риенци и Мадзини.

Черные вести идут из России, подлые вести о том, что духовно-мертвое (опившееся кровью, пьяное от сладострастия, жестокости, обезумевшее от пре-

¹⁾ Дело Особ. Отд., № 4365.

ступлений) русское правительство снова начинает варварский поход против маленькой Финляндии.

Эта страна, в два с половиной миллиона жителей, суровых и крепких людей, материально бедных, но богатых чувством и умом, за последние годы достигла удивительной культурной высоты: в Финляндии осуществлено всеобщее избирательное право, ее женщины пользуются этим правом широко и плодотворно, в стране установлено всеобщее образование, весь народ дружно и горячо принялся за борьбу с алкоголизмом, промышленность и ремесла высоко развиты. Финны всячески ярко доказывают великую ценность демократизма и свободы духа, их культурный рост за последние годы вызывает удивление и восторг всякого вдумчивого человека.

Но еще выше, чем в области политической, Финляндия поднялась в области искусства — высшего проявления духовной деятельности людей.

Такие художники-финны, как Аксель Галлен, соединяющий стихийную силу первобытного человека с великим стремлением к совершенству и пламенной любовью к прекрасному, такие имена, как Галлонен и Иернефельдт, Риссанен и Симберг — высокими талантами своими сделали бы честь любой стране.

Там живет и работает самый сильный, может быть, самый оригинальный архитектор современности—Сааринен, чудесный музыкант Сибелиус и другие творцы гармонии, поэт Эйно-Лейно и еще много мастеров стиха и прозы. Все они растут быстро, живут ярко и —люди маленькой скверной страны—по своим стремлениям, по широте своих задач, они были бы и дороги и близки нам, если бы вы знали их.

Для меня эта страна—нарек на будущее многих стран: в ней я впервые видел легко осуществленным в искусстве и в жизни многое, о чем другие страны еще только мечтают.

Но русское правительство, преследуя всегда одну цель—во что бы то ни стало укрепить свою власть над народностями, входящими в состав России,—ныне собирается погасить яркий огонь духовной жизни финнов.

Они кажутся царю врагами, потому что пользуются конституцией, которой присягали все его предки и он сам, они неприятны, видимо, и потому, что отказываются пить водку, они враждебны русской полиции и шпионам потому, что не позволяют в своей стране произвола и насилия, не допускают арестов русских беглецов, наконец, они культурны, а потому враждебны правительству полуграмотных чиновников и безграмотных генералов, правительству, составленному из очень жестоких людей и не совсем ловких воров.

Готовится новое преступление, скоро польют новые ручьи крови — драгоценной человеческой крови.

Люди, увлеченные процессом строительства социального, охваченные жаждой культуры, так удивительно способные к ней, принуждены будут взять в руки ружья и драться за свободу своей бедной земли с полуголодными, раздраженными солдатами русского правительства.

Духовное развитие человека остановится: из глубин инстинкта встанет укрощенный зверь, и, почуяв свою свободу, проявит ее в жестокости и насилиях. Этого зверя разбудит русское правительство, мудрое правительство России, которое постепенно развращает не только тех, кто имеет несчастье быть его подданными, но и правительства соседних стран.

Я полагаю, что за всю историю человечества не было столь кровавых, позорных страниц, как страницы из истории борьбы русского правительства за свою власть против своего народа.

И как грустно видеть, что Европа, гордая своей культурой, видя поголовное разращение целого народа, не может, не хочет сказать (развратникам и насильникам из дома Романовых и иже с ними) свое грозное, человеческое: «Цыц».

А ведь Европа — в лице своих лучших людей — должна бы протестовать против всякого насилия и разврата, если эти культурные люди искренно любят свободу, искренно считают ее необходимой для жизни, как необходимо солнце».

Письмо к Галлену очень ценно для характеристики общественно-политических взглядов Алексея Максимовича того периода: по крайней мере, до сего момента нам не приходилось встречать документов, в которых бы с такою задушевностью Алексей Максимович излагал свои «политические чувства» этого периода. Это письмо, написанное рукою Марии Федоровны Андреевой и подписанное Алексеем Максимовичем, в сфотографированном виде приложено к делу (О. О., д. 33—1901 г.). Приводим его копию:

«Дорогой мой, мой любимый Галлен!

Мне грустно и обидно писать к тебе в момент, когда твоя страна снова ждет черных дней, снова ждет нападений вранов из Петербурга.

На место Бобрикова к вам едет глупый и жестокий Каульбарс, человек, руки которого по плечи в крови жителей Одессы. И снова твой край, который и я люблю крепкою любовью, милая мне, ценная Финляндия почувствует на своей шее тяжелую руку варвара, услышит грозные окрики невежды и раба, опьяненного властью.

Мне тяжело думать об этом.

Я хотел бы для твоей страны долгих и спокойных дней мирного роста, я верю в ее духовные силы, люблю ее людей, ее природу, я знаю, что она—маленькая, но сильная—способна уйти и уже ушла дальше многих по дороге к осуществлению истинно демократической свободы.

Но, дорогой мой друг, мне кажется, вы, финны, немного виноваты и сами в том, что ожидает вас,—не обижайся.

Дело в том, что, если ты живешь в соседстве с человеком жадным, нравственно тупым и подлым, ты должен знать, что этот человек всегда твой враг и как бы мягко он ни говорил,—он жет, что бы он тебе ни обещал,—обманет, негодая.

Русское правительство всегда было, а теперь особенно, по духу своему антикультурно, во главе его стоят люди, которых мы с тобой даже в добрый час не назовем порядочными людьми. Это глупые обжоры и сифилитики из дома Романовых, разорившие и опозорившие Россию, это генералы из остзейских немцев,—их лакеи, готовые на все, вплоть до убийства тысяч людей и ограбления целых стран, все это—невежды, воры, варвары, скорее полуживотные, чем люди. Их идеал один — жрать, их наслаждение — власть над людьми, болезненным сладострастным упоение мучениями, жестокостью, кровью.

Если они люди—в этом, ты знаешь, мы можем сомневаться,—но если они люди,—они больные, они садисты, безумные, их необходимо или лечить, или уничтожать, как уничтожают бешеных волков, собак, свиней.

С ними нельзя говорить человеческим языком, ибо не понимают они его, несомненно. Они не знают, что такое культура, искусство, религия. Если они верят в существование бога, то лишь потому, что боятся апоплексии, возмездия за свое обжорство, боятся смерти.

Я не преувеличиваю, это мое искреннее мнение о представителях русской власти и, чтобы подкрепить его, мне легко найти тысячи самых уродливых, самых отвратительных фактов, — ты это знаешь.

Правительство Финляндии однажды позабыло, с кем оно имеет дело,—вог его ошибка, как я думаю. Правительство Финляндии всегда должно было идти навстречу желаниям своего народа, ему следовало всячески заботиться об организации отпора, на случай возможного нападения со стороны русского правительства, а не заигрывать, не любезничать с этим правительством, как это было допущено Финляндским сенатом не однажды. Правительство Финляндии и ее зажиточные классы слишком испугались законных желаний своего рабочего народа и позабыли, что во дни борьбы за свободу страны,—только народ способен

бороться за нее. Они испугались социализма. Грустная ошибка. Социализм—далеко, он не для всех ясен, и только потому кажется для многих враждебным. Но когда он подойдет ближе, — мы увидим, что это друг, который идет освободить всех, он несет с собою свободу каждому,—только он может осчастливить нас полной независимостью и внешней и внутренней.

Вы, финны, забыли также и то, что в России единственный истинный элемент — ее революционеры, ее крайние партии. Только они стоят в непосредственной близости массы русского народа и только они знают цену свободы, цену культуры. Лишь одни только крайние партии способны внушить — и внушают — массе русского народа и солдатам, детям ее, уважение к политической независимости Финляндии и всякой иной страны.

И потому Финляндия, в интересах своей свободы, своей культуры — должна была идти рядом с революционерами России — это ясно, как звезды. Не надо было забывать, что враг финна — не русский, а враг русского — дом Романовых.

Дорогой Галлен. Я никого не упрекаю и не осуждаю: это бесполезное занятие, ибо прошлое мы можем поправить только в будущем. Мне только хочется сказать, что люди, желающие свободы, должны более зорко, более глубоко смотреть по пути к свободе.

Мне хочется также думать, что дорогая душе моей Финляндия теперь, пред опасностью, угрожающей ей, сомкнется во единое целое без различия партий и мнений и вся, всей своей силой встанет против врага, единодушно защищая свою культуру, свою свободу.

Я пишу к тебе еще и потому, что для меня художник был всегда и есть лучший сын своего края, наиболее горячо и разумно любящий его.

Он больше, чем кто-либо, знает, что без свободы нет культуры, нет искусства, и во дни несчастий своей страны — он должен будить ее героический дух, ее сердце и ум.

Финляндия должна быть свободной страной: она умеет прекрасно пользоваться свободой.

Но в ней должна прекратиться внутренняя рознь, раз'единяющая ее на враждебные друг другу классы, и — я думаю — финны это поймут.

И да исчезнет страх перед социализмом в душе финна. Ибо на той высоте демократизации общества, которой достигла Финляндия, следующей ступенью вверх будет именно социализм — полное освобождение личности от гнета предрассудков.

Да здравствует вся Финляндия, и да здравствуют все честные финны!

Обнимаю тебя, дорогой Галлен, и почтительно кланяюсь твоей супруге, целую Иорика и Карстен. Жена моя шлет вам всем свою дружбу и любовь.

М. Горький.

П. С. Прилагаю статью мою: она на-днях появится в газетах Англии, Италии и Франции».

Участие Алексея Максимовича, в качестве делегата с совещательным голосом, на Лондонском с'езде партии является началом более близкой к партии работы. В связи с этим участием, в Департаменте Полиции были получены от начальника финляндского жандармского управления сведения, рисующие целую картину вооруженного восстания, согласно «принятой на отдельном собрании большевиков резолюции».

«Из шведоманских революционных кругов агентурным путем получены следующие сведения:

Появившиеся в печати сведения о том, что Лондонский социалистический с'езд решил пока не прибегать к вооруженному восстанию, не верно, так как это лишь мнение меньшевиков, а с'езд пока еще этого вопроса не решил.

На отдельном же собрании большевиков утверждена следующая резолюция, выработанная Кропоткиным, Ломтоцицким, М. Горьким, Аладиным, Алексинским и другими.

«Вооруженное восстание должно начаться одновременно в возможно больших местах, а также во флоте. В особенности к революции примкнут юго-восточные губернии империи, кроме того, Кавказ и Прибалтийский край. Экспроприации будут направлены, главным образом, на казенные кассы и на склады оружия. Склады, которыми революционеры почему-либо не смогут воспользоваться, будут уничтожены. Телеграф и телефон будут испорчены, железнодорожные мосты взорваны. Одновременно повсюду начнется всеобщая забастовка. Финляндцы обещали, как только в империи начнется восстание, примкнуть к нему, выставив народную милицию.

В начале финляндцы хотят убедиться, что начатое русскими дело будет иметь успех, ибо боятся повторения неожиданных событий в роде Свеаборгского бунта, — а затем будут ждать предварительного сигнала, потом действительно примкнут к революции и примут самое активное участие.

В России будет объявлена республика, и члены царствующего дома будут изгнаны или убиты».

Имя Алексея Максимовича в первые годы пребывания его за границей все более и более окружается в глазах известной части европейского «общественного» мнения славой опасного революционного деятеля, мутящего спокойное болото Европы. Это совпадает с годами мрачной реакции в России, и всякие слухи о «выступлениях М. Горького» усиленно муссируются в черносотенной российской прессе. Вот образцы газетной переписки, бывшей в 1909 году:

«Наша Газета», 22/II — 1909 г.

Письмо в редакцию.

«М. г., г. редактор.

В газете вашей напечатано, что итальянская полиция, как телеграфируют из Рима в «Journal», уже известила Максима Горького, что она советует ему, во избежание дипломатических осложнений, по возможности скорее покинуть пределы Италии. До сего дня — 27 февраля н. с. — я никаких объявлений от итальянской полиции не имел.

М. Горький».

«Русское Знамя», 3/VII — 909.

«Высылка Горького из Неаполя.

Согласно сообщения «Corriere della Sera», итальянское правительство выслало Максима Горького из окрестностей Неаполя, в виду предстоящего прибытия государя императора.

Горький, проживающий ныне на острове Капри, уезжает в Ривьеру.

Максим Горький выслан за усиленную агитацию, которую он вел среди социалистов, подстрекая их протестовать против посещения Италии русским царем».

«Голос Правды», 11/VII — 909.

«Мания величия.

«Великий Максим» не высылается из Италии. По сведениям «Giornale d'Italia», слух о высылке Горького с острова Капри, в виду предстоящего приезда в Неаполь высоких гостей, ни на чем не основан. Никто и не думал тревожить Горького, тем паче высылать его. Не сам ли «великий Максим» нашел нужным распустить этот слух, чтобы подогреть интерес к своей, всеми забытой, персоне».

«Zeit», 11/VII — 909.

«Berliner Zeitung Mittag» пишет, что проживающий за последнее время в Неаполе Максим Горький получил от местной полиции приглашение поселиться в другом городе, вследствие чего Горький отправился в Геную. Берлинская газета объясняет эту меру полиции предстоящим приездом царя в Шербург.

Венская «Zeit» не совсем верит этому известию, так как уже несколько месяцев тому назад распространился слух о высылке Горького из Италии. Тогда сам поэт опроверг письмом в «Zeit» этот слух, при чем он добавил, что в Италии с ним обходятся особенно приветливо. Неужели предстоящий приезд царя изменил настолько отношения официальных сфер к Горькому?».

В этом период пребывания за границей наиболее известным революционным делом, в котором Алексею Максимовичу принадлежала активная и организующая роль, было устройство партийной школы на острове Капри. Эта школа вызвала в свое время немало шума, споров, дискуссий, статей и партийных постановлений, так как совпала с моментом назревшего раскола, который был внесен в партию отзовистами, ультиматистами и «впередовцами».

Департамент Полиции был в курсе дела с самого начала возникновения вопроса о школе, очень серьезно заинтересовался ею, следил за всеми перипетиями внутрипартийной борьбы вокруг этого вопроса, — и в результате создалось громадное «дело», специально посвященное истории школы на Капри. ¹⁾ Имя Горького особенно фигурирует в начале, в период возникновения и оформления, сплетаясь в дальнейшем со многими именами и моментами партийной истории этого периода, еще ожидающего своего обстоятельного исследования. Отметим только, как представлялась Департаменту роль Алексея Максимовича. 7 июня 1909 года вице-директор Департамента Виссарионов доносил министру внутренних дел:

«По поводу организации Максимом Горьким школы пропагандистов на острове Капри в Особом Отделе Департамента Полиции имеются следующие сведения:

В марте и апреле сего года начальником московского охранного отделения было сообщено, что:

1) Максим Горький отправил в Центральный Комитет российской социал-демократической рабочей партии письмо, по содержанию коего между Лядовым (Мандельштам) и Максимом Горьким велись переговоры, в результате коих Горький предложил на свой счет перевезти на лето на остров Капри 10 человек, для подготовки их в качестве пропагандистов-большевиков, при чем главными лекторами у этих лиц должны были состоять Ленин (Ульянов) и Луначарский.

2) Московский городской и Московский областной Комитеты российской социал-демократической рабочей партии, будто бы, выступили против решения, на основании коего Петербургский и Московский Комитеты обязаны дать школе пропагандистов на острове Капри, организуемой Максимом Горьким, официальное название, и заявили, что это дело Центрального Комитета. В то же время на низах организации велась агитация против такого постановления и высказывалась мысль о необходимости подчинения школы Московскому Комитету в тех соображениях, что при школе, подчиненной Центральному Комитету, все средства, предназначенные на нее, могут уйти на цели посторонние, к школе не относящиеся. В случае

¹⁾ Дело Особ. Отд., № 271 — 1909 г.

открытия упомянутой школы на острове Капри, туда предполагалось отправить по несколько человек от Московского городского и Московского окружного Комитетов, а также и от Петербурга и Урала, при чем известный в организации «Станислав Вольский» (Соколов) должен был руководить небольшим кружком для подготовки членов к отсылке в заграничный кружок. Лекторами будущей, организуемой Горьким, школы намечались: Горький, Богданов и др., которые и намеревались выработать в ней кадр практических работников-отзовистов и через них вести свою пропаганду.

Вышеизложенные сведения в апреле сего года были сообщены заведывающему заграничной агентурой на предмет разработки. Отзыва на упомянутый запрос до настоящего времени не поступало, и лишь в минувшем июне месяце ротмистр Андреев в докладе о современном положении дел в российской социал-демократической рабочей партии, между прочим, сообщил, что школа на острове Капри открыта Богдановым, Маратом и «Никитичем» (Красин), которые выписывают рабочих и по обучении направляют их в Россию.

Из поступивших 2 сего июля от начальника того же охранного отделения сведений усматривается, что 28 минувшего июня в заграничную школу пропагандистов выехал некто «Андрей», прошедший от социал-демократической организации города Шуи, а 30 июня должны были туда же выехать еще четверо: некто «Константин» (от Гусь-Хрустального) и Косарев — от Лефортовского района, вызванный из Нижнего-Новгорода, где он был служителем в доме умалишенных, рабочий из Сормова Михаил Яковлев и Батышев от Рогожского района. Всего от Центральной Области и Московского Комитета выбрано 12 человек.

Донося об изложенном, начальник московского охранного отделения запросил Департамент, следует ли ему арестовывать этих лиц, и чем, в случае необходимости этого ареста, возможно будет мотивировать их задержание. Тогда же Особый Отдел Департамента Полиции телеграфировал подполковнику фон-Котену, что выезжающие в заграничную школу безусловно подлежат аресту и привлечению к переписке в порядке охраны, в виду их принадлежности к социал-демократической партии.

Ныне же начальник московского охранного отделения донес, что выбор учеников в заграничную школу пропагандистов происходит через отдельных членов организации социал-демократической партии, при чем один из организаторов этой школы — «Михаил» (Вилонов) — проживает в настоящее время в Москве и собирает резолюции разных партийных организаций, одобряющих эту школу и предлагающих большевистскому центру ее утвердить. Арест его, как и арест намеченных учеников школы, будет осуществлен при первой возможности.

Об изложенном имею честь доложить вашему превосходительству.

Исп. об. вице-директора Виссарионов.

Дальнейшая судьба школы, отношение к ней Владимира Ильича хорошо известны. Раздоры и споры в партии об отзовизме и богоискательстве, которыми были захвачены в то время некоторые члены партии, в том числе и Алексей Максимович, породили в буржуазной прессе всякие догадки об исключении Алексея Максимовича из партии. Как известно, этим слухам был дан на страницах «Пролетария» отпор в заметке Владимира Ильича Ленина.

Конечно, Алексей Максимович никогда органически не срастался с партией, а в 1911—12 годах его литературные интересы, очевидно, преобладали над его стремлениями к непосредственной практической революционной деятельности. Начинают отмечаться нотки безразличия (если не к политике вообще, то к партийной жизни во всяком случае). Именно к этому периоду относятся: сотрудничество в «Заветах», посе-

щения о. Капри В. М. Черновым, согласие на сотрудничество с Амфитеатровым в предполагаемой к изданию газете «Революционное Слово», и ряд других связей с «народниками» на почве совместной публицистической работы в издаваемых или предполагаемых к изданию органах.

В апреле 1912 г. Департамент Полиции просит главное управление по делам печати обратить внимание на журнал «Заветы» вот по какому поводу:

«Согласно полученным в Департаменте Полиции сведениям, в г. Москве замечаются попытки обосновать «народнические» группы и вырабатывается проект издания нового народнического журнала «Заветы», по примеру петербургских «народников», сплотившихся вокруг журнала «Русское Богатство». По слухам, часть средств на издание проектируемого журнала «Заветы» дает Максим Горький, который, будто бы, разрывает свои связи с социал-демократами и примыкает к народническим группам. Со стороны социалистов-революционеров уже делались попытки привлечь М. Горького на свою сторону и теперь он, примыкая к «народникам», делает шаг к осуществлению желаний социалистов-революционеров. С большим интересом ожидают, что скажет М. Горький на страницах нового народнического журнала, и в виду инертной работы в настоящее время журнала «Русское Богатство», полагают, что «Заветы» сыграют роль оживляющего фактора для народничества вообще. Руководителем московского журнала предположен известный социалист-революционер публицист Виктор Чернов, сотрудничавший в «Русском Богатстве» и в заграничных нелегальных изданиях и всегда настаивавший на более боевом тоне «Русского Богатства», почему можно полагать, что он поведет и новый журнал в таком же направлении. Между прочим, в «Заветах» предполагается теоретическое освещение «синдикализма», так как в рядах «народников» растет интерес к «синдикализму», как практическому методу действий¹⁾.

Еще в мае 1911 г. в Департаменте было получено от заграничной агентуры донесение, что «писатель Максим Пешков, псевдоним Горький, известный организатор школы пропагандистов на острове Капри, вышел из состава социал-демократической фракции и вступил в партию социалистов-революционеров²⁾.

Имя Горького в эти годы либеральным литературным кругам России представлялось наиболее подходящим именем, вокруг которого должны «объединяться», «собираться» молодые литературные силы. Об этом говорит письмо Леонида Андреева к Алексею Максимовичу от 14 августа 1911 г. (перлюстрировано Департаментом Полиции).

«Дико подумать, что мы с тобою — такие друзья, такие братья — вдруг разошлись, вдруг осиротели, в жестокой пустыне жизни почти потеряли следы друг друга. Мне всегда казалось, что наша вражда или дружба не есть только наше личное дело; и особенно ясно это теперь, когда литература русская в разброде, когда силы так ужасно разединены, когда молодое и талантливое бродит

¹⁾ В примечаниях к «справке о революционной деятельности М. Горького», напечатанной в № 12 журнала «Былое» за 1918 г., А. М-ч говорит: «Кажется, Чернов предлагал мне участие в этом журнале» («Заветы»). В деле Д. П. (О. О. № 879—904) есть копия письма Амфитеатрова к А. М-чу, извещающего, что вышел первый номер «Заветы» со статьей Горького: «Человек ридившийся».

²⁾ Дело Особ. Отд., № 200 — 1911 г.

без путей и когда все требует и хочет только одного: единения. Было бы, мне кажется, непростительной ошибкой перед лицом сегодняшнего и завтрашнего дня, если бы мы и дальше продолжали обособляться, не соединили наших сил для общей цели. Подлинная реакция, та, что живет в усталом сердце, уже кончилась; перед нами далеко уже маячит гребень той волны, на которую снова и снова предстоит нам взбираться. Вид России печален, дела ее ничтожны или скверны, а где-то уже родится веселый зов к новой, тяжелой, революционной работе. И по-настоящему сейчас в России грустят только ослы, а умные люди уже веселые. Многие ищут сближения, требуют новых объединительных лозунгов, ибо над старыми уже лежит печать раздора и вражды. Кто соберет, — вот в чем только дело. Живи ты сейчас в России, ты для русской разбредшейся литературы повторил бы ту же роль, что и тогда со сборниками «Знания» — ты опять собрал бы народ. То, что ты сейчас за границей, горе прямо-таки непоправимое.

Я слышал от Тихонова (а на-днях увидел и книжку «Современника»), что ты уже начал работы объединения. Конечно, и таким образом, ты можешь сделать очень многое, но все же одного «Современника» недостаточно: нужна еще живая, наиреальнейшая связь с молодой литературой, которой не может дать журнал, вдохновителей своих имеющих за границей.

Еще очень много хочется писать тебе. Адрес мой обычный: Териоки, Л. Н. Андрееву. Лучше заказным и через Стокгольм».

Период первого пребывания Алексея Максимовича за границей закончился в самом конце 1913 года (30 декабря), когда Алексей Максимович, вследствие амнистии по случаю трехсотлетия дома Романовых, получил возможность вернуться в Россию.

Приезд Алексея Максимовича в Россию сильно переполошил жандармерию. Жандармерия не знала, как в данном случае поступить с знаменитым эмигрантом, числившимся в розыске и фигурировавшим в ряде еще нерешенных из-за его эмиграции дел: арестовать, обыскать, привлечь или еще как-нибудь поступить во исполнение циркуляров о розыске. Дело в том, что Алексей Максимович возвращался в Россию без соблюдения паспортных формальностей, и потому приезд его в столицу явился для Департамента Полиции совершенно неожиданным. Департамент был очень огорчен тем, что узнал о приезде только на третий день из сообщения начальника петербургской охранки, встретившей и проводившей Алексея Максимовича под наблюдением филеров до ст. Мустамяки, Финляндской ж. д., откуда Алексей Максимович направился в дачную местность Керевало на дачу Рито. С чувством огорчения и досады Департамент Полиции запрашивал жандармерию ст. Вержболово ¹⁾:

«Начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в С.-Петербурге донес, что 31 минувшего декабря подведомственными ему филерами взят в наблюдение прибывший с поездом, видимо, со станции Вержболово, известный вам эмигрант, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков (литературный псевдоним «Максим Горький»).

В виду изложенного, Департамент Полиции просит ваше высокоблагородие выяснить и сообщить, проехал ли названный Пешков в конце минувшего декабря через подведомственный вам пограничный пункт и по какому паспорту, и, в утвердительном случае, было ли вами сообщено когда и кому о возвращении

¹⁾ Дело О. О., № 200 — 1911 г.

в пределы империи такого выдающегося революционного деятеля, каким является Алексей Пешков».

Петербургская охранка была запрошена Департаментом о том, «поступали ли от подведомственной агентуры сведения о предполагаемом приезде в С.-Петербург Пешкова, и если не поступали, то при каких обстоятельствах было взято это лицо в наружное наблюдение и кем именно из филеров и как был опознан названный Пешков». Начальнику финляндского жандармского управления отдано распоряжение «теперь же установить неотступное наблюдение, коим сопровождать Пешкова при всех его выездах из Керевало».

Наблюдение все же было, очевидно, недостаточно бдительное, так как через месяц Департамент не без раздражения писал петербургской охранке:

«Начальнику отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. С.-Петербурге.

Находившийся под неотступным филерским наблюдением известный вам писатель «Максим Горький» — Алексей Пешков, 18 минувшего января с поездом, отходящим в 6 ч. 20 мин. вечера от ст. Мустамяки, Финляндской железной дороги, выбыл в С.-Петербург, где на вокзале был передан сопровождавшими его филерами агентам вверенного вам отделения.

Ныне, как это видно из газет, названный Пешков находится в г. Москве.

В виду изложенного и отсутствия донесений вашего высокоблагородия о наблюдении за Алексеем Пешковым по г. С.-Петербургу, Департамент Полиции просит вас сообщить о результатах наблюдения за означенным Пешковым по г. Петербургу и о том, когда именно Пешков выбыл из Петербурга, сопровождался ли в пути наблюдением и когда и где сдан для дальнейшего наблюдения, а также уведомить, почему о прибытии в Петербург и выезде затем из столицы известного вам серьезного революционного деятеля, каким является Пешков, вашим высокоблагородием не было донесено Департаменту Полиции».

Вообще несладко было возвращение Алексея Максимовича на родину: не менее полиции досаждали газеты, корреспонденты, доброжелатели и просто любопытные. Вокруг приезда поднялась газетная трескотня, с обычными в таких случаях извращениями фактов, выдумками, ненужным доброжелательством или бессильным злопыхательством.

Иностранная и радикальная русская пресса возмущалась безобразной слежкой и вообще тем бесконечным беспокойством, которым встретила Алексея Максимовича родная страна. «Нельзя достаточно возмущаться (писалось в одной немецкой газете) отвратительным отношением царистского режима к великому писателю Максиму Горькому, живущему теперь в Финляндии: хотя он болен и совершенно не в силах передвигаться или путешествовать, агенты охраны строго следят за ним». Газета «La Bataille Syndicaliste» поместила (март 1914 г.) заметку:

«22 марта 1914 г.

Царистский образ действий. Преследования Горького.

«Есть ли что-нибудь отвратительнее предвзятой ненависти царизма по отношению к писателю Максиму Горькому, который делает честь русскому языку

и представляет собой цивилизацию, тогда как русские правители только олицетворяют самое гнусное варварство в Европе. Большой Максим Горький, дни которого может быть уже сочтены, вернулся недавно в Россию, надеясь на спокойную жизнь, свободную от преследований. Ему были даны уверения, что преследования, возбужденные против него до его изгнания, включены в амнистию. Лживые слова, ловушка, расставленная русскими бюрократами. Сначала полиция поставила его под унижительный надзор. Еще раз Горькому приходится покидать эту дикую страну, которую он когда-то обошел со своим другом Шаляпиным. Преследования его романа «Мать» не прекращены. В России, кажется, превзошли наши тупые и свирепые порядки, хотя это трудно, но все же возможно».

О том, как Алексей Максимович принужден был в это время жить, сообщалось в финляндской газете «Кариала» (в январе 1914 г.):

«Максим Горький, который на-днях, после многолетнего проживания в Капри, возвратился в Россию и оттуда, почти не останавливаясь на родине, проехал в Финляндию. Писатель находится в настоящее время на даче близ станции Мустаямки, где он осаждается многочисленными русскими и иностранными газетными корреспондентами, которые желали бы получить к нему доступ, но пока никто еще не имел в этом успеха».

«Из Мустаямки уведомили нас, что писатель Максим Горький остановился на даче одного своего родственника в дер. Неувола, близ жел.-дор. станции Мустаямки. Он никого не принимает. Многие корреспонденты пытались свидеться с ним посредством передачи ему писем через извозчиков, но многие письма возвращались обратно, даже не распечатанными.

По сведениям некоего русского газетного репортера, Горький пробудет лишь короткое время в Финляндии, после чего он уедет на постоянное жительство в гор. Москву».

Российский обыватель, для которого имя Горького всегда было ненавистным жупелом, обыватель, примостившийся на газетных столбах «Вечернего Времени», был обеспокоен и обескуражен не меньше жандармерии. Здесь и слухи и догадки грязные, и намеки, угодные толпе и полезные жандарму.

«Что же с Горьким?»

Такой вопрос задают всем редакциям петербургских газет из провинции и из-за границы.

Неожиданное появление писателя в России, таинственность обстановки, среди которой он живет в Мустаямках у родных одной известной артистки, все это вызывает недоумение у одних и крайнее удовольствие у других.

В болезнь Горького не верят, по крайней мере, перестали верить после того, как некоторые редакции успели списаться с Италией и Берлином.

Теперь уже установлено, что Горький еще в Берлине, накануне приезда в Россию, был вполне здоров, завтракал с друзьями в известном ресторане. Известно также, что он уехал в Берлин неожиданно для близких и даже для жены с сыном, которых он накануне своего внезапного отъезда проводил до Неаполя, откуда они уехали в Москву. Горький с ними расстался до весны, предполагая использовать эти несколько месяцев для окончательного укрепления своих нервов.

Обстановка, в которой очутился писатель после своего «сидения» на Капри, более, чем странная и начинает вызывать беспокойство не только у родных его.

В газеты уже проникли слухи о недоступности не только Горького, но даже и его дачи.

На-днях произошел, например, такой случай.

Одна дама пожелала добиться свидания с Горьким. Ее не только не подпустили близко к даче, но один из «сторожей» взял ружье на прицел. Дама страшно испугалась и приказала извозчику погнать лошадь, крича церберу: «Не стреляйте, я уезжаю».

Но верный страж не опустил ружья, пока испуганная дама не скрылась из вида...

Такие слухи ходят по городу о пребывании Горького в Мустамьяках. Проносят даже слово «секвестр».

Что в этой необыкновенной обстановке «возвращения писателя на родину» правда? Что вымысел? В чем разгадка этого таинственного «изъятия из обращения» Горького? Все это вопросы, которые волнуют не одни только литературные круги и на которые, надо надеяться, будут даны в скором времени надлежащие ответы».

Вдова «действительного штатского советника» из Иркутска — Софья Львовна Михайлова — была, очевидно, читательницей и почитательницей подобных газет. В своем «прошении» министру внутренних дел она разрешает все недоуменные вопросы, возникшие у «Вечернего Времени». Нельзя не привести несколько строк из этого почтенного документа, с обычной аккуратностью подшитого к департаментским анналам о Горьком (сохраняем орфографию):

«Максим Горький, вероятно, по мнению политики, вроде Моисея, который должен избавить политику от властей, вероятно, предполагают с приездом Горького на Волгу повторить Пугачевский бунт, который весил говорят как собак к тому же сам Горький отбывал бурлачество по Волге был и есть проходимец если болен лежи и не пиши на дверях открытки для порядочных людей двери закрыты правительство во избежание внутренней войны должно Горьково блюсти строго а если помрет то один, ноне 100.000 лягут. Сильно хочется Горькому спасти Брешко Брешковскую собака собаку по лапе знает стращают Россию какими то советами ученых всего света советом конечно жидовскими советами и крадеными пачипартами много осталось умниц хищников. России в России получают воспитание уедут за границу и разоряют ее же. Если же напускная боль выпороть в стенах и держать секретно. Не мешало бы и Брешко Брешковскую помаленьку поучить по русски по силе старости елико может принять розгачей чтоб смуты прекратить раньше политику учоной даме 35 раз мужщине 40».

Следует отметить, что и берлинская полиция с именем Горького связывала представление о всякой, опасной для прусского отечества, революционной пропаганде. Это видно из инцидента с А. В. Луначарским в Берлине в феврале того же 1914 г., когда А. В. Луначарский, после лекции о Горьком, в некоторой связи с ней, был выслан из Берлина. Этот инцидент состоял в следующем (приводим цитаты из двух берлинских газет):

«Vossische Zeitung».

«26 февраля 1914 г.

Арест русского писателя.

Около двух месяцев тому назад одно берлинское общество русских студентов об'явило о предстоящих двух лекциях русского писателя доктора Анатолия Луначарского на русском языке. Лекции касались Горького и Верхарна. Первая лекция (о Горьком) состоялась 23 февраля в Тиргартенгофе, вблизи городской железнодорожной станции, на ней присутствовало около 400 человек. Вчера вече-

ром, когда должна была состояться вторая лекция о Верхарне, в залу явились полицейские агенты и потребовали от лектора удостоверения его личности. Г. Луначарский пред'явил имеющиеся при нем документы: удостоверение о личности, снабженное фотографической карточкой, выданное парижской префектурой, и свою карточку журналиста, так как он в Париже состоит сотрудником выдающихся русских газет. Но это нашли недостаточным, потребовали русский заграничный паспорт, которого он пред'явить не мог. Тогда агенты поехали с Луначарским на квартиру, в которой он остановился в Шарлоттенбурге, заставили его взять свои вещи и повезли в полицейский президиум на Александровский плац. Там его задержали. Его друзьям и соотечественникам полиция отказалась объяснить причины ареста».

«Vorwärts».

«27 февраля 1914 г.

Новейшее насилие берлинской полиции.

Арест русского писателя Луначарского, о котором мы уже говорили, вчера закончился высылкой арестованного. Допрос, которому арестованный был подвергнут в полицейском президиуме, не дал ровно никаких результатов для оправдания возведенных на него полицией обвинений. Тем не менее арестованный писатель был выслан из Пруссии в качестве «обременительного иностранца», при чем полиция позаботилась послать телеграмму в Лейпциг, где на сегодня была объявлена лекция Луначарского, чтобы и саксонская полиция оказала ему такое же любезное внимание, каким он был осчастливлен в Берлине. Понятно, что, узнав об этом, Луначарский отказался от поездки в Лейпциг и уехал вчера обратно в Париж. Из полицейского допроса видно, что грубое выступление против Луначарского было вызвано доносом. На лекцию о Максиме Горьком в понедельник полиция не посылала своего чиновника. Но, как сказали на допросе арестованному, за собранием было установлено неофициальное наблюдение. Каково было это наблюдение, видно из «донесения», пред'явленного арестованному, и которое является достойным королевской прусской шпионской литературы. В этом «документе» происходившее в собрании в понедельник лживым образом обращено в апологию революции, и этого шпионского изделия было достаточно, чтобы арестовать и выслать лектора и сделать невозможным собрание, о котором, как и о первом, было заявлено полиции и нужное разрешение получено. Теперь в «Local Anzeiger» официально объявлено, что властями установлено, что Луначарский — странствующий социал-демократический организатор, находившийся в Берлине, о, ужас, без ведома полиции, и что в первой своей лекции он высказал резкие революционные взгляды, и собрание после окончания лекции приветствовало его, как революционера. В этом сообщении почти каждое слово — ложь. Луначарский не странствующий социал-демократический оратор и на первом собрании никаких резких революционных взглядов не высказывал. Как лектор, так и те лица, которые по окончании ее приветствовали его короткими речами, знали, что шпионские уши жадно ловят каждое слово и потому не переступили даже тех границ, которые ставятся в таких случаях в России. Но прусская практика оказалась еще хуже русской. Не располагая никаким подлинным материалом, полиция, опираясь только на клевету шпиона относительно лектора и участников собрания, применяет к первому без всякого законного основания арест и высылку. Мы убеждены, что насилие берлинской полиции вызовет резкий протест во Франции и России, где Луначарского, как литературного критика, ценят в широких кругах. Кроме подрыва нашего престижа за границей, является еще существенный вопрос, считает ли берлинская полиция для себя возможным высказывать полный произвол относительно проживающих здесь русских и попирает при этом существующие законы. Устроители обоих русских лекций самым точным образом исполнили все требования закона, за два месяца было заявлено о лекциях и письменный ответ полицейского президиума, что «заявления приняты к сведению», — получен. Как

мало опасен казался полиции лектор, обращенный теперь в ярого революционера, видно уже из того, что на первое собрание не был даже командирован чиновник. Тем не менее, что же мы видим: второе собрание расстроено, лектор арестован и выслан на основании донесения шпиона, которое не может быть проверено. Мы требуем объяснения: считаются ли русские в Берлине совершенно лишенными защиты закона».

Хотя пребывание в России для Алексея Максимовича не было особенно приятным, все же он не уехал обратно за границу и, повидимому, не собирался, как о том писалось в газете «Bataille Syndicaliste». С апреля 1914 г. надзор жандармерии несколько был ослаблен, так как оказалось, что «установленное с января месяца сего года за Алексеем Пешковым наружное наблюдение никаких результатов, могущих содействовать розыску или указывающих на преступную деятельность самого Пешкова, не дало».

Но и после таких неутешительных для Департамента выводов Алексей Максимович не был оставлен в покое. Начальник финляндского жандармского управления от 7 июня 1914 года доносил, что Алексей Максимович «для постоянного проживания в дер. Керевало снял дачу Ланге на целый год». Поэтому, «принимая во внимание это обстоятельство, а также значительные расходы, нужно ли устанавливать наружное наблюдение?». На это Департамент Полиции ответил, что «надлежит периодически проверять наличность и пребывание его на указанной даче, а начальнику ближайшей станции дать указания— своевременно сообщать о выездах означенного Пешкова». Наблюдение «во исполнение циркуляра Департамента Полиции от 11 января сего года за № 165512» продолжалось, и начальник финляндского жандармского управления регулярно каждые две недели доносил о результатах наблюдения.

Но заботы для жандармерии было немного: Алексей Максимович покидал Финляндию редко. Только в ноябре 1914 года он ездил в Киев, где в это время Мария Федоровна Андреева играла в театре Соловцова. В сообщении об этой поездке начальник киевского жандармского управления доносил ¹⁾, что

«По агентурным сведениям к Горькому на квартиру являлись с приветствием представители местного профессионального общества портных, социал-демократы по убеждению, при чем на их вопрос: как следует относиться к настоящей войне,— Горький ответил, что он ничего сказать не может, так как в этом вопросе он и сам «запутался».

Последние годы перед революцией — 1915-й и 1916-й — Алексей Максимович был сильно занят журнальной деятельностью (в декабре 1915 года вышел первый номер руководимого им журнала «Летопись»). О революционных выступлениях Алексея Максимовича за эти годы нет никаких сведений. Только в немецкой газете «Hamburgener Fremdenblatt» от 6 февр. 1916 г. появилась подробная корреспонденция о лекциях Алексея Максимовича, якобы прочитанных в Москве и повлек-

¹⁾ Дело Особ. Отд., № 200 — 1911 г., № 2837.

ших за собой арест Алексея Максимовича. Эта корреспонденция дышит явной подделкой. Именем и славой Горького газета воспользовалась для обработки общественного мнения в духе немецкого патриотизма.

«Максим Горький арестован в Москве.

Наш сотрудник в Бухаресте сообщает нам об аресте Максима Горького в Москве; если это известие подтвердится, оно, конечно, вызовет большую сенсацию. За последние недели Максим Горький прочел в Москве несколько лекций об общем военном положении и о военном положении союзников в России. О положении России ему полицией было запрещено говорить. Приводим несколько существенных мест из речи Горького, во время чтения которой он был арестован: «Как военное, так и политическое положение наших союзников быстро ухудшилось с октября прошлого года. На военное положение неблагоприятно повлияли поразительные успехи центральных держав на Балканах, а политическое положение ухудшилось вследствие того, что Германия открыто доказала, что она может долго и успешно бороться с планом Англии — победить ее экономическим путем. На поддержку нейтральных государств наши союзники могли надеяться только пока существовала надежда победить Германию в экономической области. Но когда расчет Англии оказался ошибочным, пропала всякая надежда на присоединение нейтральных государств к четверному согласию... Полное согласие между союзниками исчезло. От объединяющей их общей цели они более далеки, чем когда-либо и в ответственных местах постепенно убеждаются, что конечная цель войны — разгром Германии — останется всегда призраком. В группе держав Согласия несомненно готовятся большие перемены, и мне кажется, что в будущем окончание войны не будет уже существенно зависеть от событий на полях сражений. Во всех воюющих странах все громче раздаются голоса, требующие окончания борьбы. Народы инстинктивно чувствуют, что продолжение войны будет служить только к выгоде Англии и нейтральных государств. Всюду заметны затруднения в области внутренней политики... Как мне кажется, теперь настало время, когда на сцену должны выступать политики и дипломаты. Франция и Россия должны понять, что они в собственных своих интересах должны притти к соглашению с Германией. За эту войну они уже столько вынесли от эгоизма и надменности Англии, что имеют право желать ее унижения Германией. Россия и Франция должны, как Моисей, скорей притти к соглашению с Германией...».

На этом месте речь Горького была прервана полицией, и он сам арестован».

В русских правительственных сферах, однако, знали Алексея Максимовича, как руководителя «Летописи», за явного пораженца. На этой почве началась травля Алексея Максимовича. В Департамент Полиции было прислано анонимное письмо:

«Милостивый государь!

Известно ли вам о деятельности целого ряда лиц, группирующихся около пораженческого журнала «Летопись» и «Обществе для изучения быта евреев»?

Лица эти, во главе которых стоит г. М. Горький, прикрываясь, якобы, легальной деятельностью этого общества, в широких размерах производят денежные сборы, которые идут на цели, далекие от благотворительности. На самом деле они засыпали и продолжают засыпать русское общество прокламациями и всякого рода воззваниями по еврейскому и друг. вопросам; цель их: дискредитировать все действия правительства и возбудить к нему недоверие и ненависть интеллигенции и рабочих, среди которых эти прокламации усиленно распространяются. Под видом беседований с сотрудниками-самоучками, М. Горький устраивает сборища в редакции своего пораженческого журнала «Летопись», в издательстве «Парус» у г.г. Тихонова, Суханова (псевдоним), Базарова (псевдоним), Лодыжни-

кова — издателя разных революционных брошюр за границей, и сейчас распространяемых в Берлине и мн. друг. На самом же деле, вместо самоучек, на собраниях этих сходятся делегаты различных революционных рабочих организаций, преимущественно большевиков. Эти же лица постоянно выступают в рабочих клубах и др. профессиональных рабочих кружках, конечно, под разными кличками, призывая рабочих к пораженчеству и забастовкам. Через Финляндию, где г. Горький имеет годовую дачу, он ведет сношения с русскими эмигрантами-пораженцами в Швейцарии и Норвегии.

Не считаете ли вы, что было бы полезно проверить то, о чем давно уже говорят из уст в уста все в Петрограде?..»

По поводу этого письма, автором которого, по всей вероятности, являлся кто-то из мира журналистики, хорошо осведомленный о деятелях журнала,—было произведено негласное расследование. На запрос Департамента Полиции начальник петербургской охранки (от 19 июля 1916 г., за № 16114) сообщал подробно о деятелях журнала «Летопись» и в заключение писал об «Обществе для изучения еврейства»:

«О преступной деятельности означенного общества за время его существования сведений во вверенное мне отделение не поступало, и имеют ли какое-либо отношение к таковому названные выше Пешков или другие, — неизвестно. Но имеются агентурные указания, что Пешков («Максим Горький»), действительно, является сторонником агитации в России в пользу евреев и, представляя собой ярого сторонника всевозможных сборов на партийные цели, при каждом удобном случае старается осуществить это».

Что же касается обвинения деятелей «Летописи» в устройстве собраний большевиков, в пропаганде среди рабочих и проч., то, по тщательном обследовании, оказалось, что «эта часть анонимного доноса не отвечает действительности» (подробности сообщений петербургской охранки см. в журн. «Былое» за 1918 г. № 12).

Травля Алексея Максимовича с его журналом продолжалась и перешла на страницы черносотенных газет. В газете «Голос Руси», как известно, была помещена статья «К обществу 14-го года», где Алексей Максимович обвинялся в «наводнении» своими «пораженческими произведениями всего Поволжья» (см. книжку Груздева «Максим Горький», стр. 71—73). По поводу этой заметки было произведено расследование. Был послан (в конце ноября 1916 г.) 9 поволжским городам, начиная от Твери и кончая Астраханью, запрос о том, «насколько эти сведения соответствуют действительности».

На это начальник самарского губернского жандармского управления в начале января 1917 года ответил, что «к литературе Максима Горького какого-либо особого интереса со стороны населения не проявляется», и потому «заметка о наводнении» этой литературой Поволжья «в отношении Самары не подтверждается». Начальник Нижегородского губернского жандармского управления ответил: «Особенного обилия чисто «Горьковской» литературы на книжном рынке Нижегородской губернии не замечается». Ответ саратовского начальника является довольно характерным:

«По указанию агентуры, журнал «Летопись», действительно, имеется в библиотеке известного Департаменту Полиции общества внешкольного образования

«Саратовский Маяк» и читается охотно рабочими, но не потому, что они являются последователями пораженческого течения, а что издание это расширяет их кругозор в связи с текущими событиями и заключает, помимо статей пораженческого направления, взгляды по разным вопросам общественной жизни. Как известно Департаменту Полиции из ряда представленных ему обзоров, в широких кругах местного общества, а в том числе и среди рабочих, преобладает взгляд на необходимость доведения войны до победного конца и, следовательно, из этого уже возможно заключить, что серьезного влияния на ход общественной мысли указанная выше литература Максима Горького в местном населении не произвела. Пораженческое течение наблюдается в Саратове лишь у ограниченного числа рабочих, возвращающихся в нелегальных кружках, которые группируются вокруг немногих членов «Маяка», преимущественно около рабочего с «Жести» Плаксина, указанного в агентурной записке управления от 1 декабря минувшего года за № 43552, и немногих других лиц, но эти группы по своей незначительности и непопулярности на общее настроение рабочих также не влияют.

По донесениям помощников моих в уездах, в подведомственных их наблюдению районах заметного распространения пораженческой литературы Максима Горького не было».

То же ответил и тверской. Казанский поименно перечислил всех подписчиков «Летописи». То же сделали астраханский и симбирский. Более разумным был ответ костромского начальника губ. жанд. управления ¹⁾:

«В своих предыдущих донесениях о деятельности революционных партий в Костромской губернии я указывал, что склад мыслей большинства населения прилегающих к Волге фабричных районов таков, что эта часть особенно симпатизирует идеям социал-демократической партии, которая и проявляет, почти исключительно только одна, свою деятельность в губернии. Этот оттенок мышления указываемой части приволжского населения губернии, несомненно, был замечен корреспондентом газеты «Голос Руси», который совершенно правильно и указал на него в своей корреспонденции «Обществу 14-го года», обобщив, однако, несколько узко, как результат влияния сочинений одного только Максима Горького.

Что касается сочинений М. Горького, то издаваемый при его участии и указанный в корреспонденции чисто соц.-дем. направления ежемесячный журнал «Летопись», действительно, встречается почти во всех библиотеках губернии, но не как исключение, а на ряду с другими ежемесячными журналами.

Что же касается распространения специально-пораженческих брошюр этого автора со вложенными в них, отпечатанными на листах папиросной бумаги, речами членов Государственной Думы соц.-дем. фракции, то такового явления не только на заводах, работающих на оборону, но и вообще в губернии до сего времени отмечено не было».

Это писалось уже 6 февраля 1917 г.

Только революция освободила Алексея Максимовича от жанрдармских наблюдений и терзаний, продолжавшихся непрерывно около 30 лет.

Тоже — «юбилейная дата».

¹⁾ Дело О. О., № 200 — 1911 г.

Работа над пятилеткой, как общественная задача

Г. Р. ГРИНЬКО

1. План в народно-хозяйственном строительстве страны

Нет сомнения, последние годы подняли широчайшую волну общественного интереса к проблемам нашего перспективного планирования вообще и к построению пятилетнего народно-хозяйственного плана в частности. И все же нужно открыто и прямо сказать, что организованное участие советской общественности, многочисленных научно-исследовательских учреждений и организаций страны, широких кругов руководителей и практиков нового строительства в работах по построению перспективного народно-хозяйственного плана является недостаточным, не соответствующим величию и беспримерной трудности задач по планированию хозяйства. Далеко еще не все, кому это надлежит, со всей глубиной и ответственностью сознают, что значит не только для нашей страны, но и для мирового пролетарского движения, построение перспективного народно-хозяйственного плана первой в мире страны, закладывающей основы социалистического общества. В этом смысле не мешает прислушаться к голосам наших капиталистических антагонистов, пристально наблюдающих за нашим строительством. В конце прошлого года в «Нью-Йорк Таймсе» поместил обширную статью, посвященную характеристике планового строительства у нас, известный экономист Стюарт Чез. «В настоящее время, — говорит Чез, — 16 человек совершают в Москве наиболее смелый экономический опыт из виденных когда-либо в истории. Составляемый ими президиум государственной плановой комиссии, ответственный перед Советом Народных Комиссаров и общеизвестный под именем Госплана, закладывает основы промышленного будущего 146 млн. человек и $1/6$ части земной поверхности на 15-летний период. Они составляют тщательный и крайне детализованный план на год вперед, тщательный, но менее детализованный план на ближайшие 5 лет и закладывают основы плана общего экономического развития на ближайшие 15 лет... Этот опыт так значителен, так велик и так смел, что никто, изучающий экономику, не может пренебречь им. Окажется ли этот опыт превосходящим границы человеческих административных способностей и окончится неудачей или же он окажется успешным, все равно,

он многому научит нас, так как представляет собою нечто новое». «Предположим, — продолжает Чез, — что вас попросят завтра отправиться в Вашингтон, сесть за стол в правительственном учреждении, взять перо и бумагу и указать железнодорожным компаниям, энергетическим станциям, сталелитейным заводам, угольным копаниям, нефтяным разработкам, секретарю казначейства, банкам, оптовым торговым фирмам, фермерам, судоходным обществам и автомобильным заводам, как распределять их капитальные вложения, сырье, как планировать их производство и распределение на ближайшие 5 лет. Вероятно, даже Генри Форд растерялся бы перед такой задачей. Для более заурядных смертных путешествие на луну показалось бы не менее осуществимым. Между тем, в России нашлись люди, принявшие вызов в более обширной, хотя и менее развитой в промышленном отношении, стране...».

Со стороны часто многое виднее. Погруженные в напряженнейшее повседневное строительство, несущие на себе всю тяжесть и ответственность новизны этого дела, мы порою забываем или не очень отчетливо чувствуем, как новы и сложны наши задачи, и какая историческая ответственность лежит на нас. В числе этих задач построение пятилетнего народно-хозяйственного плана является одной из наиболее ответственных и крупных попыток коллективным умом советской страны разрешать то, что индивидуалистическому уму буржуазии кажется стоящим на грани человеческих познаний и равным полету на луну. «В течение последнего столетия, — замечает тот же Чез, — люди спорили об относительных достоинствах коллективистической или индивидуалистической экономической системы. Миллион слов было напечатано, миллион кубических футов горячего воздуха влилось в атмосферу, и все же ни для кого вопрос не стал ясен. Россия начинает, только начинает организацию огромной опытной станции, на которой, может быть, бесконечные и бесплодные споры будут когда-либо разрешены на базе беспристрастных фактов». Мы не сомневаемся, что в процессе каждодневной работы каждым шагом нашего строительства мы кладем камень за камнем фундамент великого здания коллективистической системы хозяйства. Мы не сомневаемся также, что коллективный ум нашей страны разрешит и задачу построения перспективного народно-хозяйственного плана, достойного своего великого призвания. Нужно только еще шире развернуть инициативу советской общественности в деле разрешения этой великой задачи.

Нет нужды доказывать, что наше хозяйство является плановым и что успехи нашего хозяйственного развития зависят, прежде всего, от того, в какой мере мы овладеваем искусством страны, экономически отсталую, с преобладающим значением мелкого и мельчайшего крестьянского хозяйства, подчинять целям и воле социалистического плана. Нет нужды также спорить о том, существует или не существует наука планирования. Факт тот, что уже в течение десяти лет, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, совершенствуясь в ходе реального строительства, мы пользуемся методом планового руководства хозяйством, применяем искусство планирования, ведем неустанную борьбу за план.

Неоднократно уже подчеркивался пионерный и исключительно трудный характер наших работ над построением пятилетнего народно-хозяйственного плана. Но нужно помнить, что эта работа не начинается на пустом месте, что ей предшествует длинный период накопления планового опыта в стране. Следует напомнить, что уже в 1920 году Съезду Советов был доложен так называемый план электрификации, который набросал первые общие вехи развития социалистической экономики в стране, и который почти полностью осуществляется в ходе нашего строительства. Следует далее помнить, что еще в период отчаянной борьбы с хозяйственной разрухой такие, теперь уже забытые, приемы, как продовольственные планы, планы перевозок, топливные планы и т. д., прокладывали нам путь к овладению важнейшими элементами хозяйства. Нельзя забывать, что история советского бюджета коренным образом связана с подступами к построению единого народно-хозяйственного плана, ибо советский бюджет неизмеримо глубже и непосредственнее связан с ходом и направлением хозяйственного строительства, чем бюджет любой капиталистической страны.

На ряду с этим необходимо подчеркнуть роль конъюнктурных наблюдений в нашей стране в накоплении опыта планового руководства советской экономикой. Специальная и широко разветвленная организация, возглавляемая Конъюнктурным Советом Союзного Госплана, систематически, из месяца в месяц, из квартала в квартал, из года в год ведет наблюдение за ходом хозяйственной жизни во всех ее отраслях, за динамикой основных народно-хозяйственных процессов, за степенью выполнения хозяйственных планов или отклонения от них. Эта организация позволила накопить огромный опыт, нащупать ряд закономерностей в специфических условиях советского хозяйственного развития. Вместе с тем (и это необычайно важно), эта организация, оценивающая развитие отдельных отраслей народного хозяйства с общей народно-хозяйственной точки зрения, сыграла и продолжает играть огромную воспитательную роль, приучая все более широкие кадры строителей народного хозяйства к этой целостной народно-хозяйственной, т. е. социалистической точке зрения на конкретный ход хозяйственного строительства.

Но безусловно наибольшую роль в подготовке к сколько-нибудь успешному построению пятилетнего народно-хозяйственного плана сыграл трехлетний опыт контрольных цифр. Как известно, начиная с 1925/26 года, Госплан ежегодно публикует контрольные цифры народно-хозяйственного развития и строительства на год вперед, пытаясь предвосхитить в них реальную хозяйственную обстановку ближайшего года. Всем, следящим за нашей экономической жизнью, известно, как эти контрольные цифры из года в год расширялись и совершенствовались, как все полнее и глубже охватывали они все народное хозяйство. Известно также, что накануне текущего хозяйственного года советское правительство, опираясь на опыт построения контрольных цифр в предшествующие годы, сочло возможным реорганизовать их из общей народно-хозяйственной ориентировки, которая лишь принималась к сведению, в единый народно-хозяйственный план страны, основные лимиты и директивы которого являются обязательными

исходными позициями для составления всех частных оперативных планов, бюджета и т. п.

Именно на этой работе по построению контрольных цифр и сложилась в основном та система методологических приемов, которая в своей главной части была использована и в начальных стадиях работы над пятилеткой. Как бы ни были велики отклонения жизни от предвидений и расчетов контрольных цифр, как бы много поправок и подчас жестоких ударов ни наносила им действительность, все же контрольные цифры не только создали своеобразную форму предвидений и руководства народно-хозяйственным строительством на год вперед, но и проложили путь к более длительному перспективному планированию.

Работа над пятилеткой примкнула ко всему этому опыту плановой работы, усвоила все завоевания пройденного этапа. Было бы величайшим легкомыслием забывать этот путь плановой мысли и организации, игнорировать исторически накопленный опыт. И частные хозяйственные планы, и бюджет, и система конъюнктурных наблюдений, и контрольные цифры, и план электрификации, все это — звенья единой цепи в развитии планового начала в строительстве нашей экономики. Лишь опираясь на этот опыт, развивая его дальше и поднимая на эту работу новые общественные слои и новые организации, можно добиться успеха в решении труднейшей задачи построения пятилетнего народно-хозяйственного плана.

2. Пройденный этап работы над пятилеткой

Однако разворачивающаяся теперь работа над пятилеткой должна примкнуть не только к опыту очерченных выше плановых работ. Сама пятилетка имеет уже свою довольно длинную историю и сравнительно обширную литературу. Достаточно указать, что за последние два года издано два варианта перспективной ориентировки, составленной Союзным Госпланом, весьма интересные «Контрольные цифры пятилетнего плана промышленности», изданные ВСНХ СССР, и ряд работ Союзных Республик и экономических районов («Перспективы РСФСР на пять лет с 1927/28 по 1931/32 гг.», «Основные показатели развития народного хозяйства Украины на 1927/28—1931/32 гг.», большой труд по «Генеральному плану развития народного хозяйства Урала и перспективам ближайшего пятилетия», «Перспективный план народного хозяйства Белоруссии» и ряд работ по перспективным планам Сибири, Дальнего Востока, Закавказья и т. п.). Наконец, в нашей периодической печати за последнее время было немало обширных и интересных статей, посвященных отдельным элементам и общим вопросам пятилетнего народно-хозяйственного плана.

Можно без преувеличения сказать, что этот богатый материал к построению перспективного народно-хозяйственного плана еще весьма недостаточно изучен и популяризирован даже в высоко-квалифицированных кругах советской общественности. Между тем, он представляет собой большую ценность и должен быть со всем вниманием изучен теми, кто хочет

понять не только конечные выводы, но и все обоснование перспектив нашего народно-хозяйственного развития.

Каковы же основные показатели этих предварительных перспективных ориентировок?

Прежде всего в области материального производства. Отправной вариант опубликованной в конце прошлого года госплановской перспективной ориентировки намечает рост валовой продукции сельского хозяйства к концу пятилетия на 28% к 1913 г. и на 38% к 1926/27 г. в неизменных ценах. Соответственно рост промышленной продукции намечается на 68% и 63% (в том числе фабрично-заводской промышленности на 78% и 68%). Так называемый оптимальный вариант, т.-е. рассчитанный на более благоприятный ход хозяйственного развития, намечает прирост промышленной продукции по сравнению с 1913 г. на 86% (а по крупной промышленности даже на 103%). На ряду с этим строительство даже по отправному, т.-е. более скромному, варианту показывает прирост на 111% по сравнению с 1913 г. и на 105% по сравнению с 1926/27 г., а без сельского хозяйства соответственно на 150% и 166%. Доход на душу населения возрастает по отправному варианту на 35,4% по отношению к 1913 г. и на 30,9% по отношению к 1926/27.

Этот крупный рост материального производства не дается самоотечком, в основе его лежит запроектированная энергичная политика капитальных вложений в народное хозяйство. Только по государственному сектору по отправному варианту намечено вложение 18,5 млрд. руб. за пятилетие, а по оптимальному—22,1 млрд. руб. При этом наиболее крупные суммы в предстоящее пятилетие предполагается направить в промышленность, которая поглощает вместе с электрификацией 7,4 млрд. руб., в транспорт—6,7 млрд. руб., в сельское хозяйство—1,5 млрд. руб., в коммунальное хозяйство—1,2 млрд. руб., в городское жилищное строительство—1,1 млрд. руб. и т. д. Это по отправному варианту. По оптимальному государственная промышленность должна получить дополнительную надбавку в 1,3 млрд. руб., транспорт—750 милл. руб. и т. п. Именно этот размах вложений дает возможность в предстоящее пятилетие поднять такие строительства, как Днепрострой, Сибирско-Туркест. ж. д., металлургические заводы на Украине, на Магнитной горе на Урале, в Тельбессе (Сибирь), крупнейший завод сел.-хоз. машиностроения в Ростове, крупнейший машиностроительный завод на Урале, ряд крупных химических заводов, текстильных фабрик, электростанций и т. п.

Этот размах и направление капитальных вложений обеспечивают неуклонный ход индустриализации страны, которая и является станковым хребтом всего перспективного плана. Именно этим характером вложений обеспечивается возможность добиться того, что соотношение промышленности и сельского хозяйства в общем итоге народного дохода неуклонно изменяется в пользу первой. Если в 1913 г. по расчетам отправного варианта пятилетки в общем итоге народного дохода на долю сельского хозяйства приходилось 52,4%, в 1926/27 г. — 52,3%, то через пять лет эта доля упадет до 46%. Соответственно этому доля промышленности в народном доходе подымается

с 25% до 29%. Правильно говорят авторы пятилетки, что «этот количественный сдвиг в сторону индустриализации страны далеко еще не отражает тех качественных сдвигов в технико-экономической структуре промышленности, которые произойдут за то же время. Прежде всего, предстоящее техническое перевооружение промышленности должно только за пять лет повысить производительность индустриального труда на 57% или даже на 63%».

Этот рост производительных сил страны в перспективе ближайшего пятилетия, разумеется, сопровождается, по расчетам перспективных планов, ростом благосостояния народных масс. Денежный доход рабочего по отправному варианту предполагается повысить на 26%, а с учетом снижения розничных цен реальный доход должен подняться почти на 57%. Если даже учесть то обстоятельство, что проблемы жилищного строительства заставят нас пойти на некоторое повышение квартирной платы, то все же реальный доход рабочих должен возрасти не менее чем на 45%. Доход крестьянина из расчета на душу населения возрастает по отправному варианту, принимая во внимание и снижение розничных цен, также, примерно, на 45%. Таким образом, перспективная ориентировка намечает не только реальный рост экономического уровня трудящегося населения, но и некоторое уменьшение разрыва в уровнях благосостояния города и деревни.

Само собой понятно, что всякий план, а тем более перспективный, в нашей стране должен отвечать на вопрос «кто кого», т.-е. намечать желательную динамику соотношения социальных секторов в народном хозяйстве. Наши перспективные планы, естественно, преследуют задачу усиления обобщественного сектора в общей народно-хозяйственной системе. В крупной государственной промышленности средства производства у нас уже обобществлены на 98,5%. Перспективный план намечает завоевание ряда новых позиций для обобщественного сектора. «В строительстве, где еще в 1924/25 г. обобщественный сектор обнимал только 37,4% и в 1926 27 г.— 54,2%, через пять лет его доля составит уже 67,5%, а из остальной трети около 80% займет сельское строительство собственными силами крестьянства. В области промышленности, включая и кустарную, доля обобщественного производства повысится за пять лет с 84,8% до 87,3% общего итога. В области транспорта всех видов, за исключением крестьянского гужевого извоза, его работа уже и ныне обобществлена почти на 100%. И даже в области торговли доля обобщественного хозяйства повышается за предстоящие пять лет с 82 до 90% общего оборота». Разумеется, неизмеримо сложнее обстоит дело в сельском хозяйстве. Государственные коллективные хозяйства в производстве сел.-хоз. продуктов занимают еще совершенно незначительное место. Зато влияние социалистического сектора становится с каждым годом все более значительным через контрактацию, кооперацию, систему государственных заготовок и т. п.

Все эти расчеты предварительны и требуют новой и глубокой работы в направлении более форсированного и более эффективного народно-хозяйственного производства и строительства. Но эти расчеты никем не могут быть игнорируемы. В построенных до сих пор предварительных вариантах пятилетки даны первые подсчеты ресурсов, которыми страна может располагать

для нужд реконструкции хозяйства и для развертывания индустриализации. Произведен первый предварительный анализ возможных темпов продукции отдельных отраслей народного хозяйства, роста производительности народного труда, размеров источников накопления и намечена черновая схема перераспределения национального дохода в интересах строительства социалистической экономики и социалистического общества. Сведены воедино центральные проблемы ближайшего пятилетия, вскрыты главнейшие трудности, вчерне намечены пути их преодоления. Нужно тщательно изучить эту работу, нужно вплотную примкнуть к ней в дальнейших поисках наилучшего разрешения ответственной задачи построения пятилетнего народно-хозяйственного плана.

Нельзя также забывать и политической роли осуществленной до сих пор работы по пятилетке. Работа эта проходила в накаленной политической атмосфере. Еще незаконченные варианты пятилетки подвергались ожесточенной атаке как со стороны враждебно настроенных к индустриализации страны буржуазных экономистов, так и со стороны бывшей партийной оппозиции. В нашей прессе уже неоднократно давались сопоставление и анализ различных экономических (а следовательно, и политических) групп и школ, скрещивавших свои шпаги на вопросах пятилетки. Нельзя ни на минуту упускать эту сторону дела, на каждом новом этапе работ над пятилеткой нужно зорко следить за политическим смыслом различных и многочисленных споров, поднимающихся вокруг нее, часто под весьма скромными и академическими этикетками.

3. XV съезд ВКП(б) и работа над пятилеткой

Решения XV Съезда партии отмечают перелом между подготовительным этапом работы по пятилетке и этапом завершительным, который должен дать законный перспективный план народно-хозяйственного строительства страны и который открывает собою период планирования на более длительный срок и в более крупных масштабах. Съезд стал исходным моментом большого общественного движения, творческой инициативы многочисленных хозяйственных организаций, научно-исследовательских учреждений и отдельных деятелей техники, науки и строительства вообще, движения, направленного к построению такого перспективного плана, который обеспечивал бы уверенный и прочный рост социалистического общества.

Работа над пятилеткой вступила в новую полосу при наличии таких документов, как октябрьский манифест ЦИК'а СССР, директивы XV Съезда ВКП(б) по пятилетке и по работе в деревне. Всякому понятно, насколько эти ответственные политические документы, ставящие крупнейшие задачи в народно-хозяйственном и культурном строительстве страны, глубоко оплодотворяют дальнейшую работу по построению пятилетнего плана, какой широкий размах придают они этой работе и в какой мере повышают ее ответственность не только в СССР, но и перед лицом международного пролетариата. Всякому понятно, что мы проектируем пятилетие обостряющегося соревнования и тяжбы между социалистической и капиталистической на-

родно-хозяйственными системами, что мы проектируем такую программу строительства социалистического общества, которую в той или иной вариации придется осуществлять многочисленным странам на другой день после пролетарской революции у них. Уже завершение восстановительного периода в хозяйственном строительстве нашей страны вызвало все повышающуюся волну симпатии к нам международного пролетариата и угнетенных народов всего мира. Пятилетний план социалистической реконструкции народного хозяйства, план социалистической индустриализации, несомненно, должен стать одним из наиболее действенных для нас и одним из наиболее опасных для капитализма политических документов.

Было бы совершенно излишним пересказывать здесь все то, что сказал XV Съезд в своих решающих документах по вопросам о перспективах и задачах нашего хозяйственного и культурного строительства. Всякий, кто в той или иной форме хочет принять участие в работе над пятилетним планом, должен с величайшим вниманием изучить решения XV Съезда и проникнуться их установкой. Здесь нужно лишь подчеркнуть то важнейшее и решающее, что было недостаточно предусмотрено в предшествующем периоде работ по пятилетке и что должно с особой силой занять внимание на нынешнем завершительном этапе работ.

Несомненно, центральным, решающим остается вопрос о социалистической индустриализации нашей страны, осуществляемой на новых энергетических основах. Индустриализация нашей страны является составной и решающей частью общей задачи построения социалистического общества, в ней, как в фокусе, собираются, отражаются и увязываются все актуальные, крупнейшие проблемы переходного периода. Вопрос об укреплении пролетарской диктатуры, рабоче - крестьянский блок, под'ем отсталых народов и многое другое накладывает неизгладимую печать на программу индустриализации, ее темпы, ее ресурсы и т. д. Путь индустриализации проходили и проходят все передовые капиталистические страны. Это путь жестокой эксплуатации народных масс, ограбления зависимых стран и колоний. Социалистической индустриализации, напротив, сопутствует и не может не сопутствовать рост благосостояния народных масс, экономический и культурный под'ем отсталых народов, культурная революция в массах. Надо понять все величие и гигантские трудности этого беспрецедентного в истории человечества сочетания задач.

Подводя итоги двухлетнему строительству и тем политическим атакам, которые были направлены на индустриализацию, Съезд партии обязал «продолжать неослабным темпом политику социалистической индустриализации, уже принесшую свои первые положительные результаты». Это и есть первая и центральная директива Съезда к построению пятилетнего плана. Но на ряду с такими общими директивами Съезд на опыте истекшего периода счел необходимым дать ряд дополнительных директив о соотношении тяжелой и легкой индустрии, о соотношении между объектами строительства и их сроками, о новых производствах и проч., которые должны быть тщательным образом учтены при составлении полной развернутой программы индустриализации на ближайшее пятилетие. Вот почему конкретный всесторонний анализ раз-

вернутой программы индустриализации, ее отношения к основным общественным классам страны, ее пропорций, темпов и соотношения отдельных частей, ее народно-хозяйственной эффективности должны остаться центральной темой всей осуществляемой теперь работы по пятилетке.

Прокламированный октябрьским манифестом ЦИК'а СССР и подтвержденный затем XV С'ездом ВКП(б) переход на 7-часовой рабочий день, разумеется, вносит существенные изменения во всю компановку перспективного плана. Было бы неправильным ограничиться здесь только пересчетом числа рабочих, изменением фонда зарплаты и учесть влияния этого факта на состояние безработицы. Переход на 7-часовой рабочий день ставит ряд крупнейших проблем о темпе роста промышленного производства, об обеспечении сырья, о состоянии, работе и амортизации основного капитала промышленности, о влиянии сокращенного рабочего дня на культурный уровень рабочих, о производительности труда и о многом другом. Уже 1927/28 г. дает опыт перехода на 7-часовой рабочий день в 15 текстильных фабриках. В будущем году последует еще больший шаг вперед в этом направлении. Надо всесторонне изучить эту важнейшую политическую и народно-хозяйственную проблему и с максимально доступной полнотою осветить ее в пятилетнем плане. Надо помнить, что здесь решается не частный народно-хозяйственный вопрос, а крупнейшая политическая задача. Не следует упускать из виду, что так называемый стабилизационный период в Европе в значительной мере ликвидировал 8-часовой рабочий день, завоеванный европейским пролетариатом в пору послевоенного революционного кризиса. Имеет крупнейшее международное значение тот факт, что весь восстановительный период народного хозяйства СССР и первые наиболее тяжелые годы его реконструкции проходят не только при нерушимости 8-часового рабочего дня, но и с систематическим его сокращением: «в 1913 г. рабочий день выражался в среднем в 9 час. 42 мин., в 1917 г., когда рабочие ввели захватным порядком 8-час. рабочий день, он выражался в 8 час. 45 м., в 1924 г. — 7 час. 37 мин., в 1925 г. — 7 час. 25 мин., в 1926 г.—7 час. 20 мин., в 1927 г.—по предварительным данным— 7 час. 18 мин.» (см. стат. Томского в «Правде», № 273, от 29 ноября 1927 г.). Эта динамика рабочего дня в предшествующие годы создала надежные предпосылки для того, чтобы в пятилетнем плане реконструкции народного хозяйства поставить решительно вопрос о переходе на 7-часовой рабочий день. Октябрьский манифест ЦИК'а СССР и решения XV С'езда ВКП(б) в этом смысле бьют в лицо капиталистической рационализации современной Европы и ярким светом озаряют весь ход социалистической индустриализации нашей страны.

Несомненно далее, что в предшествующих работах по пятилетке не был сколько-нибудь полно учтен тот крупнейший сдвиг в организации крестьянского хозяйства, который намечен XV С'ездом ВКП(б). Огромное значение XV С'езда ВКП(б) заключается, между прочим, в том, что он проблему взаимоотношений между социалистической индустриализацией и форсированным выходом на путь с.-х. прогресса широчайших масс крестьянства поднял на новую высоту и придал ей широкий размах и практическую постановку. С'езд подчеркнул недостаточность наметившихся по предварительным вариан-

там пятилетки темпов сельско-хозяйственного прогресса и поставил всю страну лицом к лицу с гигантской задачей найти ускорение этих темпов на тех новых путях, которые открывает для деревни советский строй. Резко поставлена задача более решительного вытеснения капиталистических элементов из хозяйственной системы СССР. Тем самым ставится предел всяким попыткам сбивать вопросы о под'еме производительных сил сельского хозяйства на путь расширения нэпа, на покровительство верхушечным, «хозяйственно-мощным слоям» деревни и т. д. В противовес этим тенденциям намечен путь сельскохозяйственного прогресса «в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на основах общественной обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой машинной техники». «Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие хозяйства постепенно и неуклонно не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения объединялись бы в крупнейшие хозяйства на основе общественной, товарищеской обработки земли с применением с.-х. машин и тракторов, с применением научных методов интенсификации земледелия» (речь тов. Сталина на С'езде). Разумеется, в этой программе нет ничего нового и неожиданного. Новое и решающее заключается в том, что, опираясь на рост хозяйственной и организационной мощи страны за последние годы, на первые успехи советской индустриализации, на многочисленные сдвиги к реконструкции в самом сельском хозяйстве, на рост кооперирования и коллективизации, партия видит в стране реальные ресурсы и предпосылки для более широкого и практического «подчинения сельского хозяйства государственному и коллективному началу». Нет нужды подчеркивать, как сложна и грандиозна эта задача, какой под'ем общественной энергии и коллективных усилий в стране она предполагает, каким должен быть под'ем самодеятельности самого крестьянства и всех его общественных организаций. Здесь нужен мощный прилив пролетарского общественного внимания и помощи деревни. Повести за собой уже начинающее подниматься к общественным и коллективным формам земледелия крестьянство, организовать его, вооружить технически и культурно, вплотную подойти к нащупыванию путей для решения величайшей задачи социализма — устранения противоположности между городом и деревней,— вот поистине грандиозная задача, которая стала в реальной перспективе нашего строительства и которая должна найти свое полное и всестороннее отражение в пятилетнем народно-хозяйственном плане. Нечего доказывать, что перспективный план такого рода мероприятий может быть составлен лишь совокупными усилиями всех организаций и деятелей, связанных с проблемами и судьбами нашего сельского хозяйства и живущих интересами его социалистической реконструкции.

С'езд с особой энергией подчеркнул задачу повышения обороноспособности нашей страны, к которой он считает необходимым «не только привлечь внимание плановых и хозяйственных органов, но, самое главное, обеспечить неустанное внимание всей партии». Надо прямо сказать, что в предшествующей работе по пятилетке проблемы обороны не были еще поставлены во весь их рост и во всем их значении. Ее нужды учитывались главным образом по линии увеличения ассигнований на военное ведомство. Между тем, как это

прекрасно показал на С'езде т. Ворошилов, грядущая война будет не столько борьбой армий, сколько борьбой заводов, столкновением народно-хозяйственных организмов в целом. Вот почему нужно, чтобы по всей линии хозяйственных проектировок на будущее, при выборе об'ектов строительства и анализа их территориального размещения, при оценке их технических проектов, словом, в каждом шаге к построению перспективного плана имелись бы в виду нужды обороны страны.

Новым моментом, требующим самостоятельного и всестороннего освещения в перспективном плане, является проблема культурной революции в народных массах СССР. С'езды партии не бросают слов на ветер. Поэтому применение термина «культурная революция» к тому культурному сдвигу масс, который на ближайший период предстоит, обязывает к новому подходу в решении этой задачи. Нечего доказывать, в какой мере это диктуется общими требованиями социалистического строительства вообще и задачами реконструкции народного хозяйства в частности.

Наконец, особо должен быть подчеркнут вопрос о под'еме отсталых народов в СССР в процессе социалистической индустриализации. Всем известен путь индустриализации крупнейших капиталистических стран. Нет ни одной так называемой великой цивилизованной страны, историческая дорога которой не была бы полита кровью целых народов, ограбленных и уничтоженных во имя капиталистической цивилизации. Социалистическая индустриализация идет иным, принципиально отличным, путем. Ее отношение к судьбам отсталых народов так же принципиально отлично от капиталистических стран, как и отношение к пролетариату и крестьянству. Отказ от неравноправного договора с Китаем и передача причитающихся по этому договору средств на культурный под'ем китайских народных масс, активная поддержка революционно-национального движения в колониальных и зависимых странах, заключение с ними максимально благоприятных для них торговых договоров и величайшие усилия по под'ему культурного и экономического уровня отсталых народов внутри СССР, — все эти факты ставят индустриальное развитие СССР в совершенно другую, невиданную в истории человечества, позицию по отношению к отсталым народам. Линия на максимально большую и быструю эффективность экономических мероприятий, на максимально быстрое рентирование вкладываемых ресурсов (что является решающим для судеб нашего строительства) должна быть в программе экономического строительства правильно и заботливо сочетаема с длительными, трудными и дорогими мероприятиями по под'ему многочисленных, на разных ступенях находящихся, в прошлом угнетенных народов нашей страны. Само собой разумеется, эта директива XV С'езда ВКП(б) может быть осуществлена лишь на основе научно-поставленного экономического районирования СССР, которое с каждым новым днем становится все более актуальной задачей нашего строительства.

С'езд со всей энергией подчеркнул, что ресурсы для реконструкции, для всего строительства социалистической экономики могут и должны быть найдены в успешном ходе социалистической рационализации производства, в повышении творческого участия масс в хозяйственном строительстве, в

подъеме их культурного уровня и, разумеется, в осуществлении действительно планового характера нашего строительства. Все это не делается стихийно, самотеком, все это требует своей организации и надлежащего руководства. Тем самым, во весь рост встают задачи всестороннего освещения в пятилетке организационных проблем нашего строительства.

Этим, разумеется, ни в коей мере не исчерпывается тот богатейший материал, который заложен в важнейших документах XV Съезда ВКП(б). Эти моменты, однако, ставят настолько крупные задачи в дальнейшей работе по пятилетке, что они должны быть самостоятельно и с особой силой подчеркнуты, и к ним должно быть привлечено особое внимание советской общественности. Превратить эти политические директивы в реальную, всесторонне обоснованную и обеспеченную экономическую программу, которая закрепляла бы позиции социалистической экономики в ее соревновании с капиталистическими антагонистами, — вот задача, которая стоит перед нами на новом этапе работ по пятилетке. Такие задачи не решаются в тиши кабинетов, они требуют внимания и инициативы широчайших кругов советской общественности.

4. Основные черты будущего плана ¹⁾.

Опираясь на предшествующую работу и исходя из того нового, что вносят директивы XV партийного Съезда, можно было бы наметить следующие важнейшие моменты предстоящей работы.

Прежде всего, в этой связи нужно выдвинуть проблему капитального строительства во всех важнейших отраслях народного хозяйства. За последние четыре года из тех незначительных накоплений, которыми располагает страна, произведено капитальных вложений в промышленность на сумму около 3,5 млрд., в транспорт около 2 млрд. р., в строительство районных электрических станций — свыше 500 млн., в жилищное строительство в городах около 1,5 млрд. и т. д. Совершенно естественна и законна потребность советского общественного мнения подвести экономический итог этому строительству, его результатам и эффективности, прежде чем решиться на пятилетнюю программу еще более крупных и ответственных капитальных вложений.

Капитальное строительство становится все более важным, можно сказать, решающим фактом и фактором нашего хозяйственного развития. К нему стягиваются нити всех важнейших народно-хозяйственных проблем (снижение себестоимости, рационализация производства, количество и дешевизна электрической энергии, характер транспортных связей, вопросы обороны и, наконец, вопросы быстроты рентирования незначительных капиталов нашей страны). При этом дело оказывается не только и даже не столько в размерах общих ассигнований, направляемых на капитальное строительство, сколько в вопросах технико-экономического обоснования, качества технического выполнения, правильности выбираемых технических типов, быстроты и дешевизны строительства и т. д. Иными словами, все

¹⁾ Этот раздел взят автором из его статьи, опубликованной в «Пл. х-ве», № 2, к III съезду плановых органов.

более остро и настойчиво встает необходимость в наших расчетах перспективных планов перейти от чисто финансового выражения в характеристике капитального строительства к технико-экономическому анализу и обоснованию по существу. Без этого никакого прогресса в построении перспективного плана достичь невозможно. И этим характеризуется самое важное в том переломе работы, на котором мы стоим.

За последний период советская пресса с величайшей откровенностью и беспощадностью развернула картину многочисленных дефектов и подчас прямых неудач в капитальном строительстве. Учет этого опыта и этих материалов не может не войти важнейшей составной частью в предстоящие работы по пятилетке. Но было бы недостаточным и прямо ошибочным, если бы за этими многочисленными дефектами, от искоренения которых в значительной мере зависит успех нашего дальнейшего народно-хозяйственного развития, не было бы обращено внимания на более крупные экономические факты, коренным образом связанные с нашим капитальным строительством. Против ожидания вся промышленная продукция в текущем году обещает дать около 23% прироста. Это непосредственный показатель эффективности капитальных вложений в нашу промышленность. Нужно всесторонне изучить это дело, дабы в народно-хозяйственную оценку нашего капитального строительства не было внесено тех искривлений, перед опасностью которых мы всегда стоим в моменты конъюнктурных затруднений. Ни для кого ведь не секрет, что именно в моменты конъюнктурных трудностей наибольшему штурму подвергаются как раз те линии экономической политики, которые наиболее трудны, которые требуют наибольших жертв и выдержки в своих начальных стадиях. К ним, разумеется, в первую очередь принадлежит индустриализация.

Прямой бедой всех до сих пор созданных вариантов перспективных планов (в том числе и планов ВСНХ) было то, что они составлялись при отсутствии сколько-нибудь обстоятельных и надежных данных о результатах и эффективности капитального строительства. Это лишало их уверенности в самых решающих, стержневых вопросах всего народно-хозяйственного развития. Не будет преувеличением сказать, что успех новых работ по пятилетнему плану в огромной мере зависит от того, насколько удастся за остающийся короткий срок составить сводный обзор уже осуществленного капитального строительства во всех отраслях народного хозяйства, выявить его народно-хозяйственный эффект и трезво учесть его уроки. Нечего говорить, какую огромную услугу делу построения пятилетнего плана могут оказать именно в этой части широкие кадры руководителей и работников капитального строительства.

Этим определяется тот характер требований, которые следует предъявить на данной стадии работ по пятилетнему плану органам, руководящим отдельными отраслями народного хозяйства, республикам, районам и многочисленным научно-исследовательским институтам страны. Центральные ведомства, связанные со сколько-нибудь крупным капитальным строительством, должны дать в ближайшие месяцы не столько пересчеты своих старых балансов и вариантов пятилетних наметок, сколько совершенно конкретную

и всесторонне обоснованную технико-экономическими показателями и соображениями программу капитального строительства с перечнем важнейших объектов, их территориальным размещением, сроками окончания строительства и характеристикой их технико-экономического типа. Научно-исследовательские институты страны и инженерские организации должны мобилизовать всю свою творческую энергию и инициативу, чтобы помочь освещению этого вопроса. Республики и области в своих материалах должны особенно тщательно вскрыть вопросы капитального строительства под углом зрения специфических районных черт, и, в особенности, по отношению к тем многочисленным и распыленным объектам республиканского и местного строительства, которые, будучи незначительными каждый в отдельности, в сумме своей и в своей неплановости составляют внушительную и, порой, опасную величину. Без этого материалы районов и республик окажутся бесплодными для построения общесоюзного народно-хозяйственного плана.

Следующей крупной темой предстоящих работ должен быть опыт построения конкретного плана реконструкции и рационализации важнейших отраслей народного хозяйства. Как трактуются у нас до сих пор проблемы рационализации и реконструкции в важнейших отраслях хозяйства и, в частности, в промышленности? По крайней мере, в обобщающих докладах эти темы представлены в форме отдельных более или менее разобренных иллюстративных замечаний, освещающих тот или иной размер снижения себестоимости и т. д. Конечно, снижение себестоимости является результатом сложного ряда причин, в том числе и процессов рационализации производства. Но такая трактовка этой важнейшей темы всего народно-хозяйственного строительства не может считаться достаточной по отношению к прошлому и она совершенно неудовлетворительна в планах будущего. На ряду с новым строительством мы производим крупные, гораздо более значительные вложения в реконструкцию существующих предприятий не только в промышленности, но и в транспорте, в электростроительстве и т. п. Решающим моментом в распределении вложений между новым и старым строительством было до сих пор повелительное требование рынка, необходимость максимально и срочно увеличить размер продукции. Но какому плану рационализации, какому типу общей реконструкции все это подчинено, — это дело не вскрыто надлежащим образом, не разъяснено. Между тем, характер социалистической рационализации так своеобразен и ответственный, общественно-организационные моменты в нем так переплетены с технико-экономическими задачами, что их всесторонний анализ является абсолютно необходимым. Вот почему совершенно прав тов. Милютин, когда он в своем докладе в Комм. Академии настаивал на построении общего плана рационализации и реконструкции.

Выше уже была подчеркнута проблема семичасового рабочего дня в связи с директивами октябрьского манифеста ЦИК'а и XV. Съезда ВКП(б). Можно прямо утверждать, что у нас еще не осознана вся сложность и все гигантские трудности, с которыми связано воплощение в жизнь этой важнейшей, одной из центральных директив нашего народно-хозяйственного строительства ближайшего периода. Совершенно понятно, что вопрос семичасового

рабочего дня, план его осуществления является органической составной частью общего плана рационализации и реконструкции.

Эти два раздела работ (капитальное строительство и план рационализации и реконструкции), теснейшим образом между собой связанные, вплотную подводят к общему вопросу о технической политике нашей страны, о той технической ориентации, которую мы берем в перспективе ближайшего периода. Никто не может оспаривать того, что разницей у нас в этом отношении необычайно велик, что каждая отрасль промышленности, транспорт, электростроительство, различные районы в значительной мере за свой риск и страх и изолированно устанавливают техническую ориентацию, ведут самостоятельную техническую политику. У нас еще не создан в стране достаточно авторитетный центр технической политики. Это не может быть терпимо при том широком переходе к новому строительству, который мы уже отчасти осуществили и еще более широко разворачиваем в ближайшем пятилетии и который на длинный период времени определит технический тип нашего народно-хозяйственного развития. Нужно усвоить те подходы, которые лежали в основе плана ГОЭЛРО, имевшего яркую техническую концепцию, разумеется, применительно к новым, гораздо более широко развернутым, перспективам строительства.

Далее следует подчеркнуть необычайно трудную, но совершенно необходимую работу, которую нужно осуществить в связи с теми новыми директивами, которые даны в вопросах сельскохозяйственной политики. Никто не может оспаривать того, что именно проблемы сельского хозяйства были наиболее слабым звеном во всех расчетах предшествующих вариантов пятилетки. Нельзя отрицать того, что XV Съезд партии и уроки хозяйственной обстановки последнего периода внесли сюда существенно новое, что должно быть всесторонне и тщательно продумано и конкретизировано. В самом деле, активный и систематический нажим на кулацкую верхушку, необходимость сообщить темпам с.-х. развития гораздо более крупный размах и задача перевода в массовом масштабе мелких и мельчайших крестьянских хозяйств на путь укрупнения, на путь разного рода коллективизации с машинной техникой, проблема гораздо более энергичного развертывания продовольственной и сырьевой базы страны — все это в совокупности требует новых и смелых подходов в решении этой задачи. Вместе с тем, ни в чем другом нам не угрожает такая опасность бюрократических увлечений и извращений, как в этом ответственной деле. И ни в какой другой отрасли нам не нужна в такой мере разработка вопросов применительно к отдельным районам, к их специфическим особенностям и укладам, как именно в вопросах широкой реконструкции крестьянского хозяйства. Между тем, произведенный уже после составления перспективной ориентировки опыт построения сводного плана государственных мероприятий в сельском хозяйстве на 1927/28 год показывает, что даже при весьма больших усилиях удалось вскрыть в совершенно недостаточной мере и форме и лишь очень незначительную часть тех реальных процессов реконструкции, которые в сельском хозяйстве происходят. Неизбежная распыленность этого дела в стране требует громадного напряже-

ния не только экономической и агрономической, но и инженерской мысли в вопросах сельского хозяйства при построении перспективного плана.

XV Съезд партии подчеркнул величайшую осмотрительность в решении этих задач, огромное многообразие тех ручьев обобществления крестьянского хозяйства и перевода его на машинную технику, которые должны, в конечном счете, слиться в мощный поток реконструкции сельского хозяйства и изживания его первобытной технической основы. Республики и области должны притти в этом вопросе с большим конкретным материалом, характеризующим различные типы этой реконструкции, различные и многообразные формы коллективизации, кооперирования, внедрения машины и повышения культурного уровня сельскохозяйственного производства. По-новому должна быть разработана программа производства в стране и снабжения сельского хозяйства минеральными удобрениями. Всесторонне и конкретно должна быть представлена работа сложной сети опытных станций, селекционных пунктов, прокатных пунктов, система поощрительных мероприятий, контракций, премирования и т. д. Для построения пятилетнего плана важна не столько теоретически исчисленная конечная цифра возможного роста сельскохозяйственной продукции, сколько большая, всесторонне разработанная программа борьбы за конечный результат.

Правильно говорят о необходимости снова и снова обратить наше внимание на проблему преодоления натурально-хозяйственных черт нашей экономики. Опыт последних лет показал, как трудно удается разбивать натурально-хозяйственную скорлупу нашего сельского хозяйства, как быстро прячется крестьянство в нее при малейших затруднениях в конъюнктуре и какой большой процент ряда важнейших сырьевых культур расточительно потребляется внутри крестьянского хозяйства. Можно было бы прямо сказать, что пятилетний план был бы заранее обречен на неудачу, если бы он не обеспечил серьезное продвижение вперед в решении этой проблемы. Разумеется, это связано целиком с общим ходом промышленного развития страны, с успехом реконструкции и рационализации, с удешевлением промышленной продукции и т. п. Но, несомненно, в этом деле есть много специфических задач в отдельных районах и в отношении отдельных сырьевых культур (транспортные задачи, продовольственное снабжение, политика цен), которые должны быть специально изучены, освещены и оформлены в плане.

Специальной темой в новой компоновке пятилетнего плана должна быть выделена проблема усиления экспортных ресурсов страны. Опыт последних лет с чрезвычайной убедительностью учит, какую колеблемость в нашу экспортную программу, а следовательно, и в программу импорта и капитального строительства вносит наше сельское хозяйство и, в частности, хлеб. Особенно поучительным в этом отношении является опыт нынешнего третьего урожайного года. Решительная борьба за обеспечение сельскохозяйственного экспорта должна, конечно, занять важнейшее место в перспективном плане. Но, вместе с тем, совершенно очевидно, что сравнительно большие возможности нашего промышленного экспорта (нефтяного, лесного и целого ряда других) нами недостаточно используются и обеспечиваются. Со-

ставленный в самое последнее время план развертывания лесного экспорта на ближайшее пятилетие должен особенно привлечь к себе внимание.

Наконец, проблема образования народно-хозяйственных резервов должна быть поставлена в новой компоновке перспективного плана не в форме хороших пожеланий, а в виде одной из первоочередных и обязательных задач. Всем известно, как много было сказано и как много авторитетных указаний было дано о задачах образования резервов в течение 1927/28 года. Всем также достаточно известно, что на протяжении 1927/28 года эти задачи сколько-нибудь существенно решить не удастся. Наоборот, есть опасность сокращения, а не увеличения резервов. Нужно прямо сказать, что задача образования резервов до сих пор не находит у нас надежного материального выражения в планах, между тем, именно 1927/28 год особенно убедительно напоминает ту простую истину, что без резервов двигаться вперед, уверенно осуществлять крупные народно-хозяйственные задачи становится все более и более трудным. Нужно только совершенно отчетливо осознать, что возможность реально образовать резервы в нашей стране является прямой функцией от успехов рационализации всего нашего хозяйственного механизма. И именно в этой связи проблема резервов должна быть представлена в перспективном пятилетнем плане.

Этот перечень важнейших тем предстоящей работы отнюдь не является исчерпывающим. Ряд других моментов, не менее важных, был подчеркнут отдельно (оборона, культурная революция и т. п.). Приведенные здесь моменты лишь подчеркивают то новое, что должен внести в работу по пятилетнему плану предстоящий нам заключительный период в его составлении.

5. Проблема культурной революции в пятилетнем плане

Разработка плана культурного строительства страны в его сочетании с хозяйственным строительством у нас крайне недостаточна и запаздывает. Между тем, с каждым новым годом экономического роста, в особенности с широким развертыванием задач реконструкции, нового капитального строительства, рационализации производства и управления, перевода крестьянского хозяйства на путь коллективизации и т. д., страна все более остро ощущает «узкие места» со стороны своей культурной отсталости. Мы вплотную подошли к задачам культурной революции во всей ее гигантской сложности и трудности. Эта проблема не может быть обойдена перспективным планом, напротив, она должна занять в нем одно из важнейших мест. Каковы же основные элементы этого дела?

Большой и самостоятельной темой должен быть анализ нашей высшей специальной школы и системы научно-исследовательских институтов, связанных с промышленностью, сельским хозяйством и другими отраслями народно-хозяйственного производства. Здесь речь идет о высшем техническом командном кадре производства и о тех очагах научных изысканий, которые двигают технику вперед, и от которых в значительной мере зависит исход социалистической индустриализации и всего дела соревнования нашего производства с производством капиталистическим. Контингент нашей высшей

школы (специальной) превышает больше чем на 50% довоенный. С этой точки зрения, количественной, едва ли можно ждать больших затруднений для развертывания индустриализации страны. Тут для ближайших лет главный вопрос в качественной подготовке, в научном и практическом вооружении кадров, выпускаемых высшей школой, в их социальном подборе и в соответствии их требованиям развертывающейся реконструкции и нового строительства. Уроки средне-азиатских процессов в области ирригационных работ, уроки шахтинского заговора в Донбассе, уроки многочисленных дефектов производства и строительства обязывают с особой настойчивостью работать над подбором командных кадров производства и нового строительства в нашей стране.

Особое внимание должно быть привлечено к новым у нас научно-исследовательским институтам, к этим очагам и лабораториям новой технической мысли. У нас нет еще полного учета осуществляемых здесь работ. Страна тратит на это дело много десятков миллионов рублей в год (только научно-исследовательские институты ВСНХ, объединяемые НТУ, поглощают свыше 30 млн. р. ежегодно). Некоторые из этих учреждений дают доказательство высокого напряжения работ и достижений и могут быть поставлены на ряду с аналогичными организациями Западной Европы и Америки. Но не надо в этой оценке упускать из виду тот бешеный размах, который развивают капиталистические страны. В одном из томов специальной парламентской комиссии под председательством Бальфура в Англии был поставлен «анализ факторов продуктивности», в числе которых особый раздел посвящен научным исследованиям. Стоит привести несколько фактов из этих данных. Германский химический трест затратил на исследования синтетической нефти 12 млн. марок, вообще же в химической промышленности Германии 2.000 химиков сидят исключительно на исследовательских работах. В Америке крупные фирмы тратят по 1 — 2 млн. долл. в год на постановку исследовательских работ. Ассоциация телефонной компании в штате 4 тыс. человек держит 1.800 научных работников, которые заняты «исключительно исследованиями, развитием и усовершенствованием аппаратов, материалов и методов связи», при расходах на эти работы 14 млн. долл. в год. Общая сумма, затрачиваемая американской промышленностью на исследовательские работы, достигает 75 млн. долл. в год. Вообще же в Америке эти цели поглощают сотни млн. долларов ежегодно. Нам нужно вдуматься в эти факты. Проблема сочетания нашей высшей школы с научно-исследовательскими институтами промышленности и других отраслей хозяйства у нас недостаточно изучена и популяризирована. Размах в этом направлении еще крайне недостаточен. Между тем, нечего говорить, какую роль в нашем социалистическом строительстве должны сыграть эти своего рода силовые станции индустриального прогресса. Здесь встает большая и самостоятельная задача строительства и развертывания этих учреждений и их работ.

Нужно, однако, сказать, что еще большую практическую остроту для ближайшего пятилетия приобретает вопрос подготовки среднего типа квалифицированных кадров, обучаемых в техникумах, профшколах, в школах фабзавуча и т. д. С другой стороны, встает вопрос о массовой квали-

фикации и переквалификации рабочей силы (курсы и другие формы профессионально-научной работы). И это несмотря на значительные достижения последних лет. Индустриальное развитие страны идет необычайно бурным темпом, реконструкция и рационализация строительства стремительно и остро предъявляют все большие требования на обученных и квалифицированных работников. Старые кадры исчерпываются.

Первое, что бросается в глаза в области воспроизводства и подготовки квалифицированной силы в стране, это отсутствие до сих пор сколько-нибудь разработанного и аргументированного баланса между спросом на квалифицированную силу и ее предложением со стороны просветительной сети. Разумеется, термин «баланс» употребляется здесь в особом смысле, ибо балансовый метод здесь применим в гораздо более ограниченной форме, чем в других отраслях строительства. Бесспорным является то, что до сих пор наши руководящие органы промышленности, электрификации, сельского хозяйства и строительства вообще не дали ни в одном официальном документе или в литературе своей оценки той потребности в квалифицированной силе, которая стоит перед страной на ближайшее пятилетие, и тех предложений, которые дает и может дать наша просветительная система. Равным образом нет анализа качественного соответствия выпускаемой квалифицированной силы задачам реконструкции, рационализации и капитального строительства вообще. Состоявшееся в прошлом году специальное совещание по профтехническому образованию при ВСНХ СССР является, несомненно, шагом вперед, и оно именно вскрыло всю неосвещенность, неразработанность этого дела и отсутствие надлежащей сговоренности между решающими в этом деле организациями страны. Вот почему эта тема должна привлечь к себе пристальное внимание в ходе работ по подготовке перспективного народно-хозяйственного плана.

На ряду с этим моментом, все более настойчиво из практической жизни встают два крупнейших вопроса в области воспроизводства квалифицированной силы. По данным ВСНХ около 46% наличного кадра индустриальных рабочих нуждаются в переквалификации и обучении на профтехнических курсах. Если взять даже несколько меньший процент и ограничиться кадром, требующим переквалификации, в 1 млн чел. рабочих, то и это — крупнейшая и трудная задача, которая требует большой организации и ассигнования около 100 млн. руб. в течение предстоящего пятилетия. Стоит отметить, что в апреле 1927 г. в Германии издан закон, обязывающий к обучению всех рабочих от 11 до 18 лет, занятых в промышленности, и возлагающий ответственность за невыполнение как на предпринимателя, так и на рабочих. Тем более мы, строящие социалистическую промышленность, должны вести упорную и систематическую борьбу за ликвидацию технической неграмотности рабочих. А, между тем, это дело до сих пор у нас крайне отстает.

С другой стороны, нельзя забывать того, что наша школьная система (крайне несовершенная и недостаточно приспособленная к стоящим перед ней задачам) является островком в море некультурности и простой неграмотности. 28% неграмотного населения в возрасте от 18 до 35 лет, т. е. в

том поколении строителей, на плечи которого падает величайшая тяжесть начального периода реконструкции, — об этой цифре забывать нельзя. Эги миллионы людей должны быть обучены грамоте в ближайшие пять лет. Предварительные подсчеты показывают, что это будет стоить около 200 млн. рублей. — Эта цифра не может пугать. При шестимиллиардном бюджете на просвещение по предварительным (явно преуменьшенным) вариантам пятилетки эта сумма не может считаться недостижимой, даже если это дело целиком падет на плечи бюджета. Никакой непреодолимой программы со стороны кадра обучающихся не может быть, если не подходить к этому делу по-казенному, если помнить о незанятом кадре интеллигенции, о переходе на 7-часовой рабочий день, если поднять в этом направлении широкую общественную волну. Решение этой задачи по срокам и очередности следует связать с вовлечением в производство, с профессиональной подготовкой вообще.

Но недостаточно только расчистить запущенность, оставленную капитализмом и образовавшуюся в годы войны и разрухи. Повышение благосостояния рабочих, переход на 7-часовой рабочий день, требования реконструкции, внедрение машин в деревню не могут не поднять неудержимой тяги населения к культуре и технике, не разбудить широкой инициативы к самообразованию. Никакая школа и курсовая система этой задачи решить не могут. Капиталистические страны (в особенности Америка) знают другие пути работы (система заочного обучения, консультация, техническая помощь и т. д.). Кое-что в этом отношении делается у нас крестьянскими газетами, кое-какое движение начинается в городах. На эту дорогу выходит вновь созданное об-во «Техника массам». Но все это крайне медленно раскачивается и отстает от роста разбуженных революцией народных масс. Тут нужен решительный перелом. Надо помнить, в каких военных терминах трактовал обычно Ленин задачи и нужды культурного фронта. Надо поднять большое общественное движение, настоящий осоавиахим борьбы за культуру и технику для масс.

Следовало бы особо подчеркнуть задачи материально технического снабжения культурного фронта. Всем известно, как плохо снабжены пособиями, приборами и т. п. наши школы, наши институты и просветительные учреждения вообще. Надо наново обдумать и широко развернуть в стране производство средств производства для культурного строительства. Целые отрасли промышленности должны быть заново поставлены для этого дела. В импортных программах эти нужды не могут идти в качестве второстепенных и первыми попадать под удар сокращений при всяких заминках. Но это может быть осуществлено только в том случае, если будет развернута деловая программа культурного строительства на ближайшие пять лет и на более длительные сроки.

Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что у нас еще до сих пор отсутствует единство просветительной системы в стране. Возникший еще в 1920 г. спор между украинской и российской просветительными системами, в особенности в области воспроизводства квалифицированной силы, до сего времени не ликвидирован. Между тем, истекший период,

казалось бы, является достаточным для того, чтобы тщательно и объективно изучить сравнительные преимущества одной и другой системы как с точки зрения принципиальных задач просветительной политики пролетариата, так и с точки зрения практических результатов для нужд технического вооружения страны. Нужно помнить, что наступающий период бурно разворачивающейся реконструкции хозяйства при исчерпании старых кадров квалифицированной силы будет толкать к методам спешного и не всегда рационального решения задач. Столкновения между принципиальными линиями просветительной политики пролетариата и жгучими нуждами хозяйственного строительства сегодняшнего дня неизбежны. Это будет сказываться и на спорах о просветительной системе. Надо обеспечить принципиальную ясность в этом деле и правильное решение задачи. Надо создать единство просветительной системы и добиться ее полного соответствия задачам технического вооружения нашей страны. На 11-м году революции это не только необходимо, но и возможно. Опыт накоплен достаточный, надо только изучить, обобщить его, усилить теоретическую работу в этом важнейшем направлении всего нашего социалистического строительства.

Это лишь беглые замечания на тему о постановке проблем культурной революции в перспективном плане. Здесь сознательно обойден целый ряд других, не менее крупных и актуальных, проблем культурного строительства. Эта тема требует широкой и развернутой трактовки. Это дело требует новой волны рабоче-крестьянской инициативы, большого общественного движения. Нужды социалистической революции не ждут, лозунг «культурная революция» обязывает.

6. Пятилетка и советская общественность

Пятилетний народно-хозяйственный план — это крупнейшая задача не только партии и советской власти, но и всей советской общественности. Не может быть в нашей стране равнодушных к этому делу. Партия с трибуны своего высшего органа сделала все, чтобы обеспечить участие в этом деле всех творческих сил страны. «Съезд поручает Центральному Комитету партии обеспечить разработку пятилетнего плана с таким расчетом, чтобы он был поставлен на рассмотрение ближайшего Съезда Советов, и обеспечить привлечение к тщательному и всестороннему обсуждению проекта плана всех местных советских, профессиональных, партийных и других организаций». Таково решение Съезда.

Несомненно, глубочайший интерес к этому делу должны проявить профсоюзы. Перспективный народно-хозяйственный план решает проблему роста кадров профессионально организованных рабочих и служащих, их материального благосостояния, их культурного положения и их роли в общественной жизни страны. Но, разумеется, не только этими интересами, как бы серьезны и значительны они ни были, должны быть побуждаемы профсоюзы к работе над пятилеткой. — Перспективный народно-хозяйственный план страны есть план социалистической организации труда, план укрепления достигнутых позиций и завоевания новых подступов к построе-

нию развернутого социалистического общества. И нет сомнения, те организации, которые, по определению т. Ленина, являются школой коммунизма, не могут не разбудить в широчайших рядах своих членов глубочайшего интереса к проблемам, задачам и нуждам ближайшего пятилетия.

Выше было показано, какие задачи стоят перед пятилеткой в области развития и организации крестьянского хозяйства. Нужно, чтобы общественные организации самого крестьянства и те организации, которые близко и непосредственно соприкасаются с крестьянской жизнью, принесли бы весь свой опыт, все свои знания деревенской действительности, чтобы помочь наметить пути с.-х. прогресса и пути коллективизации крестьянства с полным учетом всех сил и возможностей, которыми мы в этом отношении располагаем.

Пятилетний народно-хозяйственный план намечает серьезный сдвиг в перераспределении производительных сил между экономическими районами и национальными республиками страны. Он впишет новые страницы в экономическую географию страны, при самодержавии изуродованную насильственной политикой бюрократического централизма. Этот план должен закрепить тот братский союз народов, который возник в Октябрьской революции и который обеспечивает нам симпатии среди всего угнетенного человечества. Надо, чтобы республики и районы мобилизовали у себя все интеллектуальные силы, способные посвятить себя сложнейшей и труднейшей задаче нового районирования хозяйственной жизни на путях социалистического строительства.

Научно-исследовательские организации страны, ученые общества и объединения, широкие кадры экономистов и техников, теоретики и практики нашего хозяйственного строительства должны со всей инициативой и со всей энергией приложить свои силы к решению этой задачи. Заслуживает величайшего поощрения та инициатива крупнейших химиков нашей страны, которую они проявили в последнее время постановкой проблем химии в перспективах нашего хозяйственного строительства. Этот почин должен быть поддержан, он должен найти своих последователей и продолжателей. — Нужно воспитывать в нашей стране сознание того, что за успехи и недочеты нашего хозяйственного (как и всякого другого) строительства отвечают все, кто имеет знание и опыт в той или другой отрасли экономики или техники. Стоящих в стороне, критикующих со стороны, бесстрастно наблюдающих не должно быть в этом великом деле.

Широкий кадр культурных работников страны, носители просвещения, деятели третьего фронта получают теперь реальную возможность сказать свое слово по вопросу о задачах культурной революции, которая должна найти свое полное отражение в пятилетнем плане.

Пятилетний план народного хозяйства не может быть делом одного изолированного учреждения или ряда учреждений. Он может и должен быть высшим обобщением экономической и технической мысли страны, высшим обобщением строительного опыта огромного трудового коллектива — СССР.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. ЕВГЕНИЙ ЛАНН. Современная русская литература в освещении англо-американских критиков.— 2. Ф. РОГИНСКАЯ. Художественная жизнь Москвы.— 3. П. МАРКОВ. Очерки театральной жизни.— 4. Н. ВОЛКОВ. „Унтиловск“ в МХАТ'е.— 5. ВЛ. БРАУДЕ. СССР и Япония.— 6. П. АЛГАСОВ и С. ПАКЕНТРЕЙ-ГЕР. Брянские „разбойники“.

1. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОСВЕЩЕНИИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ КРИТИКОВ

Евгений Ланн

1

За истекшие два года в журналах Англии и Америки появилось несколько статей, посвященных нашей современной литературе. Думается, что статьи эти могут привлечь внимание читателя, но при этом следует помнить: интерес, проявляемый к русской литературе англо-саксонскими странами, всегда был не очень значительный. Ни в какой мере он не сравним с осведомленностью о нашей современной литературе во Франции, не говоря уже о Германии.

За прошедшие два года *Rossica* Германии и подарила огромное количество статей, переводов советских писателей и отдельных исследований. Так, например, один из выпусков серии «Еуропа», изд. «Orplid», названный «Das asiatische Gesicht Russlands in der jungen russischen Dichtung», включает переводы Бабеля, Пильняка, Замятина, Маяковского, Пастернака, Всев. Иванова и др. Переводам этим предпосылается большой очерк Райнгольда Вальтера о Молодой России. Мартовский номер «Die Liter. Welt» (от

11/III—27 г.) целиком посвящен советской литературе. На смерть Сологуба Германия тотчас же откликнулась переводом «Слаще яда» и «Мелкого беса». В октябрьском номере «Die Literatur» в 1926 г. помещена статья В. Турка «Der Revolutionäre Epos», а в ноябрьском — статья А. Лютера «Bücher aus und über Russland». В сентябрьском номере за 1927 г. «Querschnitt» статья Осяковского «Belletristik im heutigen Russland»; в «Die Weltbühne», XXIII. 8 за тот же год очерк И. Вробеля о Ларисе Рейснер и в «Neue Freie Presse» от 19/V статья Стефана Цвейга о «Деле Артамоновых» и т. д. За это время, между прочим, переведены были книги Бабеля «Одесские рассказы», Л. Рейснер «Октябрь», Гладкова «Цемент», Либединского «Неделя», Зощенко «Веселые приключения», А. Толстого «Ибикус», Федина «Города и годы», Огнева «Дневник Кости Рябцева», Вересаева «В тупике», Эренбурга «Любовь Жанны Ней», М. Шагинян «Приключения дамы из общества» и др. Общеизвестно, наконец, отношение современной Германии к Достоев-

скому: академическое по тщательности выходит у Piper'a полное собрание сочинений в 23 тома; только за эти два года переизданы книги о Достоевском Мейер-Грефе и Э. Люка и появились монографии Прагеля, Негцеля и Кауса, не считая журнальных статей. Упомянем и о книге неизвестного автора, скрывшегося под псевдонимом Sir Galahad. Книга эта — «Idiotenführer durch die russische Literatur» — недостойный пасквиль на всю русскую литературу, и, конечно, появление ее симптоматично: реакция некоторых литературных групп Германии на «увлечение» Россией.

Во Франции Rossica за то же время не так богата, но все же, например, с октября 1926 г. в издательстве «Nouvelle Revue Française» начала выходить серия «Les jeunes Russes» — книги современных наших писателей, а декабрьский номер 1926 г. журнала «Évolution», под редакцией Виктора Маргерита, весь посвящен СССР. Вышли переводы Федина «Трансвааль», Всев. Иванова «Бронепоезд», Сейфуллиной «Виринея», Либединского «Неделя», Семенова «Голод», Шкловского «Сентиментальное путешествие». Появились статьи Виктора Сержа «La littérature épique de la révolution russe», — в «Clarté» за янв. 1926 г. и о Федине в «Humanité» от 6 апр. 1926 г. О Федине писал и Базальжет в «Humanité» 11 янв. 1927 г., в журналах появлялись переводы рассказов Сейфуллиной, Вольнова, Зозули, не считая, конечно, Горького. С дореволюционной литературой французский читатель ознакомился по статьям Дюкло о Чехове, Рапэна о «Мертвых душах», Познера об Анненском, «Деле Артамоновых» и Сологубе, Левинсона о Достоевском, а журнал «Le semeur» декабрьский номер 1926 г. посвятил Толстому.

Что же касается стран англо-саксонских, за последние два года можно наблюдать некоторое оживление интереса к русской литературе. Показателем этого оживления следует считать издание в Англии двух книг Святополк-Мирского (одной — истории русской литературы с древних времен до шестидесятых годов прошлого века и другой — истории современной русской

литературы) и появление в американских и английских журналах ряда статей о современной нашей литературе. Для нас, конечно, не представляют интереса статьи того же Святополк-Мирского¹⁾, Марии Будберг²⁾ и Зинаиды Венгеровой³⁾ о Фурманове. Положительные критические отзывы о книгах Мирского, отмечающие своевременность их появления и предоставление страниц названных журналов для обзорных статей зарубежных критиков, — явление показательное. Современная наша литература привлекает внимание английских и американских читателей. Правда, они ее почти совсем не знают (за исключением Горького с его мировым именем), тогда как последние книги Бунина и Мережковского уже переведены, но, повидимому, руководители журналов считают необходимым ориентировать своих читателей в «экзотической» литературе Советской России. На ряду с упомянутыми русскими критиками, гастролирующими в английских журналах, современной нашей литературе посвящают свои статьи R. M. Fox, V. F. Calverton, E. Tobenkin и John Cournos.

2

Большая статья R. M. Fox'a⁴⁾ посвящена творчеству Горького. Она крайне интересна для нас не только потому, что Фокс попытался вскрыть ценность Горького для английского читателя. Озаглавив свою статью «Максим Горький и английская точка зрения», автор раздвинул рамки задания и — на творчестве лучшего русского писателя современья — столкнул две точки зрения на задачи литературы: английскую и русскую. Противопоставлял он английской литературе не советских писателей, а литературу русскую, не останавливаясь на анализе писательского мироощущения Советской России. Цели этой он себе не ставил, выразителем основных посылок русской литературы взял Горького и, преломив его образ под своим пером англичанина, прочертил любо-

¹⁾ London Mercury. July, 1927.

²⁾ Dial. Febr. 1927. London.

³⁾ The Soviet Union Monthly. Jan. 1927. London.

⁴⁾ Fortnightly Review. Octob. 1926. London.

пытную схему двух точек зрения писателя. Таким образом он наметил решение двух проблем: в чем основное отличие английской литературы от русской и как воспринимает Англия творчество Горького, характернейшего русского писателя.

Фокс побывал в Советской России, — он упоминает об этом мимоходом, и столь же мимоходом бросает скудные автобиографические данные. Горьковское описание унылого и подневольного фабричного труда он проверил на долгодетнем опыте. Фабрику он знает по теоретически — и он, полусонный, входил с колоннами рабочих в фабричные ворота, и он мечтал, чтобы вместо утреннего гудка звучал вечерний.

Фокс считает вполне правильной характеристику, данную Эдуардом Гарнеттом¹⁾ англо-саксонскому читателю: «Уроженец стран, говорящих по-английски, высоко ценит тех писателей, произведения которых рисуют ему победу морального закона над неправдой жизни и безразличием природы...» И дальше: «Английское сознание считает безнравственным, если положительному типу не принадлежит последнее слово в «битве жизни». Фокс развивает это положение. Англичане не любят того писателя, который позволяет злу восторжествовать над добродетелью. В англичанах силен дух приспособляемости, вследствие чего они предпочитают не видеть изнанки жизни и вполне удовлетворяются лицевой стороной медали. В жизни надлежит брать лучшее, что она дать может, и в каждом англо-саксе вырастает враждебная реакция против тех писателей,

¹⁾ Не смешивать с Дэвидом Гарнеттом, автором романов «Женщина-Лисица» и «Человек в Зоологическом саду», известных нашему читателю. Эдуард Гарнетт — интереснейший и тонкий исследователь и критик, автор книг «Воображаемый мир», «Панская война» и др. Следует отметить, что именно благодаря Гарнетту, бывшему в 1894 году консультантом издательства «Fisher Unwin», была издана дебютная книга Конрада «Allmayer's Folly». Именно он заставил Конрада взяться за вторую его книгу «An Outcast of the islands» и сыграл такую исключительную роль в литературной карьере Конрада.

которые пишут только о страданиях и о нищете. И Фокс остроумно замечает: «Мы знакомы больше с типами недобросовестных богатей, чем с портретами циников-бедняков. Можно быть уверенным, что наш бедняк будет стоять на страже условностей».

В этой характеристике постановки вопроса о «бедняках» и английском оптимизме на помощь Фоксу приходит Честертон: «На Западе бедняк, выдвинувшийся в литературе, — всегда сентиментален и почти всегда — оптимист». Писатель, останавливающий свое внимание на типах отрицательных и пытающийся вскрыть до конца животную сторону человека, — явление в англо-саксонских странах невероятное. Читатель разрешит ему наметить этот анализ, но после первой сцены, рисующей человеческую «низость», немедленно потребует компенсации за пережитые неприятные минуты: жертва должна быть вознаграждена, а негодяй — наказан.

«И любимые им авторы, — меланхолично замечает Фокс, — спешат обещать ему внутренний покой и довольство».

Где же популярен этот сентиментально-оптимистический взгляд на человека — дешевой идеализм? по словам Гарнетта?

В стране, социальная организация которой приводит к тому, что каждому рабочему предоставлен выбор: либо искалечить (cripple) себя, либо оказаться выброшенным за борт жизни. И Фокс, не нажимая педалей, вычерчивает существующую в Англии систему «научной организации промышленности и жизни», — систему, апостолом коей является Сидней Вебб. Книги последнего с их апологетикой всемерного развития промышленности, но без кардинального изменения условий, в которых работает на фабрике рабочий, — эти книги отражают, по словам Фокса, весьма популярную в Англии точку зрения. Современная фабрика с максимальным разделением труда мнится идеальным средством для удовлетворения «нужды общества» в продуктах производства. «Мыслители, подобные Сиднею Веббу», акцентируя на катего-

рии общественного интереса, подводят социально-политическую базу под такую организацию производства, которая ныне именуется фордизмом. Но при этом они забывают о человеке — о том рабочем, который, при современных условиях труда в Англии, неуклонно машинизируется, теряя постепенно, один за другим, переданные по наследству импульсы и инстинкты. Фокс свою оценку популярной в Англии веббовской теории зашифровывает в таких выражениях: «Условия не должны быть столь суровы (too rigid) (для безболезненного приспособления человеческого организма к новым методам работы. (Е. Л.), чтобы препятствовать проявлению врожденных склонностей человека. Но никто не может утверждать, что это теперь наблюдается — теперь, когда влиятельные знатоки (experts) хвастаются, будто они исключили индивидуальный фактор из производственной работы и выработали ряд движений, которые каждый индивид должен совершить в определенное время с регулярностью машины».

Последствия этой организации производства, протекающего в слишком суровых условиях, уже сказались в Англии. Инстинкты людей, сформировавшиеся в обстановке, отличной от современной, и переданные законом наследственности нашему поколению, — не имеют выхода. При подавлении их создаются реакции, вредные для индивида и общества; некоторые из склонностей отмирают, напр., любопытство, — другие перерождаются в устремления антисоциальные. Пьянство, зверство и тупость, сказывающаяся в привычке к рутинобразной жизни, — плоды веббовской, популярной в Англии теории, а Фоксу, знакомому с веббовской практикой «изнутри (inside) фабрики», не раз и не два приходилось убеждаться в эффективности английской организации производства. Особенно показательным является такой штрих: многие английские рабочие не знают, как убить досуг, и те из них, которые не проявляют склонности к бару, возвращаются в праздничные дни к фабричным воротам и заполняют свой досуг работой. Искалеченные ан-

глийским фордизмом, они бессильны противоборствовать рутине.

Композиционно мы перестроили статью Фокса так, чтобы яснее оттенить контуры поставленной автором проблемы. На фоне читательских вкусов Англии и традиционных английских взглядов веббовской школы сопоставление русской литературы, представителем которой Горьким, и литературы английской, — это сопоставление заостряется в антитезу.

Антитезу строит тот же Эдуард Гарнетт. Следует помнить, что Гарнетт — один из лучших в Англии знатоков русской литературы, автор монографии о Тургеневе, вышедшей в 1917 г., а потому его формула приобретает особый интерес. «Страна, говорящая по-русски, совершенно безразлична к дешевому идеализму и находит удовлетворение в том анализе человеческих мотивов, дурных или хороших, который утверждает бессилие так называемого морального закона диктовать природе и ею управлять... Русскому сознанию кажется безнравственным скрывать отвратительные явления в этом мире, управляемом неправдой».

Так запечатлелись основные линии русской литературы в сознании глубокого и интересного литературного исследователя. С этим выводом, с направлением гарнеттовского водораздела меж двумя литературами — согласен и Фокс: «Если судить по произведениям Горького и др. писателей, русские, действительно, имеют дело больше с анализом, чем с теорией, и готовы отбросить любую теорию, стоящую им на пути». А дальше он дает характеристику русским писателям: «Они любят разобрать на части машину, чтобы посмотреть, как она работает. Иногда это напоминает разрывание бабочки на части — операция весьма жестокая. И они так поглощены работой в своем пристрастии совать пальцы в тонкий механизм, что не обращают внимания на условности». Как характерно для англичан это упоминание о бабочке! Но Фокс достаточно чуток,

чтобы не увидеть за «жестокостью» Горького «подлинную жалость». Именно она — эта жалость, по его мнению, не позволяет Горькому смягчать рассказ. «Такова жизнь! Что делать!» — мог бы, думается автору, сказать Горький, оттенив своей фразой контраст между методами русским и английским, намеченными выше. Англичанину горьковские картины человеческого падения и анализ человеческой низости — непривычны. Он отвращается от них, не находя удовлетворяющих его концовок с наказанным пороком. И совершенно английский читатель не понимает той идеологии смирения, которую несет в жизнь горьковская женщина (бабушка в «Детстве»). Горький не может этого смирения вынести, а англичанин и не поднимается на высоту протеста — но просто не поймет.

Наметив горьковскую биографию, Фокс подходит к типу бродяги, имеющему для Горького «особую привлекательность». Характеристика этого *vagabond'a*, данная для английского читателя, не представляет для нас особого интереса, ибо ничего оригинального в ней нет. Но крайне интересно развертывание «темы» горьковского бродяги, сплетаемой самим Горьким с мечтой о свободе. «Основной мотив творчества Горького — любовь к свободе и красоте; наша страна с ее индустриальной цивилизацией относится к этим двум понятиям с пренебрежением. Мы слишком привыкли к рутине, чтобы поставить себя на место русских, которым надоедает работать определенные часы, приходиться на работу и уходить в определенное время — надоедает настолько, что они не могут этого вынести». Мы не будем комментировать этого места — нужно помнить, что Фокс поставил знак равенства между «русскими» и «бродягами Горького» только для того, чтобы как-нибудь разъяснить английскому читателю природу *vagabond'a*. А читатель английский, по мнению Фокса, сочтет анархические взгляды Сережи в «Мальве» и Гришки в «Челкаше» слишком наивными (*naive*), почему ни в одной книге англичанина не найдешь излюбленного горьковского типа. «В Англии, приученной к разме-

ренной жизни, в которую мы втянулись, крик Горького о свободе кажется нам утопическим». «Нам» — следует понимать, как «читателям «Fortnightly Review», ибо дальше Фокс выдвигает положение, которое надлежит считать идейным стержнем его большой статьи. Он говорит: «Страстный крик Горького о свободе, быть может, значит для английского рабочего значительно больше, чем все книги, написанные Сиднеем Веббом...».

Веббовскую точку зрения, как мы упоминали, Фокс считает для Англии характерной. Но до Горького англичане не понимали человеческой разновидности, именуемой «бродягой». Горький показал, что такая порода существует; он показал, что в каждом бродяге — тоска по свободе, и каждый бродяга «не умеет найти место в организованной социальной жизни»; он показал, что в человеке не должен замереть крик протеста против огупляющей рутины каждого сегодняшнего дня. Горький раскрывает для англичан уродливое однообразие и гибельную рутину «тупого, машинизированного, обрекающего рабочего на преждевременную старость; он заставляет задумываться над ценностью «размеренной жизни», если последняя приводит к бару или все к тем же фабричным воротам в праздник. Конечно, есть бродяги и в Лондоне, они только «менее темпераментны, чем русские». Фокс знает таких бродяг, их анархические взгляды и вечная тяга к странствованию тоже могут показаться наивными типичному англичанину, но тем не менее такие горьковские люди существуют, и «многие, запутавшиеся в паутину западной жизни, на один момент не без сожаления задумаются над его (Горького. Е.А.) мечтой о свободе».

Ценность Горького для «сверх-софистического» Запада заключается в том, что «великий реалист» искушает попавших в паутину и зараженных Веббом людей. Он обнажает в человеке «простые человеческие чувства, — более простые, чем те, какие знакомы нам в наших городах с мощеными улицами и автобусами».

И Фокс вспоминает о русских, которых ему приходилось видеть: «Как бы

ни был навеселе, грязен и оборван русский, он говорит о своих чувствах, о душе, природе и вечности. Как они говорят и как умеют слушать!» Поверим автору, что ему, действительно, пришлось встретиться в поезде из Москвы с одним таким пассажиром, который заговорился до того, что чуть не проехал своей станции. Такой взгляд на «русских» весьма традиционен в Англии, даже Б. Шоу его разделяет, — и, дабы подчеркнуть различие в национальных темпераментах, заставляет в «Heart-break House» своих героев-англичан говорить в чеховском стиле. Фокс, таким образом, ничего нового и оригинального в представлении англичан о «русской душе» не вносит. Едва ли, конечно, требуется в этих строках упомянуть, что Горький не встает у английского критика во весь свой рост, несмотря на приэт Фокса к «великому реалисту». Заслуга автора не в этом. Обстоятельная его статья интересна для нас, ибо схематически рисует сложившийся в Англии «воображаемый портрет» русской литературы и правильно, по нашему мнению, намечает основные черты столбовой английской литературы. А для англичан она не лишена значительности, благодаря тому, что Фокс, сталкивая Горького с идеологами современной, английской организации труда, — подводит к заключению, которое не может показаться неожиданным: «Мы в нашей стране так механизированы, что Горький — ценный корректив к нашей точке зрения». Заключение это мотивировано более чем убедительно.

3

Редактор «Modern Quaterly», американский критик V. F. Calverton, ближайший сотрудник «New Masses», дал очерк современной нашей литературы. Очерк называется «Революция в русской литературе»¹⁾.

Кэльвертон рассекает новую историю русской литературы на два периода: Октябрь—рубеж, и выросшая после Октября новая русская литература —

«только один из эффектов большевистской революции». Русская литература переродилась, общий ее характер столь отличен от духа до-октябрьской литературы, что смело можно говорить о полном отходе от традиций, передаваемых из поколения в поколение писателями дореволюционной России. «Мир Толстого, Достоевского, Гончарова, Андреева мертв для новых писателей-бунтовщиков современной России». До Октября русская литература развивалась под знаком Достоевского, утверждающего приоритет индивида, а выразителем современных писательских настроений можно считать Маяковского, провозглашающего приоритет масс. Если «старая» школа была анархо-индивидуалистична, — школа «новая» базирует свое миросозерцание на совершенно ином принципе. Принцип этот — «социальное видение». Революционному русскому писателю жизненный покой (the quietude of life) лесковских «Соборян» или бунинской «Деревни» чужд и враждебен. Самоуглубленность приводит к активности. Но эта активность нимало не походит, скажем, на активность героев Достоевского. «Братья Карамазовы стали братьями Большевиками».

И Кэльвертон намечает для американского читателя основные черты революционной русской литературы. Прежде всего, она опалает своим энтузиазмом и дает жизнь новым импульсам, «ведет к новой жизни». Тембр ее — безграничный оптимизм, преодолевающий болезненность, завещанную прошлым. А ее фон — ferocity of conflict, — «свирепость конфликта», т.-е. обнаженные и воспевание борьбы за лучшее будущее, почему и характерны для новой России такие книги, как «Неделя» Либединского, «Хабу» и «Партизаны» Всева Иванова. «Новым русским духом» повеяло в произведениях того же Иванова, Пильняка, Сейфуллиной, Маяковского, и та «стационарность» бытия, которой отмечена была жизнь до революции, — анахронизм: прошлая жизнь вырвана с корнем, и это чувствуется в новой литературе — очень бодрой, очень темпераментной и заражающей молодым энтузиазмом.

¹⁾ The Modern Quaterly. June — September, 1927. New-York.

Противопоставляя далее крестьян чеховских ивановским крестьянам, Кэльвертон дает цитату из «Партизан» (разговор Беспалого с Селезневым), характерную, по его мнению, для постижения нового русского «духа».

С новым писательским мироощущением, с изменением тематики связана и радикальная ломка стиля. Медленное развертывание сюжета, любовь к детализации, композиционные заветы Толстого и Достоевского — в прошлом и безвозвратно. Новая литература принесла и новые стилистические приемы. Основной композиционный принцип — максимальная динамика в развитии фабулы, язык, обрывистый (*staccato*), живой и сильный (*расу*), а словарь писателя обогатился большим количеством новых слов.

Задача Кэльвертона — осветить перелом, происшедший в русской литературе после Октября. Несколько иной целью задается другой американский критик *Elias Tobenkin*, пытающийся в общих чертах ориентировать читателя в современной нашей литературе. В связи с этим его статья «Новая русская литература»¹⁾ изобилует именами писателей, которые, по его мнению, должны остаться в памяти американца.

Писатели новой России разбиваются на две группы — писателей пролетарских и попутчиков. Вождем пролетарских писателей является Демьян Бедный — «первый поэт революции». Тобенкин перечисляет «виднейших» пролетарских писателей. Таковыми он считает: Безыменского, Неверова, Либединского, Тарахова-Родионова, Веселого, Герасимова, Кириллова, Новикова-Прибоя, Александровского, Лелевича, Бердникова и Арского. Затем он останавливается на трех поэтах послереволюционного периода — на Д. Бедном, Маяковском и Есенине. Эти три поэта выделяются — *stand out* — в послереволюционной поэзии. Д. Бедный — самый популярный из всех современных русских писателей. Он — создатель нового поэтического языка, упрощенного и доступного массам: крестьяне и солдаты в своих казармах не только читают его

стихи, но и выучивают наизусть. Заслуга Маяковского заключается в другом: он «дал право поэтического гражданства языку улицы», он создал новую форму стиха и разбил поэтические «стандарты». О значении Маяковского, по мнению автора, критики продолжают и по сей час спорить. Во всяком случае он, в течение долгих лет, являлся вдохновителем своеобразного *Sturm und Drang*'а в русской поэзии, освежая привычные в поэзии образы и широко раздвигая в стихе границы художественной изобразительности. Американцам он может напомнить Уитмена, несмотря на то, что очень отличается от камденского «пророка». Третий крупный поэт — Есенин — крайне характерен для крестьянской России. В стихах его звучат смиренные молитвы русских и пастушеские их песни. Он отмечен чисто-славянскими чертами — фатализмом и склонностью к печали. Хотя Есенина и можно считать выражением исконно-русского духа, сущность коего заключается в смирении, но постоянство не является одной из добродетелей поэта. Так, например, наряду с проявлением характерного для русских крестьян смирения, Есенин в своих стихах нередко хвастается своими скандальными выходками и близким знакомством с кабаками. Словом, беспорядочная жизнь поэта на время «помрачила» его талант, помрачила до такой степени, что в одном из стихотворений он клеветает на своих бедных, но благородных (*poor but honest*) родителей, утверждая, будто в его жилах течет кровь конокрада.

Переходя к современному роману в России, Тобенкин отмечает, что в настоящее время половой вопрос и проблема морального развала (*moral anarchy*) не стоят в центре писательского внимания. Поэтому, например, Пильняк, Сейфуллина и М. Шагинян, якобы приобретшие популярность умелым разрешением сих вопросов, находятся несколько в тени. Из русских беллетристов он бегло останавливается на Леонове, Гладкове, Бабеле и Вс. Иванове. Первый — Леонов — создал такой «эпический роман», как «Барсуки», не уступающий по художественным своим достоинствам лучшим романам дорево-

¹⁾ Bookman, January, 1928. New-York.

люционной эпохи. В нем — в этом романе — Леонов показал себя не только мастером, но и человеком смелым, ибо решился написать о восстании крестьян против советской власти, имевшем место в первые годы после революции. Леонов талантливо обнажил душу русского крестьянина, а Gladkov взял на себя задачу показать психологию современного рабочего. Его роман «Цемент» интересен своим психологическим анализом; ему удается нарисовать процесс «индивидуального приятия» (readjustment) революции теми из русских, которые принимают участие в промышленном развитии страны. Свое внимание Gladkov, — художник «менее дисциплинированный», чем Леонов, — уделяет проблеме индивидуальной психологии — сомнениям и страданиям отдельного человека; «пафос масс» вне поля его зрения, и этим своим качеством он переключается с Всеv. Ивановым, посвятившим роман «Хабу» изображению полу-бродячих сибирских племен и их отношению к советской власти. К этой же группе романов относятся и «Города и Годы» Федина, а «самой спорной книгой новой реалистической прозы» автор считает «Конармию» Бабеля.

Наконец, третья статья, посвященная обзору новой русской литературы, подписана инициалами J. C. Под этими инициалами скрывается виднейший англо-американский романист и критик John C. Siggins, автор интереснейших и неизвестных у нас романов — «Маска», «Стена», «Миранда Мастерс», «Вавилон» и др. На всех его книгах неизгладимо влияние Достоевского, — в английской литературе он стоит особняком. Русским языком он хорошо владеет — во время войны он переводил Сологуба. К сожалению, в нашем распоряжении нет статей Джона Коурнса об отдельных книгах современных наших писателей. Об этих статьях он сообщает нам в письмах, а в одном из последних обещает их выслать, почему и приходится упомянуть только об одной его обзорной статье¹⁾, посвященной первым шести номерам журнала «Новый Мир» за 1927 год.

Коурнс начинает свой обзор журнала утверждением, что советская периодика свидетельствует о здоровом художественном росте и представляет значительно больший интерес, чем периодика русских эмигрантов: «Я располагаю значительным материалом, и имею все основания утверждать, что литературная Россия бурлит от избытка сил», — пишет он далее и, переходя к обзору, высказывает сожаление, что в рецензируемых номерах нет Бабеля — «самого крупного советского писателя». Отсутствие Бабеля, правда, компенсируется большой статьей опытного (able) критика В. Полонского — «Белинского в новом одеянии» — о творчестве автора «Конармии». Новые крупные имена едва ли, по мнению автора, известны английским читателям, но все эти имена можно найти на страницах журнала. Читатель найдет Пастернака — «подлинно одаренного поэта», рассказы Пильняка, новые романы и повести Gladkova и Вл. Лидина. Из имен знакомых английский читатель встретит Алексея Толстого, Вересаева и прекрасного (superb) художника Сергеева-Ценского, рассказ которого «Живая вода» следует перевести на английский. «Весь материал журнала крайне интересен», — подытоживает Коурнс, выделяя, помимо указанных выше писателей, А. Луначарского с его «интересной» статьей о постановке Мейерхольдом «Ревизора» и статью В. Полонского об Артеме Веселом — «одном из лучших советских беллетристов».

Едва ли нужно упоминать, что не все обобщения англо-американских критиков, посвятивших нашей литературе статьи, правильны. Обзорный характер статей часто влечет за собой схематичность обобщений, многие интересные имена в силу тех или других причин совсем не упоминаются, перспектива в художественной оценке нередко извращена. Но для читателей Англии и Америки, почти ничего о «литературе Советов» не знающих, эти статьи, пытающиеся объективно и в общих чертах дать представление о сегодняшнем дне советской литературы, весьма полезны. А нам знать небезынтересно, что о нас пишут за рубежом.

¹⁾ Monthly Criterion. January. 1928. London.

2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Ф. Рогинская

Текущий выставочный сезон складывается своеобразно. После юбилейной Совнаркомовской выставки, впервые объединившей все действенное изобразительное искусство наших дней, 10-я выставка АХРР (к десятилетию Красной армии) строится по непривычному еще для нас принципу сотрудничества с представителями других художественных направлений. Взамен процессов распыления, характерных для прошлогоднего сезона, мы встречаемся с тенденциями к укрупнению. Вновь организованное Общество Московских Художников, например, объединило обе ветви «Бубнового Валета», распределявшиеся раньше между АХРР'ом и «Бытием», и включило в полный состав молодую группу «Крыло», вышедшую в прошлом сезоне из «Бытия». Почти одновременно с ОМХ была открыта и выставка «Бытия». Таким образом, уже первые выставки сезона дают возможность поставить два серьезных вопроса — о судьбах АХРР'а и так называемого русского сезаннизма.

10-я выставка АХРР

Как известно, после 8-й выставки «Быт народов СССР», весной 1926 г. АХРР вступила в полосу длительного кризиса. Ко времени 8-й выставки АХРР представляла из себя неизменно разросшийся и сложный конгломерат. В нее включилась почти в полном составе группа «Бубнового Валета», осколки «Союза» и целый ряд других художников. Не могло быть и речи не только о формальном единстве — принцип формального единства никогда не стоял в АХРР'е во главе угла, — но и о какой-либо более или менее конкретной общей идеологической установке в отношении задач искусства, его методов и т. д. Эта рыхлая организация естественно разрывалась внутренними противоречиями. В результате — процесс распада, отпадение «Бубнового Валета», потеря ряда филиалов и т. д. Был период, когда казалось, что роль АХРР'а уже закончена, что его ценность относится уже к истории, как те-

чения, впервые начертанного на свих знаменах лозунги сюжета и картины. 9-я выставка картин весной 1927 г. оставляла вопрос о судьбе АХРР'а открытым. Она не имела никакой определенной физиономии, представляла случайные работы и, казалось, сделана была разве лишь в силу традиции, диктующей ежегодные выступления. К нынешней, 10-й выставке, АХРР готовилась с большим напряжением, отлично понимая, что выставка в значительной степени должна решить судьбу АХРР'а как объединения. Выставка построена по обычному тематическому принципу АХРР'овских выставок — десятилетие Красной армии. На гранях этой богатой возможностями темы можно было действительно четко поставить вопрос о жизнеспособности АХРР'а.

В первые годы представление об АХРР'е не ассоциировалось с каким-нибудь конкретным художественным материалом. АХРР являлась носителем и борцом новой идеологии в живописи, противопоставленной не только Лёфу в лице конструктивизма, но и всему изобразительному искусству того времени. Борьба шла не столько за героический монументальный реализм, провозглашенный декларацией АХРР'а, сколько за переоценку всей роли живописи. Борьба за картину, за шаг в ногу с современностью, вплоть до организации тематических выставок «на заказ» тому или иному общественно важному событию и т. п. моменты, которые вызвали особенно яростные нападки на АХРР и которые сейчас превратились в общие места, признанные всеми художественными группами.

Что касается фактического художественного содержания АХРР'а, оно определилось, как течение и иллюстративно по существу. Эти черты сохранились у ряда ахрровцев и сейчас. Их можно проследить, например, в больших полотнах Горелова, Чепцова, Дроздова, Савицкого, Иогансона. Все они, как и прежние аналогичные работы,

развертывают ряд эпизодов, недостаточно органически связанных друг с другом, дают ряд скрещивающихся и разбивающихся сюжетных линий. Тем не менее, в них можно заметить и новое, а именно: в заполняющих их массах (красноармейцах, солдатах-фронтовиках, махновцах и т. д.) ясно выражено стремление авторов раскрыть ряд психологических или социально-мотивированных типовых фигур и сцен. Нельзя сказать, чтобы это стремление удавалось; однако фигура громилы в «Махновщине» Чепцова, эпизод с матросом в «Демобилизации» Савицкого, несмотря на всю фельетонность трактовок, говорят о первых шагах в этом направлении.

Идиллический характер, присущий иллюстративным работам АХРР'а, можно проследить и на ряде работ настоящей выставки, напр., в «Воздухофлоте» Б. Яковлева, в фальшивой приторности терпсихоровских «Красноармейцев на маневрах» и в других. Наконец, надуманность и риторичность, сопутствовавшие сплошь и рядом героическим полотнам АХРР'а, можно встретить и сейчас в совершенно нестерпимой по дутому пафосу «Гибели Чапаева» Пшеничникова, отчасти и в «Ждут корниловцев» Никонова.

Однако все эти тенденции уже не играют доминирующей роли. Сейчас можно говорить о наличии в АХРР'е, двух основных групп. Первая из них — давно определившаяся группа натуралистического толка, которая доводит, как уже приходилось отметить относительно юбилейной выставки Совнаркома, свои приемы до такой высокой степени иллюзорной полноты, которая вырастает за пределы натурализма. Здесь надо особенно остановиться на работе Карпова «Басмачи». Фигуры в ней как бы вылиты из какого-то особенно тяжелого металла. Каждая тростинка в камышевых зарослях весома и ощутима, как тугая металлическая нить. Картина приобретает ту степень объемности и пространственности, которая граничит со стереоскопическими изображениями. Здесь впервые Карпов достигает своеобразного колорита, не-

похожего на его обычный, вызывавший ассоциацию с «раскраской».

Рянгина дает мало значительную по теме зарисовку «Красноармейская студия», выполненную, однако, с обычным для нее мастерством. К этой группе принадлежит и Б. Яковлев (хоть он и не член АХРР'а). Со своими «Красными командирами», удивительными по рембрандтовской теплоте освещения, он является ярким представителем этого «избыточного», «пламенеющего» реализма.

Наконец, к ним — уже менее целостно — относится и Кацман. Его манера работать — эта чрезмерная резиновая упругость щек, выпуклостей и т. д. — остается почти неизменной из года в год. Но если портреты видных деятелей почти всегда при полном сходстве безличны и холодно-официальны, его карандаш приобретает и выразительность и даже внутреннюю теплоту, когда он берется за фигуры безымянные или мало известные. Тогда будто оковы спадают с художника и он — без робости, правда — пытается воспользоваться творческой свободой. Это можно было отметить еще на 8-й выставке («Председатель комитета незамужников») и на Совнаркомовской (отдельные фигуры «Ходоков у Калинина») и, наконец, из всей серии нынешних работ один портрет «Летчика» запоминается, как подлинно живой образ.

Вторая группа художников определилась за 2 года, протекшие со времени 8-й выставки АХРР'а. Из них прежде всего надо остановиться на Соколове-Скаля. Это художник с ярко выраженным романтическим темпераментом. Резкие драматические противопоставления всегда были его сферой, но если раньше (например, «Цанковщина») они доходили до лубочности, то теперь его «Таманский переход» (по «Железному Потoku» Серафимовича) вырастает до высоты балладного звучания. Серьезные и торжественные, решительные фигуры борцов, несчастные матери, кормящие грудью детей, — все это на фоне осиянных нестерпимым зноем кавказского солнца гор в феерических контрастах свето-тени, в обра-

млени интенсивно изумрудного моря. Картина сильная, мощная, но приподнятая над уровнем психологизма до патетических вершин. В более сдержанных формах, без этого избытка ослепительных эффектов, скупое, внутри дается пафос картины Берингова «Ледяной поход». По существу это пейзаж. Море в ледяных глыбах, синих, суровых, нагроможденных друг на друга. И сквозь этот ледяной массив, тоже массивные, громоздкие и неуклонные, движутся напролом тяжелые корпуса броненосцев. В картине нет ни одного человека, вся она выдержана в небогатой сине-голубой гамме, и тем не менее производит очень сильное впечатление. Сюда примыкает и Чашников в его «Партизанах». Картина задумана просто. Ряд больших, медленно идущих фигур. За ними — заснеженные деревни. Сила ее, во-первых, в этом сильном — фрескового порядка — композиционном моменте, а, во-вторых, в глубокой сосредоточенной выразительности лиц партизан. По тону и по чисто живописным эффектам картина строгая, выдержанная в притушенных, но не грязных тонах. Богородский всегда принадлежал к фигурам, вызывавшим и внимание и нареkanie со стороны художников и критиков. Он, бесспорно, одаренный художник и обладающий к тому же тягой к психологизму. Но в своих работах он никогда не реализует эту тягу до конца (разве, что это удалось ему в первых типах беспризорных). Так и здесь, в «Матросах в засаде» замысел интересный, но решение его совершенно не удовлетворяет. Матросы получились конфетные, розовые и пухлые. В их позах кое-что от кинематографических бандитов первой стадии развития кино. Другими словами, психологический замысел художника утонул в поверхностном его выражении. Представителем психологической тенденции является и Ряжский. Он выдвинулся благодаря своей «Делегатке», которую можно считать одним из лучших психологически углубленных социальных портретов последних лет. На юбилейную выставку Совнаркома он дал незрелую и невыпощенную ра-

боту «Физкультурница». На настоящей выставке его «Починка взорванного моста», несмотря на некоторую неприятность колорита, производит впечатление серьезной и интересной работы. Наконец, надо остановиться на Луппове, который имеет данные для причисления к этой группе. После «Столкновения с мастером» на седьмой выставке АХРР'а, картины, говорящей о несомненных данных художника, он перешел на совершенно несвойственные ему темы — «1-е Мая», «Комсомольские» и «Комсомольский праздник». Все они, стремясь дать бодрую и праздничную жизнь, впадали в самую неприятную слащавость и доходили чуть ли не до дешевой игривости. Этот путь был очень опасен для творческого развития художника. На этот раз Луппов взялся снова за коллизии драматического порядка, и опять, как и в «Столкновении с мастером», ему удалось дать хоть и незавершенную, но, несомненно, привлекающую внимание картину. «Коммунистический отряд» в осеннюю слякоть, хмурый, в окружении затаившихся врагов, и настороженный взгляд обывателя в стороне на тротуаре — таков стержень картины. Только частично к нему можно присоединить еще и Никонова. Это художник с несомненно риторическим оттенком, и все-таки эта риторика, эта нарочитость освещения, этот искусственный театральный пафос жестов и даже эти страшные, больше человеческого размера, лица задевают какую-то струну у зрителя («Готовятся к встрече корниловцев»). Совершенно противоположно ему творчество Карева. В сущности, этот художник должен был давать небольшие миниатюры. В его маленьких картинах всегда проступает что-то трогательное и искреннее. За большие работы ему, безусловно, браться не нужно. В них он теряет свою индивидуальность.

Поскольку тенденции предыдущих категорий были присущи АХРР'у и прежде, а тенденции этой последней группы в наиболее впечатляющей форме выразились именно сейчас, на 10-й выставке, ясно, что именно здесь лежат движущие силы АХРР'а. Со сто-

роны изобразительных средств они характеризуются уже не тягой к натуралистическим приемам, а стремлением использовать то живописное наследие, которым современная живопись обязана предшествовавшей формальной школе. В то же время они говорят о перерастании иллюстративного реализма в более глубокую его форму — психологический реализм.

И в этой новой фазе своего развития АХРР отклоняется от линии, намеченной в его декларации, от линии героического, монументального реализма. Теряет ли от этого новая фаза права на положительную оценку? Конечно, нет, не теряет. Правильной ставить вопрос иначе. Не является ли декларация АХРР'а устаревшей? Точно ли наша эпоха требует обязательно героического реализма? Не правильной ли считать, имея в виду тягу к психологическому реализму, раскрывающему на живом и конкретном материале те или иные социальные коллизии всего современного искусства (литература, театр, кино), что, следуя по тому же пути, АХРР проявил себя, как жизнеспособное течение?

Ко всякому поднимающемуся художественному течению неизбежно присылаются пиявки художественной пошлости. В АХРР'е, благодаря ее сюжетной, реалистической установке, они легче всего бросаются в глаза и скрывают подчас ее подлинное лицо. АХРР'у следует энергично стряхнуть их с себя. Кроме того, нельзя не подчеркнуть, что другие разделы искусства дают — и уже дали — в плане того же психологического реализма значительно более сильные решения. Этот факт диктует для АХРР'а необходимость самой углубленной работы.

Судьбы русского сезаннизма

(Выставки «Бытие» и ОМХ)

ОМХ, как уже упоминалось в начале статьи, включает в себя бывший «Бубновый Валет», старшую отрасль сезаннизма, и «Крыло», самую юную его ветвь. «Бытие» занимает между ними среднее положение. «Бубновый Валет» выступил почти двадцать лет

назад на художественную арену, как воинствующая в формальном бунтарстве группа, восставшая против стилизаторства, утонченного эстетизма и поэтизации старины «Мира Искусств». Шокируя «Мир Искусств» своим «варваризмом и дикостью», он выветрил начисто тот пряный дух екатерининского барства и нафталиновый запах «криколинов и потрепанных старых камзолов» (из сборника «Бубновый Валет» от 1912 г.), который «Мир Искусств» вдыхал с таким упоением. Это, конечно, хорошо. Но, отвернувшись от стилизаторского отображения «милого барства» (по выражению современного «Миру Иск.» критика Маховского), они отвернулись от отображения жизни вообще, подчеркивая, что «никогда сюжет в такой мере не являлся предлогом для тех или иных формальных решений, как сейчас (из того же сборника). «Бубновый Валет» стал зачинателем длинной цепи пламенных фанатиков формы, жрецов аналитического разложения формальной структуры живописного произведения.

Если, вспомнив это сравнительно недалекое прошлое, посмотреть на выставку ОМХ, трудно поверить, что здесь выставляются те самые художники, которые с таким пафосом испровергали академизм и «Мир Искусств». Трудно поверить потому, что первое впечатление от выставки — именно впечатление академического салона, торжественно официального и не без некоторой холодной скуки, неизбежной спутницы академизма. Самый характерный пример в этом отношении — пейзажи Машкова. Это большие, с виртуозным блеском уверенной кистью написанные кавказские пейзажи, «картинные», «эффектные», но совершенно холодные. Большое полотно Лентулова «Ай-Петри», несколько более декоративное, тоже чрезвычайно близко к Машкову. В обоих случаях налицо прежде всего увлечение великопной бутафорией гор, моря и т. д. Вообще, в высшей степени характерна сама тяга к экзотическому пейзажу: Крым и Кавказ у Машкова и Лентулова, Крым в пейзажах Куприна, Узбекистан у Рождественского и т. д. Все

это коренным образом противоречит основам всей предыдущей французской полосы, совершенно равнодушной к тому исходному материалу, от которого отправлялись художники в своих исканиях. Да и самая «картинность», законченность претит чистокровному сезанизму.

Но, пожалуй, знаменательней этой первой, бросающейся в глаза, академической трансформации другая линия—линия лирическая. Если в холодной законченности кавказских декораций налицо реакция чисто формального свойства, здесь, быть может, даже бессознательно для ее носителей, реакция против самого существа сезанизма. Когда в пейзажах Древина и Удальцовой проступает локальный тон, суровый, мрачный колорит Уральских лесистых гор и рек, когда баржи Осмеркина обвеивает хмурый ветер непогоды, а кипарисы Фалька звучат суровой скорбью,—здесь нельзя не видеть органического противоречия со столь знакомыми нам внеэмоциональными, непочтвенными пейзажами «без погоды» (как выразился Марк Твен про один из своих романов), с раз навсегда освещенной зеленой растрепанной гаммой.

В «Бытии», в средней цепи сезанизма, нельзя найти так интенсивно бьющую в глаза в ОМХ'е академическую струю. Только «Жнитво» Макарычева, и то с натяжкой, может быть отнесено к этой категории. «Бытие» почти целиком идет по второй, лирической линии. В лице Стеншинского, Мухина, Бухарева и др. оно стремится, и подчас убедительно, приучить свою кисть чуть отзывать на то самое «настроенное» в пейзаже, которое так долго подвергалось ими осмеянию. Пейзажи Эйгеса не могут быть приведены, как показательный пример, так как их темпераментный импрессионизм присущ художнику уже в течение продолжительного времени. Можно указать также на «Сток у рябины» Ражина и на некоторые другие пейзажи этого художника, но необходимо подчеркнуть, что путь развития его за последние годы, несомненно, приостановился.

О наличии определенного сдвига в ядрах сезанизма говорит и факт объеди-

нения его с такими, например, художниками, как Герасимов (из б. «Маковца»). Прежде в графике, сейчас в живописи Герасимов дает в психологическом разрезе ряд крестьянских портретов, дает насковзь согретые, преломленные через взволнованное человеческое восприятие — деревенские пейзажи. Он оперирует, наконец, изобразительными средствами, далекими от французских канонов.

Бесспорно, перед нами новый этап в развитии сезанизма. В период своего возникновения «Бубновый Валет» олицетворял «грубую, демократическую» (по словам того же Маковского) реакцию против «Мира Искусства», выразителя настроений умирающего помещичьего дворянства. В дальнейшем, несмотря на свое бунтарство, которое заставляло «Бубновый Валет» считать себя левым, он явился пассивным отображателем всех фаз диссоциации и разложения буржуазного искусства современной Франции, перенял его сугубый формализм и окрасился, таким образом — объективно — тонами реакции буржуазной. В послереволюционных условиях все эти «хождения по французам» оказались вне какой бы то ни было социальной среды. Отсюда полный отрыв от жизни, отрыв, который отозвался болезненно на большинстве художников. Отсюда — метания «Бубнового Валета», его попытки к сращению с АХРР'ом и т. д. Отсюда и этот отход назад, к академическому мастерству, как к средству обезопасить себя от перспективы самоубийства беспредметничества. Что здесь налицо реакция именно формального порядка, можно судить по двум большим полотнам — «Парад в Узбекистане» Рождественского и «Купание лошадей» Кончаловского, которые даны художниками к 10-й выставке АХРР'а. В них мы встречаем сильные по мастерству, но чисто декоративные решения. Но даже вторая линия (лирическая), которую нельзя назвать специфически-формальной, остается верна пейзажу, во-первых, и дает неудовлетворительные работы, когда ставит перед собой сюжетные задачи, во-вторых. Поскольку пейзаж может слу-

жить таким же выразителем своей эпохи, как и сюжет, не пришлось бы, конечно, возражать против участия художников-пейзажистов в объединениях. Но здесь дело обстоит не так просто. Например, можно ли предположить, что вся молодая группа «Крыло» — в полном составе пейзажисты «божией милостью»? Конечно, нет. Да и сами художники не пытаются вовсе это утверждать и ссылаются на всякие второстепенные причины, толкающие их к работе над пейзажем. В действительности же этот факт говорит прежде всего о том, что и новые формации сезаннизма остаются попрежнему общественно-индифферентными. Что это утверждение не голословно, можно сослаться на сторонника «искусства для искусства», Бенуа, который с удовлетворением подчеркивает, что переход к пейзажу в 90-х годах был первым ясным показателем разрыва художников с «направленством».

Быть может, в настоящий момент две другие причины имеют более существенное значение. Первая — утеря сюжетного мастерства. «У исполком» Фалька с ватными несгибающимися фигурами, «Грузчики» Чеказова, выражением лиц и позой до-нельзя напоминающие пациентов в лечебнице для

душевно-больных, большеголовые «Домохозяйки» Новожилова, «Похороны товарища» Сретенского, «Беседа с комсомольцем» Мурашева — во всех этих картинах из ОМХ и из «Бытия» есть ряд неправильностей, которые никак нельзя объяснить сознательной деформацией со стороны художников. Но это наследие натюрмортной живописи среднее и молодое поколения («Бытие» и «Крыло») могут преодолеть.

Кроме него, есть более серьезное наследие—идеологическое. Тот социальный базис, который сделал возможным расцвет формализма, рухнул и погиб вместе с приходом революции. Но надетые им на глаза художников шоры, но созданные им традиции, пред-рассудки и заблуждения, к сожалению, еще не умерли и все еще отравляют своим ядом новые художественные поколения. Молодые художники «Бытия» и «Крыла» все еще думают, что, претендуя на психологическое и социальное воздействие в своих работах, они тем самым жертвуют чистотой и высотой своего мастерства. Отсюда — безрадостная блеклость их сюжетных работ. Этот факт вызывает опасения, что новый этап их развития замкнется в рамки мелкой индивидуалистической лирики.

3. ОЧЕРКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

К поискам театрального стиля

П. Марков

I

Театр о мещанстве или мещанский театр

Дни октябрьского напряжения сменились упадком, и после октябрьских премьер почти ни один театр не дал равнозначущих им постановок. Несмотря на то, что эти спектакли как будто бы обозначили переломный момент на театре — вернее, обозначили проблему социального спектакля, как основную театральную задачу последних лет, — будущее нашего театра остается туманным. Как бы ни были значительны, а порою замечательны отдельные спектакли, нельзя закрывать глаза на те трещины, которые

несомненны в текущей нашей жизни, и на то беспокойство, которое вызывает ближайшее рассмотрение некоторых спектаклей. При ясно намечающейся тенденции к социальному спектаклю — при разнообразных линиях сатирического бытоизображения лирической комедии, публицистической драмы, классической драматургии, — при ясно чувствуемом росте художественного и внутреннего сознания театра, — он порою замыкается в узкий круг одинаковых приемов, обнаруживая искривление основной тенденции. Глубоко не случайны призывы более требовательно отнестись к театральной жизни в целом. Среди многочисленных проблем, волнующих

театральных деятелей, вопрос об эстетических средствах передачи идеологического содержания и о способах художественного оформления современного быта остается одним из существеннейших: вопрос о театральном стиле и о формах, которые сейчас может принять театр, выдвигается на первый план. Не менее важно ощутить природу материала и внутренний к нему подход, который бы обеспечил современность спектакля не только по названию, но и по существу (современность темы еще не гарантирует современности спектакля).

Последние опыты бытовой комедии потеряли сатирическую заостренность, особенно в плане «малого жанра», который практикуется на сценах Театра Сатиры и Оперетты. Мещанский зритель продолжает довлеть над их спектаклями. Оба театра, лавируя между требованиями кассы и общественности, крайне озабочены трудной задачей облечь идеологические задания в милые этому зрителю формы. Вполне используя тему «разложения буржуазии», авторы и театры остановились в растерянности. Пресловутое «разложение» из плоскости реального быта перешло в чистейшую сценическую условность. Явный штамп при его изображении, став всеобщей очевидностью, не исчез со сцены. Невозможно отрицать необходимость «веселого» спектакля для рабочего зрителя и советской интеллигенции. Однако средства сделать реальную жизнь предметом увеселительного представления остаются неопределенными. Трудность соединить серьезное содержание нашей жизни с комедийно-водевильным подходом, не потеряв идеологического фундамента и не впад в мелочный анекдотизм, — очевидна. Последние работы московского Театра Сатиры показательны в этом отношении. Блестяще начав «Москвой с точки зрения», МТС постепенно замкнулся в узкий круг штампованных приемов. Зритель победил театр. Сатирическая усмешка над мещанством вместо убийственного разоблачения быта незаметно наполнила мещанством самый театр. Образы

напмана и служащего треста, секретарши и преддомкома, советского работника и боязливого интеллигента, радовавшие ранее отличной наблюдательностью и жизненным блеском, превратились в постоянные маски, неизменно повторяющиеся из спектакля в спектакль. Они остановились на той же ступени художественного развития, в какой их впервые заметил глаз наблюдателя-драматурга. Возникла подмена живого образа театральной фигурой, при чем несомненно талантливые актеры этого театра выработали определенные и надоедливые приемы. Обзорение — главный предмет стараний театра — распадается на ряд механически слепленных сенок и набросков. Мы присутствуем при известном «вырождении обзорения». Жанр, который мог создать стиль театру, перестал им улавливаться, Анекдотизм заменил сатиру, и мимолетные шаржи «Смехача», разрастаясь в обширные сценические картины, заполняют сцену.

По прошествии 3—4 месяцев трудно вспомнить, в каком из многочисленных обзорений и в каком из сезонов зритель видел ту или иную сценку: ибо эти сценки не объединены ни единой темой, ни общей внутренней установкой, и спектакли различаются только по названиям. Окончательно затруднено положение Театра Сатиры его умеренным распространением на два здания при переживаемом репертуарном кризисе.

Насколько далеко идет снижение сатирической темы, когда сюжет о мещанстве перерастает в мещанский спектакль, показывает «Всесвалка», которая по замыслу должна рассказать смешное приключение предприимчивого авантюриста, задумавшего во все-российском масштабе заняться очисткой мусора. Неживые лица надоевших обзорений собраны под идеологическим предлогом борьбы с бюрократизмом. Страницы «Смехача» расширились в спектакль, теряя своеобразие несомненного юмора. Идеологическое задание превысило авторские возможности и угылая серость необоснованных претензий веяла со сцены. Снова

внутренняя пустота глядит из-за привычных масок, и выпотрошенная жизнь холодным и мертвым призраком мелькает на сцене. И оттого, что внутренняя ненаполненность сюжета очевидна, и оттого, что автор хочет быть Сухово-Кобылиным, когда он всего-навсего симпатичный Ардов, и оттого, что мимолетные картинки быта становятся самоцелью, от этих причин растет неудача спектакля, наличие скуки вместо радости и кривая усмешка зрителя вместо здорового смеха: ощущение сплетни сопровождает такие спектакли, погружая зрителя в атмосферу беспросветной духоты.

Мещанский натурализм и мещанская карикатура — формальные особенности спектаклей — непереносимы на сцене в неумеренных дозах, в которых они щедро подарены зрителю. Не потому ли «Лиры напрокат», водевиль Шкваркина, на много идеологически безвреднее и на много художественно вкуснее, нежели «Всесвалка» и обзорения. Мы имеем здесь известное драматургически театральное преобразование мещанской тематики, когда художник становится над ней, а не копаются в ней с трудолюбивой заботливостью, достойной лучшего применения. Становясь над мещанским бытом, художник деформирует его согласно своим целям, освещая лирической усмешкой, отсекая одни черты и выдвигая другие, находя музыкальный фон и ища своеобразие приемов. «Лиры напрокат» откровенно и ясно условна. Указывая в качестве своих предшественников не трудно достижимых Гоголя и Щедрина, а скромных водевилистов, Кони и Писарева, — автор заботится о создании внутренней установки зрителя, которая обеспечила бы восприятие его сатирических стрел и легкого остроумия. За водевильной картиной актерского быта, которую, конечно, невозможно принять за строгую реальность, сохраняется живая и злая наблюдательность в обрисовке отдельных черточек быта.

Театр Сатиры всецело прав, переходя к спектаклям типа «Ночи перед Рождеством» — «современной» тран-

скрипции Гоголевской повести». Забавное переплетение мотивов Гоголя с мотивами современности дает канву для остроумного представления, на фоне которого острее выделяются сатирические места пьесы. Невозможно требовать жизненных точных соответствий от условной формы. Обвиняя «Лиру напрокат» в неправдоподобии, зритель не оценивает общей манеры спектакля. Сила сатирической остроты «малой формы» отнюдь не находится в тесном соотношении с мнимым реализмом быта. «Малая форма» — более, чем бытовая комедия или публицистическая драма — позволяет неожиданность приемов во имя раскрытия задачи автора — при одновременных высоких требованиях мастерства. Помощью контраста «Лиры напрокат» и «Ночь перед Рождеством» добиваются необходимого звучания современности. Тем безнадежнее держаться за штампованные приемы игры, как делает Московский Театр Оперетты при постановке «Игры с джокером» и «Черного амулета». Подобно бытоизображению мещанства, изображение буржуазного распада, под какими бы похвальными предложениями оно ни совершалось, — переходит в самоценное буржуазное искусство. Ироническое отношение к фокстротам и модным костюмам недостижимо вне общей установки спектакля, вне единого зерна. Идеологические вставки и горячие монологи в опереточном окружении звучат окончательно фальшиво и удручающе бестактно. Вместо необходимого идеологического воздействия получается пародия на революционный спектакль. Говорить мимолетные, хотя бы и громкие слова о Сакко и Ванцетти на основном фоне фокстротирующих пар — значит не иметь уважения к теме.

Спектакль Камерного театра «Сирокко» предпочел иные пути.

Основываясь на рассказе Соболя «О голубом покое», Камерный театр создал жизнерадостный и блестящий спектакль, социальный смысл которого оправдан не только сатирическим разоблачением западной буржуазии, но также и здоровой зарядкой, которую он влагает в зрителя. Используя

образы отдыхающих бюргеров не в духе преувеличенных и плакатных масок, а найдя применительно к ним отношение внутреннего превосходства, театр вполне уловил необходимый тонус спектакля. Он умело соединил жизнерадостность подлинного мастерства с иронической усмешкой по адресу играемых героев. Найдя основной стиль исполнения, как условной игры, театр установил правильный путь решения спектакля. Чрезмерность идеологической нагрузки применительно к такого рода стилю приводит к обратным результатам: княгиня, говорящая о крови румынских крестьян, кажется неуместной в оперетте, — как совершенно напрасно обращать западного актера и трансформатора в проповедника большевизма. Есть круг вопросов, несоединимых с опереточной легкостью: их следует затрагивать с осторожностью во избежание художественной безвкусицы и общественной бестактности. Оставим их в пользование бытовой комедии и публицистической драмы. Таиров глубоко прав, перенеся центр действия, не в пример «амулетам» и «джокерам», с политической стороны на лирико-пародийную: улыбка внутреннего превосходства оказалась правильной сценической позицией. В постановке Таиров окончательно освободил оперетту от налета дурных штампов, пронизав весь спектакль ощущением бодрости и здоровья: фокстроты отошли на второй план перед общим комедийным блеском, изобретательная музыка Половинкина подчеркнула остроумные замыслы режиссера; «буря в стакане воды», с таким сценическим мастерством вылепленная Таириным, говорила зрителю больше о внутреннем зерне веселящегося общества, чем мудрые потуги мнимого социального «Амулета». «Сирокко» подтверждает, что внутренняя установка определяет характер спектакля, и что не всякая тема разрешима в плане легкого жанра: современная общественность имеет право протестовать против снижения темы до анекдота и против возведения анекдота до степени обобщенной проблемы.

Идеологическое содержание современности допускает разнообразие форм, и поиски сценического стиля, в каких бы направлениях они ни совершались, только плодотворны для театра. Закостенение разрозненных приемов означает на театре художественный и идеологический формализм. Закостенение приема связано с закостенением содержания.

II

Театр быта или театр жизни

Невозможность мелкого анекдотизма толкает к возрождению традиции Сухова-Кобылина. Несколько лет тому назад «Мандат» Эрдмана обозначил ее плодотворное обновление; тем не менее после короткой и блестящей вспышки она неожиданно угасла, — может быть, вследствие неясного понимания предмета сатиры. Традиция Сухова-Кобылина применима к явлениям большого общественного порядка и не менее значительного внутреннего смысла. Эрдман в свое время умно угадал трагикомическую гримасу мещанства и за невероятным случаем увидел острое обобщение. Сжатый и точный язык подчеркивал манеру письма. Жизненная невероятность скрывала психологическую правду, и преувеличенные события становились правдой сценической. Впрочем, сюжет «Мандата» повторился в жизни, и самозванная Анастасия Николаевна стала несомненным героем берлинской истории.

Из современных драматургов к Сухово-Кобылину задумал вернуться Архипов. От Сухова-Кобылина он взял невероятность положений, позабыв, однако, необходимость их психологической оправданности. Закостеневшие маски, совершившие прогулку по нашей сцене, он поставил в неумеренно парадоксальные положения. В качестве сюжета он избрал бродячие легенды о кладах, оставленных в недрах земли бежавшими собственниками. Как следует ожидать, искатели кладов посрамлены, и жадный нэпман принужден на свой счет выстроить какое-то крайне необходимое учреждение. Но с са-

мого начала зритель не может поверить ни в существование денежного клада в 17 миллионов, ни в наличие щедрого дядюшки-гусара, взятого напрокат из водевилей 30-х годов и умирающего на сцене под пение французской шансонетки, — ни в добродетельных и вполне кукольных молодых людей, которые собираются строить жизнь. Автор окончательно теряет психологическую установку, и зритель, догадавшись с момента первого поднятия занавеса о неудачливости искателей несуществующего клада, недоумевает, зачем ему показаны три последующих акта. Постановка Реалистического театра окончательно подчеркнула головную выдумку автора, а цирковое оформление и яркость трюков отнюдь не способны оживить претензионный водевиль, неуклюже слепленный из мертвых обломков разных эпох и стилей. Быт не поднят до символа и методы художественной обработки фальшивы в своей основе, как и претензия автора на серьезную сатиру: «смех должен быть сарказмом», гордо и напрасно заявил автор в интервью, предшествовавшем постановке. Пример «Клада» и неудачливых опытов сатиры показывает, что сатирический штамп ненужен современному театру. Оживление образов комедии идет через новый социальный круг, ранее незамеченный автором и через лирическую струю, которую автор умеет разгадать за первоначальным обликом героев. Комсомол, рабочий быт, современная молодежь, строящая интеллигенция — составляют новый предмет интереса бытового драматурга; сочетание лирики с отрицательными чертами откроет сатирическую гримасу, далеко превосходящую былую плакатность масок, — контраст с новым бытом будет тогда разителен. Порою актер, пользуясь немногими намеками роли и личным опытом, оживляет ее остротой современности. Сатирическая комедия, в ее чистом виде, все менее привлекает театр — и упор на «прошлое» все менее занимателен на сцене.

На ином пути, не говоря уже о кричащей разнице талантов, стоит Але-

ксей Толстой. Он — один из немногих возможных драматургов и комедиографов современности. После исторических разысканий о Распутине и Азефе, он вернулся к покинутым им комедиям о любви. Подобно прошлогодним «Чудесам в решете», «Фабрика молодости» принадлежит к пьесам о сладких любовных мучениях и о горькой радости жизни. Если основное жизнеощущение автора осталось неизменным со времен «Касатки» и «Нечистой силы», то теперь он ищет обновления приема. Вглядываясь в окружающую жизнь, Толстой минует принятые схемы разделения действующих лиц по категориям добра и зла и пытается по-своему определить отношение к жизни, которая неотвратимо и мощно нахлынула на него. Правда, он и в текущей жизни отыскивает милых ему чудачков, заботливо следя, какое место они заняли в нашей современности и под какими личинами они в ней появились. Он сплетает любовные страдания с неожиданной тематикой — «Фабрика молодости» занимает место бытовой лирической комедии. Однако Толстой выполняет свою задачу с явной небрежностью и грубостью, которые губят его замечательный талант. Новая комедия ниже возможностей автора. Начало пьесы обещает больше, чем дает в целом. Чудесная лепка фигур соединяет выпуклую театральность с сочностью характеристик. Умелая манера строить действие заставляла с нетерпением ожидать следующего, а живописность языка придает новое звучание слову. Но, чем дальше развертывается действие, тем неприятнее семейный анекдот об изменнике-муже и об омоложении превалирует над характеристикой нового быта и интересным решением образов, и тем откровеннее проступает обидная бедность авторского замысла. Чудак-изобретатель возвращает несчастной увядающей жене молодость, и разочарованная в романах благородная жена похвально отдает омоложенную жизнь чудачковатому профессору, осрамив предварительно постыдного изменника-мужа. Для краски разложения Толстой ввел образ развратной кино-звез-

ды, а для окончательного утверждения трудолюбия, в качестве идеологической позиции пьесы, — комсомольца и горничную, обучающуюся в театральной школе. В путанице образов, слепленных с удручающей небрежностью, тонут блестящие и глубокие следы толстовского дарования. Между тем, именно от этого глубокого мастера быта можно ожидать лирически-бытовой комедии, полной любви к новой жизни и вырастающему человеку. Он умеет собирать разбросанные черты в яркий и густой образ, и тогда, когда рисует первые шаги комсомольца или образ чудака-профессора, он неожиданно выбрасывает зрителю мощные пласты ярчайших наблюдений, возведенных до выпуклой и смелой сценической жизни. Тогда кажется, что Толстой, может взять на себя задачу бытописания новой жизни. Умея оправдать яркость характеристики, он нерасчетливо и нелепо разбрасывает прекрасный талант и, не думая о мастерстве, беззаботно набрасывает пьесы, обращая идеологию в нудный прием и ища спасения в вычурности сюжетов. Еще менее позаботился раскрыть хорошие качества пьесы коршевский театр, отчетливо подчеркнув ее халтурность небрежной и слешной постановкой, в которой тонули счастливые детали актерского исполнения и авторского замысла.

Для решения вопросов бытового материала особенно замечательна по своим литературным достоинствам пьеса Бабеля «Закат», показанная во 2-м МХАТ'е. Ее сюжет взят из далекого и ушедшего быта, которому посвящены одесские рассказы Бабеля и который раскрыт в пьесе со стороны его философского смысла. Алексей Толстой в своей неудачливой комедии, скрепляя распадающиеся части, также пытался подвести ей философский фундамент в последнем действии. Заставив повторить перед кино-аппаратом страдания и мучения омоложенной жены, он подчеркнул бессмысленность и ничтожность былых мучений. Его философский замысел кажется претенциозным, и рассказанная сцена звучит напрасным и ненужным трюком. Бабель смотрит глубже. Быт Молдаванки он

обратил в фон для рассказа о закате человеческой жизни, — о печальном закате мощного Менделя Крика, который к концу своих дней почувствовал романтическую тоску и бесплодные желания. Свою тему рассказал Бабель с эпической простотой, сжатостью, спокойствием и скупостью. Не становясь на защиту того или иного из героев пьесы, он подвел конечный итог своих горьких наблюдений в заключительных словах раввина: «День есть день и вечер есть вечер». Можно оспаривать бабелевские замыслы, — нельзя не признать законченности и смелости, с которой сделана пьеса. Ее недостаток не в ее философском характере, а в чуждости этой философии нашим дням. Не занимательным кажется давно ушедший и призрачный быт, который не могут оживить даже тонкие психологические характеристики Бабеля. Стремясь подчеркнуть социальное значение пьесы, 2 МХАТ не разглядел основной природы бабелевской драмы. Из живых и теплых образов он создал преувеличенные маски. Спокойному течению пьесы режиссерски придана судорожная разорванность. Противоречие между намерениями режиссера и автора настолько очевидно, что порою казалось, что на сцене идет пьеса другого автора. Между тем, социальное содержание пьесы выяснится более четко, если театр будет исходить из целостного смысла пьесы, а не отдельных образов, ибо пьеса в целом, с гибелью Менделя Крика и с победой Бени, с напрасной тоской, жестокостью и разгулом — есть глубокое осуждение далекой Молдаванки, как ее увидел задумавшийся над жизнью Бабель. Приходится ждать, что к раскрытию современного быта — уже с иной социальной установкой — с любовью к нему — подойдут такие художники, как Толстой и Бабель.

III

Публицистика в театре

Жизнь вбрасывает в театр основные и волнующие вопросы. Может быть, именно потому так бесследно прошли

перед зрителем комедия Толстого и водевили Театра Сатиры, что они только мимолетно касались того, что страстно и мощно существует в окружающем быту. Проблемы общественной или любви и долга, однажды появившись в театре, требуют дальнейшего раскрытия. Публицистическая драма занимает большое место в текущей драматургии, приобретая особенные и непривычные формы. Задумываясь над окружающей жизнью, автор и театры сталкиваются с рядом событий, которые не умещаются в привычные схемы и рамки. При переоценке ценностей, когда вопросы морали и этики приобретают в новом социальном и общественном окружении побуждающий и глубокий смысл, они, естественно, не могут не взволновать художника. Не будем подробно говорить о спектаклях типа «Проходной комнаты», которые, под видом проблемы современной морали, занимают анекдотическими рассказами, переходящими в сплетню. Автору захотелось написать, а театру показалось интересным поставить пьесу на тему о современной семье. Крушение интеллигентской семьи, разлад отцов и детей — теоретическая установка спектакля. Жилищный кризис — простое авторское объяснение затруднительного вопроса. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь подобное событие проходной комнаты и случилось, но бедность художественных приемов и скудость мысли лишили пьесу какого-либо правдоподобия. Семейные дразги стали предметом спектакля, а эротические сценки — его украшением. Пьеса напрасно причислена к современным — ее молодые образы взяты напрокат из давних пьес о гимназистах, соблазненных горничными, и о несчастиях брошенной матери. Иллюстрация разложения доведена в ничтожной пьеске до гиперболических размеров: она свидетельствует о полной катастрофе подобной линии, если в поисках новых картинок мещанского распада автор и театр принуждены прибегать к педерастическим сценам. Одной из катастрофических ошибок театра, применительно к подобным пье-

сам, служит послушное следование автору. Вместо того, чтобы освободить немногие достоинства пьесы, театр покорно следует за авторским замыслом. Свобода обращения с классиками могла бы научить смелости трактовки. Между тем, «Фабрика молодости», «Проходная комната» и ряд других комедий не обнаруживают в театре стремления по-своему прочесть пьесу и увидеть в авторском тексте подлинный отклик на современную жизнь. Момент театрального осуществления сводится, таким образом, не к сценическому истолкованию пьесы, а к безразличной подаче со сцены голого текста ролей. Если ряд актеров (Кторов, Блюменталь-Тамарина, Попова) пытаются в этих представлениях по-своему понять образ, то их робкие попытки заглушены режиссерской подачей, которая не допускает ни остроты замысла, ни смелого рассечения жизни.

Момент истолкования особенно важен применительно к публицистическим пьесам, поскольку проблематика жизни становится в них определяющим мотивом. Публицистическая комедия или драма всегда есть истолкование жизни. Как всякое истолкование, оно диктует художественное преобразование действительности. Фотография — худший враг идейной драматургии. Частный случай не доказателен на сцене. Он неизбежно обращается в анекдот или сплетню. Вглядываясь в проблемы современной жизни, зритель хочет проникнуть в их существо. Не случаен поэтому тот стиль экспериментальной драмы, которую приняли для своих произведений Билль-Белоцерковский и Файко. Один из них остановился на вопросах любви, второй пытался сценически раскрыть проблему интеллигенции в нашей современности. Один предпочел легкую комедию, другой — психологическую мелодраму. Обозначив своеобразие путей публицистической драматургии, обе пьесы привели к различным результатам.

Билль-Белоцерковский нашел удобным разработать тему любви в форме легкой комедии, заменив широкую постановку вопроса темой аскетизма. Суровый предчека проповедует воз-

держание на время гражданской войны, но в конце концов, несмотря на яростное сопротивление, изменяет принципу, поддавшись очарованию молодой женщины, с ним работающей. Измена принципу не обозначает измены долгу. Он остается таким же верным слугой революции, каким был. Зритель естественно не видит ничего зазорного в таких поступках, и несложная заповедь «гони природу в дверь, она войдет в окно» — сохраняет полную неизбежность.

Посмотрев на пьесу, как на комедию любви, автор использует ряд привычных шуточных положений, вплоть до переодевания, которое введено в целях испытания гражданской доблести предчека; за выздоравливающим героем, повторяя привычные положения многих комедий, ухаживает добродетельная и невольная соблазнительница. Случайная близость толкает их друг к другу, борьба любящих сердец рассказана иронически и шуточно.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что мы имеем своеобразную игру образами и положениями на тему о воздержании. Предчека Билль-Белоцерковский может быть с равным успехом заменен председателем Совнархоза, а гражданская война, затронутая в двух сценах, с полным успехом опущена из пьесы. Она является только приемом для возбуждения внимания зрителя — не более. Основную проблему любви Билль-Белоцерковский завуалировал, подменив ее вопросом об аскетизме. Однако, как бы условно ни была разработана тема, и как бы суженно она ни была поставлена, Белоцерковский рассказывает ее без неприятного и специфического привкуса половой проблематики, свойственной повестям Малашкина или Романова. В своем немудреном рассказе Белоцерковский сохраняет чистоту и простоту — свои наиболее привлекательные качества. Актеры угадали стиль пьесы и вели спектакль в прекрасном комедийном тоне. Публика смеялась и расходилась, окончательно убедившись в полной необязательности аскетизма. Так шел весь спектакль, так и нужно его принимать — в качестве легкой шутки: в нем нет

«сердца горестных замет», которые волновали ранее в пьесах Билля.

Тем же путем экспериментальной драматургии идет и Файко в своей попытке иллюстрировать тему об интеллигенции.

Премьера принесла «Человеку с портфелем» успех, не рассеяв, однако, сомнений, связанных с пьесой. На этот раз Файко продолжил линию, начатую «Евграфом»: вслед за пьесой о лишнем человеке появилась пьеса о формальном человеке. Задумываясь над современной жизнью, Файко пытается проникнуть в сложные сплетения человеческой психологии. Глубину современной проблематики он хочет соединить с эффектной занимательностью сюжета. Так родился «Человек с портфелем» — пьеса серьезной идеологической заданности и внутреннего упрощения. Да, необходимо сознаться: занимательность преобладает над остальными элементами драмы.

Психологическую проблему Файко строит в плане внешнего действия. Он заинтересовался вопросом о внешнем восприятии революции. Судьба молодого профессора Гранатова иллюстрирует его тезу. Академический быт стал атмосферой пьесы. Чуждый фотографического изображения — Файко подвергает быт своеобразному художественному преломлению. Воспринимаемая окружающую действительность, он обращает ее в предмет стилизации. Выделяя отдельные немногие черты, которые кажутся ему существенными, он жестоко отсекает остальные, порою не менее существенные. Так возникает внутреннее обеднение жизни.

Файко проводит своего героя через ряд явных и скрытых преступлений. Невозможно представить необходимость столь тяжких преступлений для простой цели — занять место в президиуме ГИКР'а (Института Культуры и Революции). Между тем, бывший участник контрреволюционной организации «Русь и Воля» — Гранатов убивает единственного свидетеля его преступного прошлого. Ради сближения с директором ГИКР'а Башкирцевым — он соблазняет его сестру Зину. Ради освобождения от семейных пут — он доводит до самоубийства жену. Оконча-

тельный путь к желанному замдиректорству он открывает клеветой и провокацией — эта клевета вызывает смерть его последнего соперника и старого учителя, знаменитого профессора Андросова. Вплоть до последнего акта остается туманным и неразгаданным внутренним смыслом нехороших поступков молодого ученого. Вплоть до последнего акта ряд сюжетных переплетений и внезапностей, составляя основу пьесы, скрывает от зрителя идеологические намерения автора. Финальный монолог разоблачает — по заданию Файко — цель пьесы и суть образа ее мрачного героя.

Файко написал не о формальном человеке из интеллигенции, а о злодее из воображаемого мира странных и ущербных людей. В таком отвлеченном разрезе Файко обнаружил большое умение сценической интриги. Его драматургическое значение крепнет, и хитрые ходы Гранатова вызывают интерес. Есть комедийный блеск отдельных положений и лирика в описании отдельных образов. Пользуясь, однако, термином формальной школы, следует определить основную манеру автора, как «остранение».

Режиссер Дикий не разгадал основного стиля Файко. Он поверил идеологической заданности, но не увидел художественного зерна автора. Исполнение, не объединенное режиссурой, шло по разным линиям.

Единый стиль не был выдержан до конца — ибо сценический трюк не раскрывал особого мира, в котором происходит вымышленное действие пьесы Файко: между тем, только ощущение такого мира и могло заставить поверить в вымышленную жизнь и странных героев Файко.

Экспериментальный метод построения драмы легко уводит в план абсолютной нереальности. Выбирая умопостижимый образ современного человека и ставя его в выдуманные положения, которые должны помочь раскрытию волнующей автора проблемы, — автор отрывается порою от корней реальной жизни. Тогда сценический трактат о любви и интеллигенции не задевает подлинных, жизненных обще-

ственных проблем. Экспериментальному методу противоположен метод широкой типизации.

Театр МГСПС, ровно и спокойно ведущий линию рабочего театра, поставил в качестве последней премьеры пьесу Киршона «Рельсы гудят». Будучи также публицистической драмой, она отличается от рассказанных произведений методом построения. Ее сюжет — красное директорство. Ее быт — фабрика. Ее интрига — борьба спецов с красным директором. Помимо хорошо развивающегося сюжета пьеса обладает прекрасным знанием рабочего быта. В этом ее сила. Самое яркое в пьесе Киршона — характеристика красного директора и его друзей. Киршон умеет заставить поверить в изображаемые события. В нем есть та внутренняя установка, которая заставляет прощать отдельные недочеты пьесы. Из окружающей жизни он выбирает наиболее типичные образы и сталкивает их в не менее типичной драматической коллизии. Красный директор, коммунист из интеллигентов, разнообразные фигуры спецов, волнующаяся масса рабочих получают у него индивидуальные черты, оставаясь в то же время в полной мере типичными. Отношение любви и сочувствия придает некоторым образом оттенок идеализации. Киршон связывает героев между собою не только личными отношениями, но и единым общим стремлением: завод — причина страданий, стремлений, любви и ненависти героев пьесы Киршона. При ясном основном подходе Киршон еще не достаточно глубоко смотрит в человека и ряд образов (напмана, шатающегося интеллигента) восходит к параллельным образам предшествующей драматургии. Из этой пьесы театр МГСПС сделал один из лучших своих спектаклей, в особенности, в плане актерском, где ряд образов приобрел отличных исполнителей, в первую очередь Ковров дал глубоко убедительный образ красного директора Василия Игнатова. В его раскрытии — одна из основных заслуг театра и автора.

Может быть, в направлении, угаданном Киршоном, и лежат пути публицистической драмы.

4. „УНТИЛОВСК“ В МХАТ'Е

Н. Волков

Одной из репертуарных традиций Художественного театра является его связь с современной ему литературой. Оглядываясь в прошлое театра, видишь, что МХАТ почти всегда избегал профессиональной драматургии, стремясь сблизиться с теми из писателей, для которых основным видом их творчества является беллетристика. Не случайны поэтому и последние репертуарные поиски театра, направленные в сторону представителей новой художественной прозы. Так, осенью 1925 года МХАТ поставил первую пьесу К. Тренева «Пугачевщина», через год — «Дни Турбиных» М. Булгакова, а в этом году предоставил свои силы сразу трем беллетристам — Всеволоду Иванову («Бронепоезд»), Л. Леонову («Унтиловск») и в недалеком будущем В. Катаеву («Растратчики» и «Квадратура круга»). Таким образом, мы видим, что процесс втягивания в драматургическую работу прозаиков развивается весьма энергично, хотя, естественно, с различными, и общественными и чисто художественными, результатами.

Только что прошедшая на сцене МХАТ'а пьеса Л. Леонова «Унтиловск» является, в сущности, первым драматургическим опытом писателя («Барсуки» в театре им. Вахтангова — лишь инсценировка). И потому пока трудно судить: быть ли Леонову драматургом, или его театральные попытки останутся одинокими уходами с его основного пути.

Написанный в форме 4-актовой пьесы «Унтиловск» по характеру своих приемов относится к типу «индивидуально-психологических драм», напоминающих «театр Чехова», хотя бы того же «Дядю Ваню». Желая сосредоточить внимание читателя (и зрителя) на судьбе немногих героев, Леонов намеренно суживает место действия пьесы, заключая его в какие-то три комнаты или «конуры», где в тесноте и духоте и происходит ряд психологических поединков между главными

действующими лицами пьесы. Мало этого, Леонов и эти конуры и их обитателей забрасывают куда-то на далекий север, в заштатный городишко «Унтиловск» — «зубную червоточину». Вот в этой-то «зубной червоточине», куда судьба в разные времена и по разным поводам согнала каких-то ссыльных людей, Леонов и развивает основную тему драмы о довлении над человеческой жизнью, над человеческой правдой тяжелых и косных «унтиловских» сил. У этих темных, тянущих книзу, сил различные облики и различные названия: то они «оборачиваются густым унтиловским самогонном («унтиловочка»), то какой-нибудь «смутьянской красавицей» в виде солдатики Васки. Но страшнее всего сами «унтиловские человеки» — особая отрасль людского рода — глухие мещане, уроды, едкая и гнетущая человеческая пыль. В этой-то пыли и может задохнуться человеческая живая сила. И Леонов показывает, как обволакивает унтиловская хмарь ссыльного попа-расстригу Буслова. Был Буслов в прошлом священником-академиком, пострадавшим при царе за свою крамолу (были среди русского поповства такие вольнодумцы!). Казалось бы, для бунтаря-попа революция должна была бы стать освобождением, но пригнули Буслова к земле шесть страшных унтиловских лет. Самым страшным противником Буслова является, однако, не самогон и не смутьянская красавица, а местный философ Черваков, «нerv контрреволюции», который в своих речах и стремится обосновать философию «унтиловщины» — безверия в возможность прекрасной человеческой жизни и утверждения грядущего наступления хаоса, мрака и пустоты. Если Астров в «Дяде Ване» верил, что через двести-триста лет жизнь станет прекрасной, и земля превратится в цветущий сад, то Черваков, наоборот, утверждает, что через двести-триста лет жизнь будет невыносимо скучной, постылой и мертвой.

Создавая галерею исключительно отрицательных, уродливых или искаженных «Унтиловском» людей, Леонов — так может показаться на первый взгляд — создал вещь, проникнутую безысходным отчаянием и тоской. Но чем больше отходишь от первоначальных впечатлений, чем больше вдумываешься в содержание «Унтиловска», тем яснее сознаешь, что пессимизм автора, пожалуй, мнимый, что, наматывая все эти унтиловские сугробы, создавая всех этих Черваковых, Редкозубовых, Аполлосов жующих, всех этих людей лишь по названию, Леонов в глубине сердца верит, что будет время и растопятся унтиловские снега, а Унтиловск «пожрет самого себя».

Правда, Леонов на сцену не вывел никого из представителей другой жизни и остался до конца верен своей «симфонии черного». Но это не меняет сути дела. Все-таки за стенами безусловского жилья есть другая жизнь, и об этом мы узнаем и по поющим голосам соседей-комсомольцев и по рассказу Буслова об его маленьком ученике Васятке, из которого, судя по его рисунку бегущих оленей, выйдет замечательный художник. Но Леонов, как писатель, считает художественно более целомудренным, чтобы читатель (и зритель) лишь по намекам угадывал, что «у гробового входа играет младая жизнь» и дорисовывал своим воображением эту не выведенную на сцену молодежь. Может быть, автор, учитывающий собственные силы, и прав в таком решении своих положительных задач.

Из всего вышесказанного отнюдь не следует, что Унтиловск — произведение художественно-зрелое и драматургически-стройное. Как пьеса, «Унтиловск» имеет очень много существенных недостатков. В ней нет еще настоящего чувства театра, хотя бы и «театра настроений». Длинными разговорами, рассказами действующих лиц автор стремится замаскировать бездейственность отдельных сцен. Многие из действующих лиц лишены «реальной биографии», почти невозможно, например, написать жизнеописание такого центрального лица, как Черваков. Наконец, в «Унтиловске»

еще очень много всевозможных литературных влияний, начиная от Достоевского и кончая Блоком.

Но если мы и разберем по косточкам «Унтиловск», если мы и наставим автору целую колонку неудовлетворительных отметок, то все же останется неотъемлемое достоинство «Унтиловска» — его большая внутренняя серьезность. Кое-чем и утомляя и даже раздражая, «Унтиловск» все же ведет к значительным и важным мыслям. Потому что, если даже не касаться литературных достоинств «Унтиловска» — есть в нем настоящая жизненная тревога и боль, есть то, что можно назвать внутренней музыкой искусства.

Художественный театр очень хорошо подошел к пьесе «Унтиловск» — бережно и осторожно. Театр не должен стремиться «спасать» нетеатральность пьесы какими-нибудь внешними эффектами, декоративной изобретательностью, острыми сценическими приемами. Он вывел «Унтиловск» на сцену в том сером и будничном платье, в каком видишь эту пьесу, когда ее читаешь. И с этой «серостью» тона не споришь, потому что это стиль вещи, потому что только так и можно раскрыть тему пьесы. И в этом правильном понимании природы «Унтиловска» — большая заслуга режиссера В. Г. Сахновского.

Играть «Унтиловск» очень трудно, потому что трудно превратить в сценические образы героев, лишенных — как выше указано — реальных биографий. А без таких «биографий» психологический рисунок роли никогда нельзя сделать до конца убедительным. Кто такой, например, «дух отрицания и сомнения» Павел Черваков? Только ли почтовый чиновник или больше? В пьесе есть какие-то намеки на черваковское прошлое, но эти намеки не дают актеру никаких нитей для работы фантазии.

Но таково искусство актеров Художественного театра, что они попытались найти в себе и разбудить те чувства, которые жили в авторе, когда он наедине с собой создавал своих унтиловских человек. И в разной мере и с различной тонкостью, но передано

это унтиловское и Ершовым (Буслов) и Соколовой (Раиса) и Москвиным (превосходный Черваков) и Кедровым (Иона) и Шевченко (Васка) и Ливановым (Аполлос) и другими. Словом, налицо есть то, что в театре называют «ансамбль» — согласованность актерской игры на основе единого тона и ритма пьесы.

Сценическое появление «Унтиловска» не пройдет бесследно — ни для самого Леонова, ни для искусства МХАТ, ни для общего круговорота мыслей, в ко-

торых идет современная жизнь. Пусть «Унтиловск» не дает непосредственной бодрости, какую требуют от современной сцены, но он своими занесенными снегом тропами все же зрителя к этой бодрости ведет. Потому что, испив до конца кубок унтиловской горечи, у зрителя сильнее, чем раньше, вспыхнет жажда растопить унтиловские снега, по бревнышкам разобрать редкозубовские конуры, чтобы строить на их месте новые, светлые, солнцем пронизанные, дома.

5. СССР И ЯПОНИЯ

Вл. Брауде

Советско-японские отношения вступили в весьма благоприятную полосу. Уже давно не наблюдалось в Японии столь заметного интереса к СССР, как в настоящее время.

Япония шлет к нам специальные миссии: в ноябре и декабре Москву посещает экономическая миссия, возглавляемая Кухара, — одним из наиболее влиятельных представителей японской промышленности; вслед в СССР едет популярный государственный деятель — виконт Гото, чьей инициативе мы обязаны приглашением А. А. Иоффе в 1923 г. в Токио для переговоров.

Японские миссии всесторонне изучают страну Советов, о которой в Японии до сих пор имеется еще достаточно фантастическое представление. Они тщательно знакомятся с новыми формами политического строя и нашими достижениями на хозяйственном и культурном фронтах.

Вернувшись в Японию, Кухара и Гото выступают перед правительством и общественными кругами с докладами о результатах их пребывания в СССР. В докладах отмечается твердость советского строя, наши заметные успехи в восстановлении хозяйства потрясенной гражданской войной страны и, превзошедший все ожидания японских делегаций, расцвет культурной жизни.

Японская интеллигенция, — в особенности круги, связанные с искус-

ством, — далекая от официальных политических сфер и в некоторой своей части весьма радикально настроенная, не желая отставать, посылает в СССР своими представителями группу литераторов и театральных деятелей: поэта и драматурга — Удзяку Акита, режиссера одного из левых театров Токио — Каору Осанаи, переводчика нашей литературы — профессора Ионекава, критика Осе и двух женщин-писательниц. Наконец, организуются в наступающем июле или августе гастроли по СССР драматической японской труппы, возглавляемой крупнейшим актером современной Японии — Саданзи Ичикава. Задачи намеченных гастролей выходят за пределы коммерческих расчетов: основной их целью является ознакомление советского театра, уже знакомого с некоторыми из принципов классической японской драмы «Кабуки», — со всеми достижениями современной японской сцены.

Японская пресса посвящает много места анализу современных советско-японских отношений, и все вопросы, связанные с СССР, являются в Японии в настоящее время весьма актуальными.

Газетами, падкими до сенсации, представляющими собой типичный сколок американских, технически блестяще организованных и обладающих миллионным тиражом, выдвигаются проекты новых политических комбинаций, разнообразные планы хозяйственного порядка, связанные с СССР и в особенно-

сти с эксплуатацией естественных ресурсов Дальне-Восточного края.

На страницах прессы значительное внимание в настоящее время уделяется проблемам культурного сближения между двумя странами. Активным проводником нашей культуры в Японии является наша литература, театр, музыка и живопись. Наше искусство, в особенности литература, уже с давних пор пользовалось в Японии успехом, и наш успех уже давно затмил успехи французов, немцев и англичан.

Тяга некоторых слоев японской общности к познанию новых форм советской культуры и быта стимулирует в Японии создание новой организации, которая должна была бы взять на себя инициативу по налаживанию культурной связи между двумя странами. Таким органом явилось основанное в конце 1925 г. группой японских деятелей искусства «Советско-японское художественное общество» — «Ничиро Гейдзичу Коокай», посвященное исключительно интересам культурного и, главным образом, художественного сближения.

Хотя общество было учреждено с разрешения японских властей, однако все члены были взяты на особый учет главным управлением токийской японской полиции.

Несмотря на противодействие полицейских властей, рассматривающих общество, как орган коммунистической пропаганды, деятельность общества протекает весьма успешно. Общество регулярно выпускает бюллетень на японском языке; материалы бюллетеня интересно подобраны и хорошо отражают культурную жизнь Советского Союза.

В связи с повышением в Японии интереса ко всему, что относится к Советскому Союзу, работа общества, в особенности в последнее время, оживилась. В то же время выступления советских музыкальных деятелей (последние гастрольные Эрдено, Могилевского и Блиндера), наша выставка живописи, устроенная в Токио минувшим летом, постановки пьес наших авторов на сценах левых театров Токио: Малого театра Цукиджи и «Занейза» («Авангард»), привлекают еще большее внимание, чем это наблюдалось прежде.

Годы японской интервенции на Дальнем Востоке и в Сибири, куда Япония первая пришла и откуда она последняя ушла, были связаны с чрезвычайным усилением японского экономического влияния в занятых районах. После целого ряда неудачных переговоров между Дальне-Восточной республикой, а впоследствии СССР и Японией, Пекинским договором в январе 1925 г. интервенции был положен конец. С этого времени можно считать нормальными установившиеся между обеими странами отношения.

Что же вызвало столь значительное изменение политического курса Японии, в течение 8 лет выступавшей в качестве интервента, при нескрываемом антагонизме к СССР правительственных кругов Японии и искусственном подогревании антисоветских настроений среди значительной части японской общности? Причины перехода на новые рельсы кроются в своеобразных особенностях японской экономики и во внутреннем и международном положении Японии в эту эпоху.

Быстро растущее население, составляющее уже в настоящее время 60 млн. человек, не находит в самой Японии достаточной пищевой и сырьевой базы. Угроза войны в Тихом океане ставит Японию в особенно тяжелое положение, поскольку отсутствие продовольственных и сырьевых ресурсов грозит стране во время войны катастрофой.

Эта острая зависимость от иностранных рынков в особенности резко сказывается в вопросе снабжения Японии нефтью. Незначительные запасы нефти на территории Японии и ее колоний, заметно падающая производительность японских нефтеносных районов, при быстром темпе индустриализации, вынуждают Японию ежегодно ввозить свыше 700.000 тонн иностранных нефтяных продуктов и ставят страну в тяжкую зависимость от американских и англо-голландских нефтяных компаний.

Не менее ощутительной является нужда Японии в индийском и индо-китайском рисе, в американской, канадской и австралийской пшенице (при на-

мечающейся постепенной замене рисового питания хлебным) и, наконец, в канадских, американских и наших дальне-восточных лесоматериалах.

В условиях капиталистического строя такое положение вещей способствует развитию империалистических тенденций.

Финансовый капитал Японии, обладающий огромными средствами, интенсивно ищет приложения за пределами страны.

В годы империалистической войны японская промышленность захватила обширные рынки сбыта. Со времени мирового кризиса 1920 — 1921 г. она находится в состоянии хронической депрессии и делает судорожные усилия, чтобы удержать свои завоевания на внешних рынках.

Понятен в этой связи острый интерес Японии к естественным богатствам нашего Дальне-Восточного края.

Еще до начала русско-японской войны Япония приступила к эксплуатации рыбных запасов нашего Сахалина и Охотско-Камчатского края. После русско-японской войны 1904 г. и Портсмутского мира между царской Россией и Японией была заключена рыболовная конвенция, на основе которой японские промышленники были допущены к эксплуатации рыбных богатств в наших территориальных водах: в Японском, Охотском и Беринговом морях.

При широкой поддержке японского правительства были созданы мощные акционерные предприятия, превратившие Камчатку в мощную базу японской рыбопромышленности. Япония снабжает камчатской рыбой не только население страны и ее колоний — Кореи и Формозы, но и вывозит значительное количество рыбопродуктов в Китай, Англию, Соед. Штаты и другие страны.

Угроза войны в Тихом океане, незначительность запасов нефти на территории Японии и ее колоний, опасная зависимость японского флота от американских и англо-голландских компаний, заостряет внимание Японии в нефтеносных районах нашего Сахалина.

Наконец, лесные богатства нашего Дальнего Востока, эксплуатация которых еще очень незначительна, привлекают внимание японской лесопромыш-

ленности. Восстановление разрушенных землетрясением 1923 г. районов и отсутствие лесных запасов придают этой проблеме особую актуальность,

Землетрясение в сентябре 1923 г. причинило огромный урон народному хозяйству Японии, еще не окрепшему после мирового послевоенного кризиса. Убытки от землетрясения исчисляются в 9 миллиардов иен. Токийский промышленный район, первый по значению порт в Японии Йогогама, военные арсеналы, нефтяные цистерны с запасами нефти для военного флота, — оказались уничтоженными; экономическая и военная мощь страны испытала на себе все тяжкие последствия катастрофы.

Страна переживает тяжелый экономический кризис. Растет рабоче-крестьянское движение, трудящиеся массы переходят в наступление, невиданное ранее в стране, где еще не вполне изжит уклад феодальной эпохи. На принца-регента (нынешнего императора) в 1923—1924 гг. совершаются два покушения; раскрывается один заговор за другим, правительство мечется, ища спасения от растущей «крамолы» в репрессиях, все усиливающейся политической реакции.

Международное положение Японии в эту эпоху складывается весьма неблагоприятно. Все более и более сгущается атмосфера в бассейне Тихого океана.

Все более и более заостряется антагонизм между Японией и Соед. Штатами за преобладающее влияние в Тихом океане. Американский закон 1924 г. об иммиграции, направленный против Японии и Китая, усиленное строительство американского флота лишь подливают масла в огонь. Англо-японский союз, заключенный в 1902 г., не был возобновлен Англией. Под напором Америки на Вашингтонской конференции в 1922 г. Японии пришлось пойти на уступки. Вашингтонская конференция не только не разрешает основных противоречий японо-американских отношений, но еще более их заостряет. Англия, учитывая возможность войны в Тихом океане, ассигнует десятки миллионов фунтов стерлингов на постройку Сингапурской морской базы. Английские доминионы, Канада и Австралия,

в своей иммиграционной политике следуют примеру Соед. Штат. Америки, а Индия ведет таможенную войну с японской текстильной промышленностью.

Очувтившись в политическом «великолепном одиночестве», Япония, как некогда Англия эпохи Гладстона и Сольсбери, принуждена искать поддержку на континенте. Тяжелое положение народного хозяйства, растущее рабоче-крестьянское движение, нажим торгово-промышленных кругов, ищущих приложения для своих капиталов и новых рынков сбыта, — вынуждают правительство Японии (в ту эпоху реакционный кабинет виконта Като) итти на уступки и вновь начать неоднократно прерывавшиеся переговоры с СССР о возобновлении отношений, завершённые Пекинским договором в январе 1925 г.

Пекинский договор положил начало разрешению основных вопросов советско-японских взаимоотношений и послужил базой для разрешения ряда актуальнейших для Японии проблем экономического характера.

Япония получила от советского правительства столь чаемые ею нефтяные, угольные и лесные концессии на Сахалине и в Приморье и концессии по эксплуатации золотonosных площадей в Охотско-Камчатском крае. Вопросы японского рыболовства в наших водах, назревшие со времени окончания в 1919 году срока рыболовной конвенции 1907 года., были временно урегулированы впредь до окончательного их пересмотра и заключения новой рыболовной конвенции. Наконец, товарообмен между двумя странами, носивший хаотический характер в годы интервенции, получил твердую основу впредь до окончательного его оформления будущим торговым договором. Таким образом, Пекинский договор явился твердой основой для установления нормальных политических и экономических взаимоотношений между двумя странами, после долгих лет интервенционистской политики Японии на Дальнем Востоке.

Минувшие три года не принесли какого-либо существенного улучшения в состоянии японской экономики. Весной прошлого года начавшее понемногу

оправляться от последствий землетрясения японское народное хозяйство вновь подвергается потрясениям. На этот раз ударом явился банковский кризис, разразившийся в минувшем марте — апреле и вызвавший многочисленные банкротства банков и предприятий.

В течение двух — трех месяцев прекращают свои операции около 50-ти банков, не исключая самых крупных, как 15-й банк, бывший казначеем императорского двора. Одновременно заканчивают свое существование крупнейшие концерны, как, например, Сузуки, фирма с капиталом почти в полмиллиарда иен, Кавасаки, одна из наиболее крупных судостроительных верфей Японии, выполнявшая заказы морского министерства, паровой компании «Кокусай» и множества средних и мелких предприятий. Они закрываются одно за другим, печатный станок казначейства начинает интенсивно работать, катастрофически падает курс японской иены, тысячи рабочих оказываются на улице, и вкладчики банков настойчиво требуют конфискации частного имущества зарвавшихся банковских воротил. Для успокоения масс некоторые из высокопоставленных руководителей бесславно закончивших свое существование предприятий продают свои наследственные и благоприобретенные дворцы и отказываются от титулов, дарованных им ранее за «заслуги» на финансовом и торгово-промышленном поприще.

На почве финансово-экономического кризиса возникает кризис политический. Уходит в отставку минувшей весной Кенсейский кабинет Вакацуки и его место заступает Сейюкайский кабинет генерала Танака, ныне находящийся у власти.

В то же время на фоне внутренней политической жизни страны появляется новый существенный фактор — десять миллионов новых избирателей из среды крестьянства и городского пролетариата, лишенных ранее избирательных прав. Буржуазные и реакционные политические группировки, держащие власть в Японии на всем протяжении конституционного строя, при новом положении вещей должны теперь искать такие конституционные фор-

мы, которые позволили бы вовлечь эти тринадцать миллионов в политическую жизнь страны без ущерба для себя.

Мероприятия кабинета Танака, направленные к ослаблению последствий экономического кризиса, не дали реальных результатов, и конъюнктура японского народного хозяйства к концу минувшего года остается неблагоприятной. В то же время число рабочих конфликтов в стране быстро растет. Перед новыми выборами в парламент все пролетарские организации страны стремятся к объединению.

В своей внешней политике Япония в течение последнего года с еще большей резкостью, чем раньше, ощущает свое неблагоприятное международное положение. На страницах японской и английской прессы выплывают, время от времени, вопросы, связанные с возобновлением англо-японского союза, но это лишь газетные утки; реальных оснований за ними нет. При некотором внешнем улучшении отношений с Соед. Штат. Сев. Америки они остаются неизменно натянутыми. Нельзя отрицать, что имеются некоторые попытки внести какое-то улучшение в существующие отношения, как-то сгладить этот перманентный антагонизм, который остается неизменным в течение последних десятилетий. От имени японских детей правительство Японии в последнее время посылает детям Соед. Штат. транспорты кукол в блестяще расшитых кимоно и в ответ получает от имени американских детей такие же транспорты американских кукол. На последних банкетах в Вашингтоне с успехом выступают японский посланник Мацудайра и зять виконта Гото—Цуруми, совершающий политическое турне по Соед. Штатам, с целью воздействия на американскую общественность, чтобы добиться пересмотра американского иммиграционного закона 1924 г., направленного главным образом против Японии. С американской стороны выступают статс-секретарь Келлог и Ламонт, представитель банкирского дома Моргана. Однако основные противоречия между обоими империалистическими государствами остаются неизменными. На последних маневрах в Тихом океане военные флоты Японии и

Соед. Штатов демонстрировали свою мощь. Проектируемая 5-летняя программа американского флота, являющаяся прямой угрозой Японии, вызывает соответствующий отклик как в токийском морском министерстве, так и в японской общественности. Соревнования флотов в Тихом океане делаются все более и более острыми, и нескрываемые противоречия интересов между Англией, Японией и Америкой резко сказываются на Женевской конференции.

Проваливается проект устройства займа Южно-Манчжурской ж. д. у мирового банкира Моргана. Проект получения займа Японией, с ее «позитивной» политикой в Манчжурии и внутренней Монголии, встречает резкий отпор китайской буржуазии. Несмотря на частичную поддержку группы Моргана, политика Японии в Манчжурии рассматривается Соед. Штатами, как попытка нарушения Японией принципа «открытых дверей» в Китае, провозглашенного Вашингтонской конференцией.

В поисках выхода из состояния подобной политической изолированности Япония намечает новые пути своей политики.

За подписанием советско-японского договора в Пекине в январе 1925 г. последовало заключение японо-германского торгового договора в июле 1926 г. Эти договоры явились одним из самых исключительных событий внешней политики Японии за последние три года.

Японо-германский договор разрешает ряд основных проблем торговых взаимоотношений между Японией и Германией и закрепляет тенденции экономического и политического сближения обеих стран.

С другой стороны три года, прошедшие со времени подписания Пекинского договора, уже выявили положительные перспективы эксплуатации сахалинских концессий, что дает возможность Японии значительно ослабить в будущем остроту нефтяной проблемы.

Реальным шагом новой политики, диктуемой нынешним курсом японской дипломатии и тесно связанной с особой заинтересованностью Японии в

эксплоатации естественных богатств Дальне-Восточного края, явилась отправкой экономической миссии Кухара и недавняя поездка виконта Гото.

Выбор Кухара в качестве руководителя миссии не явился случайным. Его концерн — крупнейшее в Японии горное предприятие, связанное с целым рядом других отраслей промышленности, является вместе с тем близким правительственной партии Сейюкай и ее главе — нынешнему премьеру Танака. Эта связь между наиболее крупными концернами страны и ее политическими группировками обычна в современной политической жизни Японии. Выбор виконта Гото явился вполне естественным, ибо не кто иной, как виконт Гото, является в Японии наиболее активным деятелем советско-японского сближения.

Посылка этих миссий вызвала значительное оживление в международных политических кругах, оценивающих поездку Гото и Кухара, как шаг, направленный к образованию нового соглашения.

Вот что пишет виконт Гото в своем официальном выступлении в прессе перед отъездом в Москву: «Принимая во внимание, что СССР обладает обширной территорией, я всегда держался мнения, что в целях поддержания мира на Дальнем Востоке, сотрудничество СССР с Японией является абсолютной необходимостью, на ряду с японо-китайской дружбой и соглашением между Японией, Германией, СССР и Китаем. Таким образом я полагаю, что сотрудничество между Японией и СССР в деле сохранения мира на Дальнем Востоке путем создания дружественных отношений, при попытках взаимного улучшения экономических взаимоотношений, является задачей, которая должна быть выполнена во что бы то ни стало».

Стремясь разбить предубеждение, существовавшее в Японии против Советского Союза, виконт Гото заявляет: «В условиях советского режима признание СССР и Японии, экономически и географически тяготеющих друг к другу, к сотрудничеству, является таким же фактом, каким он был в дни

царской России. Эта необходимость сотрудничества делается все более и более острой. Это является причиной того, что я направлял мои усилия к установлению дружбы между двумя странами в течение 25 лет. Не что иное, как именно это, было причиной приглашения, несколько лет тому назад, А. А. Иоффе в Японию с целью восстановления дипломатических отношений, несмотря на взаимное непонимание и существовавшие затруднения»...

Далее в интервью, данном представителем прессы в Харбине на пути в СССР, виконт Гото указывает, что он надеется, что его визит в СССР не отразится на политике Японии в отношении Соед. Штатов и Великобритании. Виконт Гото надеется, что Великобритания и Соед. Штаты оценят его визит, как шаг, направленный в интересах мира всего мира.

Самый факт, что виконт Гото считает нужным заверить Великобританию и Соед. Штаты, что его визит не отзовется на отношениях Японии к этим странам, свидетельствует о том крупном международном значении, которое виконт Гото придает своей поездке.

СССР не остается в долгу у своей дальне-восточной соседки и в последние месяцы направляет в Японию из Харбина группу советских инженеров, сотрудников Китайско-Восточной ж.-д., для ознакомления с японским ж.-д. транспортом; Хабаровск, областной центр Дальне-Восточного края, снаряжает специальную миссию из хозяйственников, ученых и педагогов, встретивших в Японии радушный прием и внимание самых разнообразных слоев японской общественности.

Подписание японо-советской рыболовной конвенции 23 января текущего года завершило сложные двухлетние переговоры между двумя странами о японском рыболовстве в наших водах и послужило новым толчком к усиленному обсуждению Японией вопросов о дальнейших путях советско-японских отношений.

В какие формы они выльются — покажет будущее...

6. БРЯНСКИЕ „РАЗБОЙНИКИ“

П. Алгасов и С. Пацентрейгер

I

Оставьте широколицый, опрятный, просторный Днепропетровск, утонувший в лунной степи осенней украинской ночи, пойдите на будничную окраину и взгляните на небо. От края до края оно полыхает полотнищами пожаращ. Кто святотатствует над романтическим днепропетровским небом? Кто поджигатели? Это—брянцы, о которых некогда, двадцать лет тому назад, инженер Кох, заведующий железо-прокатным и пудлинговым цехами, сказал:

— Чтобы справиться с этими разбойниками, я ввел у себя железную дисциплину. Необходимо было принудить рабочих к тому, чтобы они не смели без дозволения дышать. Для этого иной раз приходилось по-зверски направляться с ними.

Как же «дышали» разбойники, которые, спустя двадцать лет, со словами — «здание выполним» — падали в изнеможении после десяти-пятнадцати движений напильников, воскресая в голодном девятнадцатом году умиравший колосс?

Брянские правители копировали правителя «всея Руси». Они имели на территории завода своих полицейских, приставов, городских, особую команду сторожей «черкесов», свою кутузку.

В один из майских вечеров, когда брянцы неторопливо уходили с очередной смены, оставляя гудящие кауперы, домы и мартены, Никита Кутилин, по рассказам одних, захватил с собой шашку, по рассказам других, отодрал доску от заводского забора, чтобы раздражить «черкесов», и понес ее с собой. Двое стражников-осетин погнались за ним, настигли и ударами кинжала в грудь уложили на месте.

Уходившие рабочие слышали предсмертные стоны, хлынули обратно с криками, подпалили сторожевые будки, лабораторию, главную контору.

Так впервые в 1898 году «без дозволения» жарко дохнули брянцы. Вспыхнул первый бунт. Брянцы двинулись к заводской «потребилке», подожгли ее, разнесли в пух и прах, кинулись

в поселок Новые Кайдаки, разбили «казенку», разгромили окраинных лапочников.

У брянцев сложилось сознание, что они вне закона, что с ними обращаются, как с каторжниками «арештантами». Они хотели хоть на один час, на один день выпрямиться. Когда одну свидетельницу на процессе по поводу бунта спросили, узнает ли она подсудимых, она ответила: «Как их узнать? Они теперь тихие, смиренные, а тогда—каждый был великаном в три сажени ростом».

Брянский бунт был мятежным дыханием массы, на день разорвавшей кольцо «железной дисциплины» инженера Коха. Но только кольцо опять сомкнулось, мятежная сила была вогнана во внутрь. Она клокотала, и от времени до времени прорывалась наружу «без дозволения» акционеров: массы не могли больше сознать себя имуществом акционерного общества.

Только небольшие группы приходили в соприкосновение с силой, из подполья приготавливавшей крушением самодержавно-тюремной системы, которую брянские акционеры копировали на своем заводе.

Работа этих групп была выводным клапаном для организованной энергии масс. Оставались большие неистраченные запасы энергии, которые слепо, дико и бессмысленно прорывались в быту...

Этот быт был нелеп, страшен и безобразен. Он был настоен на водке, азартной игре, кулачных боях, буйствах и дебошах. Болотным потоком начинался он в заводе и пьяным разливом растекался по окраине. Представьте себе обоз в двадцать тысяч сорокаведерных бочек, наполненных спиртом, — это и будет алкогольным выражением окраинного быта.

Водка выступала в этом быту не только в прямой своей, «казенной» роли, но и в качестве божественной влаги, примиряющей классы. По цехам совершались молебны в честь святых, имена которых они носили. Приложив-

шись к кресту, прикладывались к водке, качали начальство, получали на добавочную выпивку, снова пили, пока не сваливались в пьяном сне у стен цехов, под кучами железа, на колеях путей.

Рабочая окраина дышала перегаром. Артельный быт был наиболее типичен для окраины. В местах погуще снимались захудалый домишко или мазанка в две комнатки и набивались жильцами. Почувяв теплый запах человечины, из щелей выползали артели клопов, тараканов, прусаков и жили в мирном содружестве с людьми.

Артели жили с «царицами». «Царица» была и кухаркой и, порой, общей женой; она днем варила в складчину суп с полфунтом мяса на брата, кашу из пшена или гречихи, заправляла все это салом в скоромные дни и постным маслом по средам, пятницам и в посты; давала два кипятка в день, с общей заваркой, а на ужин остатки обеда. Если остатков не было, каждый покупал себе, что хотел, чаще всего селедку; селедка была универсальным классовым блюдом. Она вместе с солеными огурцами пользовалась правом наибольшего благоприятствования в рабочем желудке. После ужина кухарка складывала свое кулинарное оружие и становилась только «царицей».

Из-за «цариц» постоянно дрались. Они создавали неизменные бытовые драмы...

Записано это дочерью-вузовкой под диктовку отца — монтера прокатного цеха. Вот уж который вечер Иван Новиков дает дочери листы старой конторской книги, берет в руки очки, садится между этажеркой и пианино и неторопливо диктует свое прошлое и прошлое своего завода.

Жизнь переходит к детям... В груди старого монтера теснится хорошая отцовская зависть. У детей другие дороги. Одна дочь — вузовка, другая скоро будет вузовкой; он привык к этому. Он привык также к мысли, что и сынишка его, играющий на полу с охотничьей собакой, выйдет на пути культуры через ту широкую брешь, которую он, монтер Новиков, вместе с тысячами брянцев, проложил в сплошном свинцовом быту. И новая

привычная жизнь кажется еще более удивительной и новой. Он испытывает гордость отца, который через детей приобщается к человеческой жизни, без артельных «цариц», кулачных боев, азарта и разгула. Волнуемый приборами неожиданных чувств, мыслей, сменяющихся настроений, он сосредоточенными глазами, как инструментами, измеряет бессмысленно, бесцельно растраченную энергию в прошлом: завод на завод, поселок на поселок, район на район шли кулачным боем друг на друга, а после побойца жены подбирала мужей, дочери — отцов с проломленными черепами и вышибленными глазами.

Расточали энергию в кулачных боях, жгли силы в азарте. По ночам, после изнурительного рабочего дня, в копотном свете огарков и керосинок сидели до утренних зорь, до ранних гудков и метали карты.

Рабочий редко имел книгу, театр. Тело свое он сдавал на откуп акционерам, душу — Матрене, а сам — «ничего не имел».

Матрена — кабацкая царица. Ее заведение стяжало ей неувядаемую славу и несколько каменных домов. У нее была целая, до мелочей обдуманная и опытом проверенная система обращения с «гостями». Один из приемов этой системы может быть назван «куриным аукционом». Когда кабак начинал шуметь, Матрена, как бы невзначай, выпускала квочку. Квочка кудахтала, металась, взбивала пыль, забиваясь под столы. Все срывались с мест, ловили и кричали:

— Жарь, хозяйшка, в кредит.

Тут-то и начинался аукцион.

— Кто больше? — спрашивала Матрена и, когда цена поднималась высоко, объявляла:

— Курка голландская, задешево не отдам...

Квочку за баснословную цену получал наиболее пьяный, который уже не в силах был съесть ее.

Матрена по-своему обыгрывала чечелевцев, шляховцев, фабричан, кайдачан.

Матрена по-своему, Мина Семенович Капылов по-своему. На заводских подрядах, на конных и пеших грабарах

Мина Семенович нажил миллионное состояние. Рабочие жили у него в деревянных бараках, в непролазной грязи, среди миллионов паразитов, питались сеledкой и огурцами, работали в будни и праздники, а он издавал «Приднепровский Край» — газету, вначале столь же прибыльную, сколь и либеральную.

Таков быт старых брянцев.

II

Энергия брянцев, сжатая кольцом «коховской дисциплины» на заводе, кольцом свинцового быта на окраине и кольцом общего политического бесправия, все же зрела в организованную силу подполья.

Сюда уходили одиночки, которые, по мысли тов. Петровского, являлись «верстовыми столбами», отмечающими путь «пробуждения человеческой мысли» на заводе. Отсюда же, из подполья были выброшены в заводские цехи те прокламации, на огне которых закалялся политический язык масс. Первые фразы на этом языке были произнесены в 1903 году, в дни августовской забастовки.

Забастовка в течение семи дней потрясла «зоологический» — по терминологии тов. Петровского — быт брянцев. Как горячая струя воздуха очищает чугун, так горячая политическая струя забастовки очищала душу массы от зоологической накипи.

Недаром в эти дни дети и женщины с откосов Днепра носили отцам, мужьям и братьям камни. Камни должны были заменить им оружие для обороны против тех, кто шел на них под барабанный бой с винтовками, патронами, обнаженными шашками.

«Бей и жги» не повторились теперь. Брянцы не грабили, не палили, не били. В них забрезжило не только политическое сознание своей силы, но впервые шевельнулось чувство хозяйственной заботы: брянцы не бросили завода на произвол судьбы, они приняли меры, чтобы доменное сердце его забилося вновь в нужный момент.

Рабочие готовы были рискнуть своей свободой, чтобы скрыть от глаз и рук полиции тех, кто стоял на передовых постах классовой борьбы.

Проездом из Сибири в эмиграцию на митинге во время забастовки выступила одна учительница... Фамилия учительницы осталась неизвестной, но ее речь живет в памяти завода и до сих пор.

Даже полицейские, как они потом сами показали на суде, забыли о «присяге, согласно протоколу» и подходили послушать речь ораторши.

По окончании митинга очнувшаяся полиция пошла за учительницей следом, чтобы спалить ее в малолюдном месте. Нужно было во что бы то ни стало выручить учительницу. И вот двое рабочих рельсового цеха, Иван и Михаил Трофимовы (непричастные к нелегальным кружкам), взяли ее под руки и пошли с ней к поселку Кайдаки. Полиция шла следом. Тогда в Кайдаках Трофимовы провели ее через первую случайную калитку задворками, быстро переседили через один забор, другой, третий и так ловко замели следы, что через несколько часов она сидела на крыльце у машиниста Савелова в будничном платье его дочери и со всем его семейством пила чай, наблюдая, как кругом сновала полиция.

В поселок возвращались с митинга рабочие. Некоторые узнавали учительницу, кивали ей ободряюще и вместе с тем настороженно, боясь навести полицию на подозрение. Помощник машиниста Ламькин и медник Мочалов пошли тогда с ней к Днепру, как будто на прогулку, усадили в лодку, сами сели за весла, а Захар Савелов двинулся на велосипеде вдоль берега. Остановившись, он стал накачивать воздух в шины, давая этим сигнал к высадке. Учительница сошла на берег, на этот раз в образе домашней хозяйки с кошелкой в руках, села в трамвай и уехала на свою квартиру. На другой день на дверях ее квартиры была вывешена записка: «Здесь сдается комната». Это был условный знак, что все благополучно и можно явиться за прокламациями.

Так забастовка смыла с лица завода кору сумрачных будней и, слив людей в порыве и действии, обнажила в нем новые черты — страшные для врагов и дорогие для друзей.

Забастовка 1903 г. не принесла брянцам ни 8-часового рабочего дня, ни увеличения заработной платы, она дала: 11 рабочим — гробы, 53 — арестантские роты и 29 — каторжные тюрьмы.

Подпольные кроты ко времени 1905 г. организовывали на заводе первые командные кадры революции из рабочих. Еще до начала схваток эти кадры имели свой штаб в лице заводского районного партийного комитета, формировавшего летучие смотры-проверки: готовы ли брянцы к наступлению. В посадках и на выгоне у Чечелевки, на гатке у фабрик, на дамбе и Кайдаках собирались массовки.

На этих массовках проскальзывали первые, еще неясные и неоформленные, планы вооруженного восстания.

Безуспешно испробовав еще раз пути стачечной обороны, брянцы пошли в наступление.

10 октября в три часа заводы гудками сигнализировали отплытие в революцию.

Паровоз № 97 серии «К» из главных железнодорожных мастерских в'ехал в завод. Затихли моторы электрической станции. Стрелки вольтметров и амперметров стали на нулях. Вздыхнули поршни, замерли в последнем обороте маховики.

Катали выпустили из клещей концы ползучих раскаленных полос железа. И, когда потоки людей с паровозом «К» двинулись по полотну к вокзалу, за ними сомкнулись зевы заводских ворот.

В ковшах стыл чугун, бессильно висли цепи подъемных кранов.

Шесть дней брянцы вместе с трубами, гвоздильщиками и железнодорожниками, вместе с рабочими всей страны не выходили на работу. А когда окраина услышала конский топот и увидела первые пики казачьих раз'ездов, она начала валить столбы, колымаги, проволоку, камни поперек улицы. На казачий залп она ответила бомбами.

Вооруженной рукой они остановили погромы, раз'яснявшие суть «свобод» царского манифеста, охраняли завод, окраину, где в жаркой атмосфере революционного брожения раскрылась

почка рабочей государственности. Общелегальное собрание стало органом власти на окраине. Оно было и судом и правительством. Оно законодательствовало, оно вооружало людей, изыскивало финансы, боролось с безработицей, выдавало пособия, разбирало земельные недоразумения ходоков-крестьян и даже указывало, как решать земельный вопрос.

Оно было советом.

Только в 1908 г. самодержавие пыталось перехватить это дыхание брянцев намыленными петлями виселиц, каменными мешками казематов и ледяными ветрами сибирских пересыльных дорог.

Но завод, покрытый рубцами схваток 1905 г., возмужал, вырос на «3 сажени» политически, и через своего боевика-стачечника Григория Ивановича Петровского с кафедры Государственной Думы говорил о своей беспоротной готовности к новым боям.

III

В 1917 году завод открыто призвал к себе своих полулегальных, нелегальных, заточенных в тюрьмах и ссылке стратегов и политиков, чтобы под их руководством войти многотысячным отрядом в рабочие полки.

Одним из призванных был Григорий Иванович Петровский. Брянцы помнили его, читали его речи в «Правде», знали, что он сослан в Якутск, как депутат от рабочих в Государственную Думу, за выступление-протест от имени фракции большевиков против империалистической войны.

После июльских событий брянцы хотели послать ему телеграмму, чтобы он приехал к ним. Петровский в это время большевизировал Якутку, но как только в августе приехал оттуда на завод, шесть тысяч брянцев собрались в мостовом цехе.

Они слушали речь токаря механического цеха, боевика-стачечника, депутата - революционера, каторжника рухнувшей империи, а теперь большевика — передовика своего класса, готовившегося к штурму буржуазной республики. А он говорил о поджигателях войны, о том, куда они ведут Европу и Россию, о том, что фронт

должен повернуть штыки и установить прицел на поджигателей, что сделает это только та партия, которая передаст всю власть Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Брянцы ни одним словом, ни одним движением не выразили сомнений, колебаний, неуверенности. Они не дебатировали, не спорили. Шесть тысяч человек молчали и молчанием своим говорили: «Да. Правильно. Пора действовать».

«Пора действовать» — этот лозунг был, как курок на боевом взводе.

На задворках Чечелевки, в заброшенной комнатухе, снятой за двадцать рублей керенками у безыменного окраинного жителя, возник генеральный штаб бесшинельных, безоружных отрядов брянской «красной рвани». Это и были первые роты Красной гвардии, превратившие впоследствии завод, — по словам Квиринга, — в «крепость и арсенал революции».

Чечелевский «генштаб» был, — как выразился вальцовщик Самсонов, один из первых инструкторов, — «и казармой, и цейхгаузом и чем только хотите». В казарме не было винтовок, в цейхгаузе — гимнастерок, в канцелярии — бумаги и чернил. Были только красногвардейцы-рабочие, и были они вооружены волей к победе — тем, чего не имела тогда ни одна регулярная армия.

Литейщик-писарь вел запись в гвардию на подоконнике. Шли охотно. Вносили по рублю вступительных на берданки и револьверы. Иные выворачивали карманы и вместе с махоркой высыпали всю получку. Приходили старики. На порогах, у калиток, на пыльных дорогах жены порой подымали вопль: «Куда идешь?».

Организатором брянских красных отрядов был старик-шахтер Бондарев, начальник боевой дуганской дружины и в пятом году.

Обучение шло в три смены. Во дворе, в зале заводского комитета, в снаряжном цехе на два часа после каждой смены собирались рабочие гвардейцы, сбивали строй, тащили друг друга за рукав, кричали: «Становись сюда», «Становись сюда», «Становись со

мною». Не понимали команды, не знали дисциплины. Бывало так. Гвардейцы уgomонятся, затихнут. Винтовки проверены, разряжены. Дается команда: «По мишеням пли!» — сзади прибегает опоздавший со смены и палят боевым патроном. Единственному инструктору-красногвардейцу, бывшему ефрейтору, вальцовщику Самсонову на таких вот «строевых занятиях» прострелили шапку.

И все же эти солдаты революции, неуверенные в строю, слабые в дисциплине, несведущие в военных уставах, шли после смены в штаб, получали посты и дежурства. Стояли часовыми у машин, у турбин, на силовой станции, на водокачке и оберегали их от взрыва.

Стояли сутки, стояли по двое суток без смены в пиджачках, в пальтишках, в ботиночках. Приносили им хлеб, соль, колбасу.

Это были необычные войска. Они вызывали смех, удивление, презрение и страха у окраинных обывателей, когда вышли с завода на смотр, на чечелевский базар. На одном были сапоги, на другом — лапти, на третьем — валенки; один был в пиджаке, другой — в жилетке, третий — в блузе под ремешок, четвертый — в распушенной рубахе. На головах были картузы, шапки, кепки, шляпы. Но это необычное войско не замечало ни смеха, ни удивления окружающих. Здесь формировали первые роты. Штабные обходили ряды и спрашивали:

— Ты солдат?

— Солдат.

— Командуй ротой. Больше у нас командиров нет.

А после смотра, разбившись на роты и взводы, пошли в завком, куда перенесли штаб из Чечелевки, сложили оружие и больше не брали его на дом. Это было безмолвное, своеобразное выражение доверия штабу. До сих пор обычно гвардейцы с винтовкой не расставались даже, когда уходили на ночь домой.

В ноябре общегородской партийный комитет получил из Питера несколько вагонов с десятью тысячами винтовок, пулеметы и патроны. Их перехватили гайдамаки. Ночью в штабе, собрав-

шемся в снарядном цехе, решали: когда отбивать оружие. Чтобы не создавать паники, пошли днем. Сто человек брянцев двинулись на вокзал в бой против полка гайдамаков. Эта сотня выглядела так же необычно, как и на чечелевском смотре. Когда она проходила по широким, прямым улицам, по которым гуляли декабрьские ветры, вспугнутые городские обыватели ухмылялись: куда идет такая рвань, где им справиться с гайдамаками?

Грязная, в саже, в копоти, в просаленных ватниках, сотня, действительно, казалась смешной, но и грозной.

На вокзале она приостановила разборку оружия, приказала прицепить вагоны к паровозу. А когда гайдамак-офицер стал между буферами и сказал: «Только через мой труп пройдут вагоны с оружием»,—красногвардеец Самсонов взял его за ворот и сбросил в сторону. Офицер поднялся и все-таки попытался скомандовать: «Добродии, в рушницу!» Но все погибло,—гайдамаки были недвижимы.

Вагоны прицепили, и в тесном кольце сотня красногвардейцев двинулась к заводу. Гайдамаки-железнодорожники пустили наперерез маневровый паровоз. Произошло крушение. Оба паровоза и один вагон разбились. Но оружие осталось цело. Неудача была угрожающей. Немедленно сообщили об этом Брянскому заводу.

Под низким небом зимнего дня поплыл густой рев гудков. Из проходных ворот, из тоннеля, с окраинных дорог, по перекидным мостам и виадукам хлынули рабочие, их жены и дети. Передовые ряды подходили уже к вокзалу, а задние выходили еще из завода и с окраин. Слесаря с молотками, вальцовщики с клещами, катали с ломками и вилами, строители с топорами, женщины с дрючками, лопатами, с брусками железа затопили плотно. Иные бежали рысью. На бегу спрашивали: «Что ж, товарищ, неужели не было ничего меньше?»

Гайдамаки разбежались. Рабочие погрузили оружие в новые вагоны. Вагоны прицепили к паровозу. Поезд пошел медленно и двенадцать тысяч рабочих, окружив вагоны, запели ре-

волюционные песни и валом повалили с поезда к заводу.

На заводе выставили посты и два пулемета, а на митинге секретарь завкома записал в резолюцию клятву брянцев: оружие не сдавать, пока жив хоть один человек на заводе.

Завод вооружился. Он походил на арсенал. Явились новые инструктора—питерские матросы. Штаб расширился. Был уже начальник штаба, помощник начальника строевой и хозяйственной частей, казначей и два писаря—два брата-брянца.

В канун рождества брянцы узнали, что гайдамаки достали бронемашину и готовятся к разоружению завода. Заводской комитет решил отобрать броневедомоцикл. Семнадцать человек идут к гайдамацкому гаражу, обезоруживают часовых, затыкают им рты, вяжут руки. На рассвете, когда телефонные аппараты милиции и куреней разносят панику по городу, везжают на броневике на заводской двор. И красный флаг полощется в студеном ветре зимнего утра.

Брянцы не поколебались, когда после двухнедельных переговоров о возврате бронемашины, гайдамаки вышли из казарм, запрягли лошадей и двинулись по команде пьяных офицеров: «На позиции, на погром Брянского завода!» Не дрогнули они и тогда, когда стрелки часов в заводском комитете подошли к двенадцати, показали, что последняя минута гайдамацкого ультиматума истекла и завод задрожал от первого орудийного удара.

Отряды и роты брянцев вышли на Чечелевку, Кайдаки, Фабрику, сшиблись с гайдамаками и послали красногвардейку Маню в ревком сказать, что они идут.

Было грязно, серо, лил дождь. За каменной оградой губернаторского дома, в саду, в оледенелых деревьях свистел ветер. Здесь находился ревком. Кучка рабочих, плохо одетых, босых, озябших, в ожидании помощи отбивалась от гайдамаков, засевших с пулеметами и бомбометами в главном почтамте.

Старик-рабочий штыком просверлил каменную стену ограды, вставив в

отверстие, как в бойницу, винтовки, и пальнул по почте. Остальные товарищи, смеясь, благодарили старика за удачную мысль, тоже просверлили дыры и все били залпами.

Гайдамаки предложили им сдать, угрожали взорвать совет артиллерии. Бойцы не сдались. Истек срок ультиматума. По каменной ограде застрочили пулеметы. Отряд палил через дыры. На рассвете пришли брянцы. За ними—москвичи и питерцы. Почтамт ликвидировали в два счета. Путь Октября был расчищен. На часах у Совета стоял брянец - красногвардеец.

IV

Завод вошел в вооруженный спор властей живым. Он плавил руду, лил железо, сталь, прокатывал рельсы, собирал и клепал мостовые фермы, заряжал винтовку, подавал ленту в пулеметный приемник, делал бронепоезда. Он вооружал другие заводы, обмундировывал их.

Брянцы посылали по Днепру и по рельсам своему собрату по металлу и революции—заводу в Каменском—оружие, а сами ходили за ним в Александровск и в села, разоружали бандитов, дезертиров, бродячие отряды.

Шахтеры Донбасса помнят, как в опасные дни получали от брянцев винтовки и патроны. С ними, с каменцами, с донбассовцами мерили степные просторы Украины, от Екатеринослава до Киева, от Белой Церкви до Таганрога, переходили Днепр и Дон, были на Висле, топтали снега и льды Сибири, рвали ноги на диких тропах Кавказа.

В отряды шли добровольно. Вместо двухсот приходило четыреста. С каждым отрядом шел один штабной. Штаб таял. Никто не хотел оставаться: надо было вооружать эшелоны, в одном месте наладить путь, в другом разобрать, тут дать помощь, туда послать охрану. Егоров требовал. Антонов требовал. Отправлен эшелон на Знаменку, выслай в Юзовку. На заводе—одна смена, другая—по домам. Гудка не дашь, людей не встревожишь. Штаб разрывался. Заседания, телефоны, телеграммы выматывали силы. Штабные смот-

рели порой друг на друга ничего не понимающими вылупленными глазами.

Приходили отцы:

— Где мой сын?

— Сына твоего убили.

Приходили жены:

— Где мой муж?

— Мужа твоего нет.

Надо было устраивать раненых, насильно оставлять их в больницах, выдавать им пособия, выдавать им жалование, бороться с городскими спекулянтами, делать обыски и облавы. Штабные не выходили, не ели, не раздевались, не мылись. Они сами хотели влиться рядовыми бойцами в уходящие эшелоны.

Завод не мог работать и одновременно бить оккупантов Вильгельма, бандитов Махно, партизан Григорьева, гайдамаков Рады, солдат Деникина.

Каждый вырывал из тела завода живой кусок: балки из корпусов, уголь, лес, шпалы, все то, чем можно было согреть топки паровозов, чтобы двигались колеса распатанных теплушек. Работа на заводе замерла. Рабочие на запутанных дорогах гражданских битв решали судьбу своего класса. Кто не пошел по этим дорогам, разбрелся по далеким и близким концам сражавшейся страны в напрасном желании найти работу и хлеб.

И только немногие коренники-брянцы остались на заводе и каждый день, каждую ночь шли: доменщики к донам, прокатчики—на привода, электрики—на силовую станцию, мастера-мартеновцы—к своим печам. От каленых морозов тех зим берегли они трубы, воздуходувные машины, водопровод, турбины, прокатные моторы, цилиндры. Они согревали машины и привода, сами согревались, стеклили машинное отделение, чтобы сохранить в нем тепло для будущей жизни завода. Зарывали уголь в мусор, в щебень, под снег и добывали его оттуда, как из шахт. А когда ночь разрухи погасила мартены и домны, из заводских труб не клубились дымовые дорожки и безмолвие корпусов только порой будили била сторожей, брянцы кормили голодную силовую станцию, чтобы спасти свет и воду.

К заводу и окраинам подошел голод и тиф. Тифозная вошь выводила людей из заводских корпусов, а голод покачивал их на ходу, подкашивал их у порогов квартир, на снегах проселочных дорог, когда в одиночку, семьями и вместе они ходили в деревни за хлебом.

Шипечник труболитейного цеха Чугунов умер, охраняя вагранки мастерской. Накануне, в 11 часов вечера стал на посту, на рассвете украл у товарища кусок хлеба, в 7 часов утра, когда окончилась смена, хотел уйти домой, упал, поднялся, прошел несколько шагов, снова упал... Потом опять подымался, ползал, падал, избитый и окровавленный. Когда зимнее утро засерело между вагранками, пришли на смену товарищи и один указал другому:

— Чугунов умер.

Они стали на охране литейного, а на другой день взяли мерзлый труп, лопаты и пошли на кладбище.

Умирали семьями. Семья машиниста парового крана Кирюшкина умерла в два дня. Сначала тифом заболела голодная жена, потом муж, а за ними дети. Кто-то принес в дом кусок хлеба. Тифозные ели. К вечеру умер Кирюшкин. На другой день умерла «баба». Никто не заходил. На третий день вымерли дети.

Умер от голода слесарь инструментальщик Горбонос. Карета скорой помощи рассортировала девять его детей и вместе с трупом отца увезла семь детских трупики.

Смерть наступала на завод. Во славу ее строительный цех работал гробы. Здесь «продукция» не убывала, а возрастала.

Продуктогуб поставил на заводе просодку. Отходящая шелуха стала пищей рабочих. Одни ели ее, добавляя горсть муки, другие ели без муки. Пища эта не переваривалась не только желудком человека, но и животного. От нее умерло несколько брянцев, пали собаки.

Ели сало павших собак. Этим салом смазывали шейки валиков при прокатке железа. От него несло такой вонью, что даже брать и закладывать

его в валики не всякий отваживался. И все же его ели.

Тайно ели псину. Собак ловили дети. Они заманивали их, убивали. Еще живет семья, в которой бабушка не знает, что ела когда-то собачину. Они от нее скрывали правду. И взрослые и дети не выдают эту тайну ни бабушке, ни соседям, живущим через тонкую перегородку. Есть, очевидно, что-то омерзительное в этой тайне.

Соль и мука были в эти времена псины и трупного сала величайшими ценностями для брянцев. Матери, жены и дети уходили и уезжали за ними в далекие хутора, в казачьи станицы, в Гаврию.

Клади доски на тормозных тягах, вытягивались вдоль них с детьми, засыпали в дороге, во сне роняли грудных детей, возвращались порой без ноги, без руки, а иногда вовсе не возвращались.

Теперь вспоминают тяжелое, как смешное. Рассказывают об одной брянской бабе, что она выменяла в деревне поросенка за ведро. Возвращалась на крыше теплушки. Чтобы не упасть, привязала поросенка к себе, себя к мужику, мужик привязался к красноармейцу. Ночью, когда вся эта цепь спала, поросенок свалился с крыши и завязал. Переполошенная баба кинулась спросонья за ним, как за счастьем, потянула за собой мужика, мужик — красноармейца. Поезд уходил. Сзади доносился пронзительный визг поросенка. Свалившиеся, очевидно, долго не могли распутаться.

Производство подошло к нулю. Приходили в цеха, делали отметки о явках, застаивались у холодных печей, у недвижных проводов, точно молча бросали уголь, следили за плавкой, прокатывали рельсы, — точно выполняли все процедуры, к которым привыкли в работе из года в год, из смены в смену.

Проверяли — кто что взял. Осматривали крыши, каркасы, шпалы и думали, как уберечь, как сохранить завод. И вместе с тем сами делали ведерки, ложки, зажигалки, кружки, кастрюльки, брали медную паровозную арматуру, уносили в карманах дверные петли

со складов и все это делали тайком, стараясь скрыть друг от друга. Не расхищали, не грабили, брали то, что можно было пронести под полой, хотя никто не проверял. На заводе остался один сторож. Ни шума, ни звука, ни стука, ни дыма. Выбитые стекла. В вороньем помете—домны, мартены. На высоких башнях кауперов—вороньи гнезда. Станки на боку. На них пыль, ржа. В глиняном тупике—кладбища паровозов, без тендеров, без будок, без частей. Одни котлы на скатах. Пути завалены. Коллектор-бассейн, куда сливают для хранения расплавленный чугуи, покрыт курганами мусора. Рудные горы проросли травами. Травы пошли по всему заводу. Осыпался недостроенный виадук, и пыль его через разрезанные крыши корпуса слоями легла на машины.

У

Гражданская война потушила завод. Она же призвала его к жизни. Нужна была броня для поездов. Ее могли прокатать брянцы.

И вот в двадцатом году после первоймайской демонстрации, на которой были произнесены слова о международной солидарности, о победе революции и о том, что заводы отданы революцией рабочим, несколько брянцев по вызову нового рабочего правления, без гудка, не вешая марок на контрольной доске, ни у кого не отмечаясь, вошли весенней ранью в завод. Трусами лежали корпуса в солнечном утре. Старые квалифицированные рабочие с мастером Орленко впереди подошли с лопатами, кирками к приводу № 4. Из земли, из мусора, из обломков, как-будто при раскопках могил, извлекали механизмы, походившие на заржавленный лом. Без машин, без огня, руками они разнимали, чистили, исправляли, собирали их.

А когда механизмы были готовы и не было тележки для подачи болванок, старший мастер Орленко отдал команду: «Со всевозможных частей разных машин комбинировать таковую». И таковая тележка возникла.

Она и теперь «для наглядности» возит болванки от печей к приводам.

В июле месяце привод № 4 с грохотом, эхо которого ударило по беззвучным пролетам корпуса, пропустил через вальцы болванку. Это был первый лист брони для поездов революции.

После этого все опять замерло. Но в первом вздохе завода рабочие почували, что он жив и его можно отходить.

В августе двадцать первого года завод снова услышал команду: «Привести в боевой порядок проволочный привод № 9».

С сентября пришла зима. Она хлестала холодным дождем, швыряла мокрым снегом через проломы крыш и стен, морозами пошла по цеху—машины и железо стыли в ветрах. Рабочие оставляли ремонт, стеклили окна, латали крыши, бросались к опасным местам, снова ремонтировали привод. Жуткая бодрость была в этой работе. От трех-четыре ударов кувалдой по зубилу люди падали. От десяти-пятнадцати движений напильником изнемогали. У всех были опухшие лица. Никогда еще ни один рабочий ни за какую цену не работал так, как работал в это время горсть брянцев на приводе № 9 за восьмушку подсол нечного, полфунта пшена и два фунта муки.

По телу привода № 9, по телу всего прокатного прошла дрожь—кончилась ночь разрухи.

У руля завода стал энергичный шахтер из Донбасса, Щербина. Он быстро, решительно и твердо провел государственную директиву платить рабочему продовольствием, а не деньгами. Он сам, как шахтер, нутром чувал, что паек взорвет упадок духа у остальных рабочих и соберет их всех вокруг тех немногих, которые воскресали привода № 4 и № 9.

Он говорил рабочим:

— Нужно сделать то-то и то-то.

Ему отвечали:

— Мы голодны.

Он говорил:

— Давай работу.

Они повторяли:

— Мы голодны.

— Я дам паек.

— Дашь! — отвечали рабочие, получали картофель и муку и с шутка-

ми: «Задами раздуем печи»—шли к домам.

Он создал бригаду из брянцев. Давал ей вагоны браку проволоки, железа, и бригада в деревнях обменивала металл на картофель, муку и сало. Его же бригады отбивали у белых и петлюровцев уголь и маршрутными поездами отправляли его в адрес Брянского завода.

На восстановительном фронте завод выступал порой, как сильный партизан: он перехватывал, отбивал и забирал эшелоны угля не только у чужих, но и у своих. Завод входил в производство с навыками гражданской войны.

У руля становились другие, за другими—третьи с такими же партизанскими ухватками, порой с разгульными привычками, но каждый из них был рабочий и обладал одной памятью, одной волей, одним талантом: памятью о заводе, волей восстановить его и талантом—вливать в него энергию масс.

Восстановители, кто бы они ни были—рулевые или кочегары, жили для производства. Оно было для них как бы продолжением их физического существования. Вот почему так суровы были они к тем, кто все еще бессмысленно пытался сохранить верность акционерам и изменить рабочим и их делу. И вот почему они доверяли управление своим делом тем, кто поверил в них и стал с ними.

Завод восстановился. Он перестал существовать, как собственность акционеров. Он стал собственностью Советов, скинул с себя—по решению всех рабочих—старое капиталистическое имя и назвался именем большевика Петровского.

VI

Новая жизнь вошла в окраину трамвайными рельсами, мостовыми, электрическим светом, садами. Раньше «брянец» гнал пехтурой на дневные и ночные смены то по сугробам снега, то по непролазной грязи, то по сухим топям пыли, а теперь «петровец» по бесплатной книжке проезжает трам-

ваем эти же версты. Пыль и грязь придушены мостовыми. Где раньше пьяный хулиган ночной порой заплетался ногами в невысыхающем болоте,—растут сады, парки, электрический фонарь выгнал тьму, а с нею и окраинную тоску. В праздники и часы отдыха сады заполняются физкультурниками, детворой и рабочими. Сады вообще являются новой чертой на лице окраины. «Никакому чорту не пришла бы даже мысль в голову разбить парк на 10 десятин на пустырях Чечелевки, а вот теперь это место расчищено, засажено деревьями, цветниками, для рабочего человека поставлены скамейки—посидеть, отдохнуть, почитать».

Об этом факте, который стал обычным, как и о множестве других, рассказывают все петровцы, когда спрашиваешь их о житье-бытье. Таких обычных фактов много. Петровцы жили с ними и не замечают их.

Спросишь:

— Как живете?

— Да живем.

— Как же живете?

— Да так.

— Так что же, у вас ничего нового?

Как было, так и есть?

— Как ничего нового? Новости есть. Вот цераккооп наш — двухэтажный: был один этаж, стало два.

— Больше ничего?

— Как ничего? — и петровец резкими жестами, точно разрывая приглядевшуюся картину, указывает вверх, вниз, под ноги, по сторонам, — все это обводит одним кругом, как бы замыкал в него и цераккооп, школу-семилетку, и клуб «Вулкан», электрический фонарь, бегущий трамвай и белый фасад театра.

«Новости есть», но, конечно, Кайдаки, Фабрика, Чечелевка, где живут петровцы,—не советская Аркадия. Слишком толстый слой старого лежит на этих окраинах, чтобы в десять лет можно было считать его. И сейчас на уснувшей улице шарахается в сторону женщина от незнакомого человека, подозревая в нем озорника или хулигана.

Раньше окраина ничего не имела, кроме кабаков и кулачных боев. Те-

перь петровцы создают материальный фундамент для нового быта. Помимо школ, клубов, кино и театра у окраины стал Дворец Охраны Здоровья и сбрасывает леса Дворец Культуры. Меняется физическое лицо окраины. Фундаментальные общественные здания растут не в городе, а именно здесь, на окраинных улицах, у перекрестков дорог, теряющихся в дворах заводских территорий.

Трудно угадать тип будущего советского города, но если Днепрпетровск будет его прообразом и если будут делить его на старый и новый, то новым городом будет окраина.

Окраина еще не стала центром новой умственной культуры. Она еще не сбросила груза старого быта, потому что в жаркой пивнущке доживает кабацкая царица Матрена, еще до прошлого года хулиганы ходили с финками и паролем: «Знай, Кайдаки идут». Но в ней уже выросли поколения тех отцов, которые воевали, восстанавливали, управляли, а теперь неумоимо завершают дело своего класса.

Сын того Николайчика, который восстановил четыре завода, двадцать две шахты, а теперь управляет цехом завода им. Петровского, ведя непрерывное наступление на «неурядицы» производства, — сын этого Николайчика работает в литейном, а вечером сидит над учебниками, техническими пособиями, математическими форму-

лами. Он хочет продолжить дело отца во всеоружии. Он знает, как плохо отцу без этих книг, чертежей и формул. И потому с комсомольского собрания, из ячейки Осоавиахима или из физкультурного кружка он спешит домой и садится за книгу.

Тот же напор и активность продолжает развивать до сих пор и отец его. Когда стал вопрос о постройке Дворца Культуры и не было достаточно денег, Николайчик поехал в Харьков к т. Петровскому, к т. Чубарю, из Харькова в Москву в ЦК металлистов, к т. Сталину, к т. Рыкову и возвратился на завод с ассигновкой на Дворец из государственных средств.

Петровцев много. Их два десятка тысяч. Но только сотни из каждой тысячи идут в голову завода, оплодотворяют его своим творчеством, прошивают его работой многочисленных организаций.

И когда бываешь в их хозяйственно-производственном парламенте, где они обсуждают, решают самые незначительные—бытовые—и самые серьезные—государственные—вопросы, от домашней печки и церабкооповской рубашки до вопросов НОТ'а, себестоимости продукции и рационализации, то видишь, что эти бывшие брянские «разбойники» за десять лет борьбы и власти созрели в петровцев-строителей.

Книжное обозрение

1. С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. „Жестокость“. Г. Якубовского. — 2. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ. „Февраль“. М О. — 3. МИХ. СЛОНИМСКИЙ. „Средний проспект“. А. Шафир. — 4. А. В. СУХОВО-КОБЫЛИН. „Трилогия“. И. Кубикова. — 5. КОНСТ. БОЛЬШАКОВ. „Путь прокаженных“. Б. Анибала. — 6. Д. КРУТИКОВ. „Черная половина“. С. Пакентрейгера. — 7. ДАВИД ХАИТ. „Кровь“. Г. Мунблит.

С. Н. Сергеев-Ценский. — «Жестокость». Повести и рассказы. Изд-во «Мысль». Л. 1928 г. Стр. 229.

Книга повестей и рассказов, объединенных общим заглавием «Жестокость», вышла VIII-ым томом полного собрания сочинений Сергеева-Ценского и содержит в себе семь произведений. Все эти рассказы и этюды с различными оттенками воплощают основную идею о жестокости мира.

Изменилась форма, изменилась тематика, окреп и реалистически оброс сюжет. Сущность осталась прежняя, художник лишь тверже прежнего укрепился в своем мировоззрении.

Природа жестока, люди жестоки и только вещи иногда неисповедимыми путями играют роль спасителей от жестокости и несправедливости, — как об этом рассказано в этюде «Хутор «Бабы», где выстрел убивает не человека, а истинную виновницу кражи монисты — телку Маньку.

О жестокости человеческой потрясающе рассказывает открывающая книгу заглавная повесть, где описаны расправы кулаков с шестью комиссарами. Эпизод из эпохи гражданской войны в Крыму изображен в мастерской оригинальной форме. Нарисована биография каждого комиссара, показан их жизненный путь, приведший одних в партию, других к ответственной работе рядом с партийцами, путь, закончившийся так трагически — всех шестерых зарыли живыми в землю. Первобытно жестоки крестьяне, руководимые «богобоязненными» стариками и жулаками, жестоки люди и условия, создавшие капитана Коняева и его сотоварищей по больнице для душевно-больных (рассказ «Капитан Коняев»), жесток заведующий совхозом «Красный рай», гу-

блящий ценные деревья, убивающий своего ребенка, бессмысленно жестока стихия моря — мир жесток. Что же остается человеку в этом мире, в котором, если и бывает в чем-нибудь «какой-то смысл», то и смысл этот — «туманный, как всякий смысл вообще»?

«Невыносимо без мечты... Тускло, тоскливо, очень душно»... Об исканиях мечтателей, о душе детей, художников и охотников повествует рассказ «Аракуш». Птицелов и голубятник Авдеич рассказывает ребенку о фантастической птице аракуш, олицетворяющей идею птичьей красоты: соловей против него — серяк, у аракуша грудь в разноцветных лентах и выводит он двадцать четыре колена, а соловей только двенадцать. Аракуш — родной брат «Синей птице». Образы, созданные литературной школой символизма, все еще прочно владеют художником.

Человек создает себе мечту и стремится к ней, человек не может удовлетвориться лучшими созданиями природы, известными ему, он верит, что есть создания еще выше, скрываются в неприступных местах: ...«не хочу, чтобы соловей был предел птичьей певучести!» — «невыносимо без мечты». Каждый человек всю жизнь ловит своего аракуша, но жизнь жестоко разочаровывает его, вместо аракуша в силки попадает скромная птичка, варакушка. Вместо «тайнства брака» жизнь преподносит свадьбу лысоватой беззубой старухи и слюнявого старика (рассказ «Тайнство брака»). Жизнь разрушает мечты, но человек продолжает упорно их создавать, хотя знает, что он бессилен перед стихией, напр., моря: «оно дарит и отнимает, рождает и топит, оно создает города у берегов и иногда подымается бурно и их поглощает...

Но разве можно чувствовать за это ненависть к морю?» Отсюда, из этого сознания, рождается покорность стихии:

«И пусть, что хочет, то и делает с нами море: захочет обогатить нас сказкой и тайнами—благословенно! Захочет утопить в своей бездонности— пусть топтит: благословенно и тут. Оно — стихия, оно—изначальность,— и как осудить его нашим крошечным человеческим судом?»

Так последователен писатель и художественно выразителен в иллюстрациях своего мировосприятия. С ним можно и следует спорить и не соглашаться, но трудно и почти невозможно пройти равнодушно мимо его мастерства. Тем более, что современный читатель, поспорив, сделает выводы не о покорности стихии, а о необходимости борьбы с ней, об изменении общими усилиями людей жестокого первобытного лица мира, того мира, в котором настоящая человеческая история едва только начинается.

Г. Якубовский.

Тарасов - Родионов. — «Февраль». Роман-хроника. ГИЗ. Стр. 668. Цена 4 р. 50 к.

Лежит книга белой глыбой на столе. О чем писать—о романе или о бумажном кризисе, который, очевидно, будет угрожающе расти параллельно с ростом вкуса у авторов (не у читателей!) к писанию трилогий, романов, замечательных, главным образом, почти исключительно своими размерами.

Жил-был поручик Тарасов-Родионов. У него жена, дети, брат, знакомые и приятели. Поручик примкнул к революции в ранние дни февраля, толкался в Государственной Думе, связался с большевиками, сам стал большевиком. Все это, может быть, не плохо. Но плохо то, что Тарасов-Родионов сделал центром мироздания свою собственную персону и решил, что все его мысли, переживания, сомнения, разговоры с самим собой и с другими столь примечательны, что если их размазать на 700 страниц, то получится исторический роман. Вышел, однако, не роман, или, во всяком случае, очень плохой роман.

Характер словесного материала, глубина захвата, композиция романа, вернее, всякое отсутствие композиции, развертывание действия дают полное основание утверждать, что перед нами среднего качества газетные «впечатления» очевидца, не утрудившего себя тем, чтобы дать им внутреннее освещение, не сумевшего зажечь их внутренним огнем, дать им четкие формы и нужную глубину.

В предисловии автор обещается «правдиво оживить уголки отгремевших дней первых наших классовых битв». Действительно, от автора-коммуниста можно было ожидать внутреннего освещения событий, выявления их классовой подоплеки. Но этого нет. Сам автор, как он выявляет себя в романе, крайний индивидуалист, интеллигент-одиночка, стихийно был поднят к революции, к партии. С огромным самолюбованием и приторной самовлюбленностью говорит он о своих действиях, данных ему поручениях и назначениях. Неотступно до назойливости на всех страницах перед нами—бравый поручик, смелый и находчивый, талантливый, одерживающий победы: то в качестве оратора, выступая вместо Зиновьева (вместо Зиновьева!..), то самолично выявляющий каждый раз перед исполкомом Советов природу военщины и предательскую сущность Временного правительства. К сожалению, выпячивание самоотверженного поручика идет во вред действительному освещению событий, исторических фигур и лиц, бывших в это время на арене истории. Дворец Кшесинской, большевистский центр, работа военной комиссии большевиков, деятельность ЦК партии, приезд Ленина и апрельские тезисы—все это между прочим, бледной тенью маячит в романе, фигурирует в мыслях, разговорах автора с самим собой. Почему-то выпячено воззвание межрайонцев, на которое все время ссылается автор. Действительная картина событий отсутствует. Исторические лица от крайних левых до крайних правых в огромном числе упоминаются в романе с какой-то залихватской небрежностью. Ленин, Сталин, Молотов, Подвойский,

Каменев, Зиновьев и др.; меньшевики—Церетели, Чхеидзе; эсеры — Гоц, Чернов и др.; Милюков, Родзянко, Шульгин и целый ряд других фигурируют без всякой серьезной попытки показать их действительную роль, показать столкновение партий и групп на исторической арене, их классовую сущность.

В романе совершенно отсутствуют материалы, документы эпохи Февральской революции (вспомним самоотверженную работу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». В этой книге автор уже через год после Октября сумел дать по документам и материалам блестящую картину Октября, как массовой народной революции).

Но если в романе не обрисованы события и факты, не даны столкновения исторических классовых сил и в то же время нет какого-либо художественно-беллетристического построения, в котором бы фигурировали действующие исторические фигуры, то по какому признаку он может быть причислен к историческому роману, хотя бы роману-хронике? Это, вернее, жизнеописание автора — не больше.

Над всем этим стоит серьезно задуматься еще и потому, что томик этот — довольно-таки обемистый — является только первой частью трилогии «Тяжелые шаги». Первый шаг действительно очень тяжелый.

А как насчет следующих тяжелых шагов трилогии?

М. О.

Мих. Слонимский. — «Средний проспект». ГИЗ. 1928. Стр. 161. Ц. 1 р. 20 к.

После «Лавровых» Слонимский шагнул с большой улицы в переулочек. Он переселил героев своих на Васильевский остров и изменил их биографию. Но смежность тем, некоторая родственность характеров, а также — одинаковая манера повествования сближают эти две книги. С легким ироническим смешком, не меняя ритма, как будто говоря о чем-то слишком знакомом, одним и тем же тоном Слонимский рассказывает о вещах разного порядка. Из интеллигентско-мещанской среды, которой не чужд известный

идеализм («Лавровы»), Слонимский в «Среднем проспекте» переносится в среду плоского бесцветного мещанства. Этим определяется обмельчание характеров, снижение эмоций и сужение кругозора. Именно благодаря этому, в характеристике главного действующего лица повести — Павлуши — Слонимский достиг большей конкретности и типичности, чем это было в «Лавровых».

Как в первом романе, так и здесь, Слонимский рисует две разновидности, два слоя одной и той же общественной группы. В лице Павлуши автор выводит современное служилое мещанство, в лице Масютина — мещанство торговое. Скучновато, но не без иронической усмешки, пишет автор бесцветную биографию маленького ограниченного обывателя (Павлуши). Он доводит своего героя до того момента, когда тот получает свою социальную физиономию: его устраивают на службу, и он делается чиновником, и чиновником ревностным. Главную роль в его существовании и деятельности играет чувство самосохранения. Он далек от каких бы то ни было общественных стремлений, он сознательно отстраняет от себя все, что может вывести его из состояния покоя, что ведет «к опасностям и борьбе». «Я не рабочий, а что дед был крестьянин, так это дед, а не я. Какого чорта мне заботиться обо всем этом?». Жена и ребенок придают его жизни «внезапный» смысл, но смысл этот временный и покой — призрачный. Он не верит в дело, которому служит, и, не веря, ощущает непрочность своего положения. Ему не чужды бывают приступы тоски, но тоска и скука его — плоская, бескрылая, а неудовлетворенность своим подчиненным положением наводит на жалкие и нудные размышления и вызывает в нем скрытую враждебность к революции. Он — Павлуша — урбанизированный, обмельчавший российский Обломов. Его враждебность прячется за угодливое прислуживание революции.

Другими чертами наделяет автор торговца Масютина. Масютин — активен. Главный двигатель в его деятель-

ности — выгода, которую приносит ему сегодняшний день. И ради выгоды он служит «и нашим и вашим». Его образ, намеченный в начале повести верными штрихами, потом ступшевывается и внешне ненужного драматизма совершенно искривляется.

Добрые намерения автора — противопоставить мещанской стихии другую силу, борющуюся за «завтрашний день» и творящую — очень призрачную. Но здесь и сказывается его неспособность. В его художественном обиходе нет соответствующих образов, а преднамеренно введенные лица или бледны и мало значущи (следователь — Максим, обрисованный, главным образом, со стороны своих любовных дел), или искусственно — тенденциозны (резонерствующий помощник следователя), или беспомощны в своем одиночестве и наивном простодушии (крестьянский паренек — комсомолец — Гриша Масютин, беспомощно гибнущий под ударом отцовского кулака).

Внутренняя неслаженность сказывается и на композиции повести. Она сшита белыми нитками, и сшита скверно. Преднамеренность видна в ней отчетливо, как через дырявое решето. Немотивированные перескакивания из Ленинграда в Вологду и Архангельск, ввод лиц, мало связанных с основной фабулой, налет таинственности и последующего раскрытия, неуместно использованный прием детективной литературы, наконец, неудачная концовка, — все это говорит о тщетных попытках автора найти правильную линию.

Стремление автора к обобщениям терпит неудачу. Жало авторской иронии не достаточно остро. Вооруженный только им (резонерские побрякушки не в счет), он не сможет ни вызвать у читателя соответствующих эмоций, ни победить даже скуку.

Анна Шафир.

А. В. Сухово-Кобылин. — Трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». ГИЗ. 1927 г. Стр. 560. Ц. 2 р. 25 к.

Единственное полное издание трилогии Сухово-Кобылина вышло пятьде-

сят восемь лет тому назад и давно стало библиографической редкостью. Настоящим изданием заполняется серьезный пробел, и, конечно, выход трилогии А. Сухово-Кобылина можно только приветствовать.

Трилогия Сухово-Кобылина имеет значение не только для истории театра, но и для истории литературы. И теперь, в свете особого восприятия трагических конфликтов прошлого, пьесы Сухово-Кобылина, вскрывающие деяния корпорации чиновных воров и грабителей, приобретают, во всяком случае, не меньший интерес, чем лучшие пьесы Островского.

Вступительная статья Л. Гроссмана устанавливает связь между «необычайным личным опытом» драматурга и созданными им жуткими образами далекого прошлого. В области же формальной Л. Гроссман устанавливает влияние гоголевской традиции с некоторыми приемами такого мастера сцены, каким был французский драматург сороковых годов — Скриба. Это сочетание и дает «новый своеобразный стиль трагического фарса».

Но за пределами этой интересной статьи остается возможность вскрыть, — из самой конструкции образов трилогии, — переживания и идеологию той общественной группы, к которой принадлежал А. Сухово-Кобылин. Тяжелая личная драма могла обострить умонастроение автора трилогии, но основные попытки его мирозерцания определяются бытием крупного землевладельца-аристократа. Л. Гроссман правильно отмечает, что автор трилогии «неизменно хранил свой необычайный и выдержанный облик сторонника сильной власти, старого крепостника, помещика-феодала, чуждого наступающее завершение своего социального типа». Это положение останется непрекаемым и для того будущего исследователя, который попытается дать социологический эквивалент на основании изучения художественных созданий Сухово-Кобылина.

К прекрасно изданной книге приложен обстоятельный обзор сценических толкований текста трилогии, сделанный Вас. Сахновским, а также инте-

ресный библиографический обзор изданий Сухова-Кобылина и литературы о нем, данный Н. Кашиным.

И. Кубиков.

Конст. Большаков. — «Путь прокляженных». Рассказы. Изд. «Моск. т-во писателей». Стр. 228. Ц. 1 р. 50 к.

Большакова меньше всего можно обвинить в однообразии: его одиннадцать рассказов, собранных в этой книге, дают целую галерею людей, разных по национальности, показывают разные эпохи и быт.

Станичники, гибнущие от проказы, николаевский солдат, отказавшийся во время казни декабристов «по внутреннему сознанию... сполнять» устав, брошенный рабочими в огонь, белое, обреченное офицерство, английский углекоп, по воле случая ставший штрейкбрехером, совслужащий - расстрелчик, обитатели женского монастыря и французские цветные войска, польский кавалерист, отпустивший арестованных, болгарский революционер, спровоцированный охранкой, — вот те многочисленные персонажи, которые проходят перед читателем в его рассказах, заставляя предполагать, что круг интересов автора широк и что автор многое видел.

Однако стремление рассказать обо всем увиденном и услышанном может привести к нежелательной разбросанности, а это именно и случилось с Большаковым. Раздробив свое внимание на многом, он упустил важные детали и его рассказы производят впечатление более или менее удачных эскизов и этюдов, а не вполне отделанных и завершенных вещей.

Читать их не скучно, но ни один из них не привлекает пристального внимания и, пожалуй, трудно какому-либо из них отдать предпочтение.

Подробнее разработать первый план, изменить перспективу, тверже очертить некоторые фигуры, — вот что нужно было бы сделать Большакову, чтобы его рассказы воспринимались как цельные и законченные.

В упрек автору можно поставить также и отдельные стилистические

промахи. Быт XVIII — начала XIX века в рассказах о первом фабриканте и николаевском солдате дан бледно и, кроме того, читатель вправе не верить тому языку, на котором разговаривают персонажи.

Нельзя сказать, чтобы эта книга была случайна для автора, она не заставляет сомневаться в его писательском умении, однако Большаков может писать и лучше и интереснее того, что в ней собрано.

Борис Анибал.

Д. Крутиков. — «Черная половина». Роман. И-во «Недра». 1928 г. Стр. 164. Ц. 1 р. 25 к.

Два мотива попытался разработать в своем небольшом романе Крутиков: сопротивление консервативных «черных» сил дореволюционной деревни свежим и молодым советским побегам, распад старой семьи во время революции и рождение новой в нынешней обстановке. Через разные этапы этих противоречивых процессов автор старается провести деревенского парня Тихона Малютина. Роман сразу открывает ту вершину, которую Тихон, выходя из заброшенной глухой деревни Чалмашня, достиг благодаря революции.

Тихон Малютин — в вузе. «Все внимание товарищей и профессуры» сосредоточено на нем. «По углам шопот, за спиною с боков шопот, любопытные, завидующие и влюбленные взгляды». «Черноземная сила... Это Тихон Малютин... Вот он... Он, да этот... Тихон Малютин... Будущее светило».

Но вот «светило» на время вырывается из своей блестящей учебной орбиты. Первая связь его с вузовкой — поповской дочкой — становится постепенно «посягательством» на его «свободу». Второе посягательство приходит из деревни. Умиравший отец в письме просит, «чтобы Тихон приехал распорядиться хозяйством». Тихон нехотя покидает науку, оставляет вузовку, едет к отцу-деспоту.

Деревня сразу встречает его «черной половиной» — парни требуют от него либо денег на выпивку, либо... чтобы он спел петухом. Автор развер-

тывает события жизни Тихона в обратном порядке. Он рисует его прошлое и прошлое его семьи. Деспот-отец заставил некогда второго сына Якова пойти в монастырь. Как только вспыхнула гражданская война, Яков сам оставил монастырь, женился на «комбедихе» Водьке и ушел на фронт. За ним потянулся Тихон. Раненый Яков умирает и завещает свою жену Водьку брату.

Тихон, появившийся в деревне, после пятилетнего пребывания на фронте, уже вузовцем, женится на Водьке после смерти брата и снова возвращается в город к учебе.

В начале, где дана вузовская обстановка, встреча Тихона с поповской дочкой и пробуждение в нем полового инстинкта,—роман не лишен правдивости. А дальше? Дальше все наивно, скользит по поверхности явлений, лишено нерасторжимых художественных сцеплений. Тихон ищет в деревне «светлых пятен». И, наконец, отыскивает одно такое светлое пятно в лице секретаря ячейки — Мелекина.

Но ни Мелекин, ни новая жизнь не показаны, не нарисованы, не раскрыты в делах и работе. Мелекин дан в разговорах с Тихоном, через эти разговоры должна предстать перед читателем жизнь советской деревни. Разговорам этим можно верить, можно им и не верить. Да и они сами по себе очень умильны, наивны, сладкозвучны, хотя и дозированы некоторыми поправками критического порядка.

— От черной половины на светлую тень падает,—резюмирует добродетельный Мелекин положение своей деревушки. А сам автор, давший мрачное название роману, ни в какой мере не приоткрывает завесы над страшилищами и пугалами старины.

Одним из таких страшилищ должен предстать отец Тихона, даже тень Грозного призывает на помощь Крутишов, чтобы внушить читателю отвращение и ужас к этой фигуре.

Но наивно-утопический прием автора не дает никакого эффекта.

Отец Тихона не дан ни изнутри, ни в действии, а в разговорах божественных и наставительных или со слов других людей.

Есть такое существенное правило для всякого художника, молодого и зрелого: не обещай больше, чем можешь дать. Надо раскрывать такие обещания, как «будущее светило», и оправдывать такие сравнения, как сравнения с Грозным. Крутиков очень много пообещал в этом романе и кой-какие обещания выполнил только в начале. Конец романа мало доказателен, особенно в той части, в которой автор пытается развенчать Тихона Малютину, оторвавшегося от деревни, впитавшего нежизненные качества чужой среды, не знающего, как войти практически в новую жизнь, как построить свою семью.

С. Пакентрейгер.

Давид Хаит. — «Кровь». Повести. Изд. «Недра». Москва. 1928 г. Стр. 163. Ц. 1 р. 30 к.

В книжке Д. Хаита две повести. Обе они об одном — о борьбе старого с новым, старого с молодым. Отцы и дети воплощают здесь два эти начала. В первой повести отец-часовщик, возмущенный художественными наклонностями сына, выгоняет его из дома. «Дети должны жить, как отцы», — вот жизненное правило старины.

Сын становится художником. Он пишет картину, в которой воплощает свою борьбу с отцом. «Старик вцепился тяжелыми литыми лапами в горло сына, но сын вырывается, протянув руки к солнцу», — таков сюжет картины.

Эта повесть автору не удалась. Надуманный психологизм, избыливающий неуклюжими сравнениями и цветистыми метафорами, не гармонирует с той насыщенной бытом обстановкой, в которой развертывает автор переживания своего героя. Голос женщины, «сухой, как фиалка в книге», не вяжется с криком ребенка, которого женщина успокаивает. О быте еврейского захолустья нужно писать другим языком. Зато прекрасно использован и показан этот быт во второй повести Д. Хаита.

Герой повести, портной Брондес — резко очерченная живая фигура. Он еще идет по стопам своего отца. «От сидячей портновской жизни Брондес

ссутулился — сутулым был и его отец». Но с детьми его творится что-то неладное. Дети идут какими-то новыми, им одним известными, путями. Дочь учится танцам, сын кончает с собой, а другой сын, Исидор — центральная фигура повести — становится «комиссаром».

Борьба отца с сыном есть и здесь, но в этой повести она показана гораздо острее и глубже, чем в первой. Отец Брондес — тип законченного несчастного человека. Несчастье так упорно, так неуклонно преследует его, что он привыкает к нему и непривычной кажется ему удача.

«— Ты помнишь, как ты страдал, когда жив был наш отец? — говорит ему брат. — Так страдай дальше.

— Не имею против, — сказал Брондес и согнул над машиной спину».

Эта согнутая спина у Брондеса символична. Извечная погоня за куском хлеба, унижительное выпрашивание работы, сделали его приниженным и жалким. «Надо кланяться, сволочь. Надо целовать руки, от кого завишишь», — поучает он сына. Но Исидор уродился не в отца. Он живет в другое

время. В девятьсот пятом году отец Брондес говорил: «На плече моем семейная торба, как же я возьму в руки красный флаг?»; в девятьсот семнадцатом его сын — секретарь исполкома.

Заключительная сцена повести, когда отец приходит к сыну с жалобой на то, что у него отобрали потом и кровью купленный дом, — говорит сама за себя.

«— Я ж трудился всю жизнь, как вол. Мне плевали в лицо, а я только утирался, чтоб чего-нибудь хорошего достигнуть. И что получилось?»

Исидор закурил папиросу.

— Надо было тоже бить, — сказал он».

Автор не доказывает, не убеждает, но уверенность в том, что именно революция выпрямила спину потомка Брондесов, ни на минуту не покидает читателя.

Сила повести в просто и ярко показанных фактах. Ибо факты достаточно красноречивы. Заслуга автора в том, что он их сумел увидеть и волнующе-интересно о них рассказал.

Г. Мунблит.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО МИРА».

В мое стихотворение «Волосы», напечатанное в № 1 вашего журнала, вкралась ошибка. В последней строфе вместо:

От щетки приветливой в комнате,
От песни светлее в груди...

напечатано:

От щетки приветливой в комнате,
От песни светлей на груди...

Разрешите мне этим письмом снять с себя ответственность за сие зло.

Ибо нашлись уже такие ловкие молодые люди, которые цитируют эти строки, как образец безграмотности. Мой отъезд не давал мне возможности внести поправку раньше.

С приветом *Иосиф Уткин*

Москва, 15 марта 1928 г.